

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД

N I Z H N Y N O V G O R O D 3 (4 4) / 2 0 2 2



ЮННА
МОРИЦ
Москва

4



АЛЕКСАНДР
ОРЛОВ
Москва

12



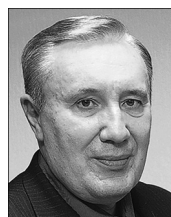
ЕЛЕНА
КРЮКОВА
Нижний Новгород

22



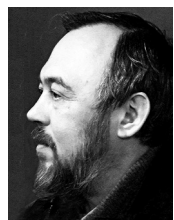
ВЛАДИМИР
ЛЕБЕДЕВ
Нижний Новгород

54



АНДРЕЙ
ШАЦКОВ
Москва, Руза

79



АЛЕКСАНДР
КАБАНОВ
Киев

84



АЛЕКСАНДР
ГРИГОРЬЕВ
Пермь

88



МАРИНА
СОЛОВЬЕВА
Нижний Новгород

114



ИЛЬДАР
АБУЗЯРОВ
Москва

142



АНДРЕЙ
РУДАЛЁВ
Северодвинск

188



ВАЛЕРИЯ
БЕЛОНОГОВА
Нижний Новгород

195



МИХАИЛ
САДОВСКИЙ
Нижний Новгород

205



АЛЕКСАНДР
ЦИРУЛЬНИКОВ
Нижний Новгород

222



ЛЕЙЛА
ОРЕН
Нижний Новгород

229



ОЛЬГА
АЛЕКСАНДРОВА
Москва

234

16+

В НОМЕРЕ

Поэзия

Юнна МОРИЦ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЧИСТАЯ ЛИРИКА	4
Александр ОРЛОВ МОИ СНЫ ТРЕВОЖАТ КОСМОДРОМЫ И СТИХИ, РОЖДЁННЫЕ ВОЙНОЙ	12
Анастасия РОСТОВА АРИАДНИН ДЕНЬ	17

Проза

Елена КРЮКОВА РАСКОЛ. Книга огня (<i>фрагменты</i>)	22
Светлана ЗАМЛЕЛОВА ГОРЬКИЙ. ДНИ БОЛЕЗНИ	44
Владимир ЛЕБЕДЕВ С ПРИРОДОЙ НА «ТЫ»	54
ОШИБОЧКА ВЫШЛА	57
ЛЕСНАЯ ФАНТАЗИЯ	59
Урмат САЛАМАТОВ БАНКИР: ИСТОРИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ	61
Вероника ВОРОНИНА КРАЙ ЗЕМЛИ, ГДЕ ГУСИ ГОВОРЯТ С УШЕДШИМИ	69

Поэзия

Татьяна ЯРЫШКИНА БАНАЛЬНАЯ РИФМА	74
Андрей ШАЦКОВ ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНИНА	79
Александр КАБАНОВ СЛОВА, РОЖДЕННЫЕ ОСТАТЬСЯ...	84

Проза

Александр ГРИГОРЬЕВ МЫЛО	88
Дарина КОПЫТОВА ПИМЕН	106
Сергей УТКИН КОТЁНОК КАК НИКОГДА	111
ГАДОСТЬ И СТАРИК	113
Марина СОЛОВЬЕВА АНЕСТЕЗИЯ	114
АЛЛЕРГИЯ	123
Эвелина АЗАЕВА ЗА ЧТО Я ЛЮБЛЮ МАНЕЧКУ	127
Сергей ЗЕЛЬДИН КОНЕЦ КИНО	135
ДЕПЕР	137
ТРАМВАЙ	139

Из будущих книг

Ильдар АБУЗЯРОВ КОРАБЛЬ ТЕСЕЯ (фрагменты)	142
Антонина ШАБАНОВА ВЫХОД (фрагменты)	159

Стихи по кругу

Галина СТРУЧАЛИНА	176
Владимир ПЛЕХОВ	176
Вита ПШЕНИЧНАЯ	177
Мария ЗАТОНСКАЯ	178
Александр ЗВЕРОВЩИКОВ	179
Галина ТАЛАНОВА	180
Кристина КРЮКОВА	181
Павел ШАРОВ	182
Екатерина ФОМИЧЁВА	183
Александр ШУБИН	184
Наталья ЛУЖБИНА	185
Петр РОДИН	186

Публицистика

Андрей РУДАЛЁВ СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК ПЕТР ВЕЛИКИЙ	188
---	-----

Вехи памяти

Валерия БЕЛОНОГОВА ПОВЕРЬЕ О ЖАРКОМ ВЕТРЕ СОРАНГЕ К 130-летию со дня рождения Константина Паустовского	195
Михаил САДОВСКИЙ «МЫ ЖИВЁМ, ТОЧНО В СНЕ НЕРАЗГАДАННОМ...» 135 лет со дня рождения русского поэта Игоря Северянина	205
Эдуард КУЗНЕЦОВ БЫТЬ САМИМ СОБОЙ 115 лет со дня рождения русского поэта Арсения Тарковского	217

Далекое — близкое

Александр ЦИРУЛЬНИКОВ КОСМОНАВТЫ ИЗ «ПАЛАТЫ ЛОРДОВ»	222
---	-----

Литпроцесс

Лейла ОРЕН «СУМЕЙ ПОНЯТЬ ЯЗЫК СВОЕЙ ДУШИ...»	229
Ольга АЛЕКСАНДРОВА ДЕВУШКА С ФАНТАСТИКОЙ В РУКАХ....	234

Юнна МОРИЦ

Поэт и переводчица, сценарист, публицист. Родилась в 1937 году в Киеве. Окончила Литинститут им. А. М. Горького. Автор нескольких десятков книг поэзии и прозы, сборников для детей, а также переводов с различных языков. Ее стихи переведены на все европейские языки, а также на японский и китайский.

Награждена орденом «Знак Почета», лауреат премий «Золотая роза», «Триумф», им. А. Д. Сахарова, им. А. А. Дельвига, премии Правительства Российской Федерации, дважды лауреат премии «Книга года» (2005, 2008).

Живёт в Москве.

Редакция журнала поздравляет Юнну Петровну с юбилеем и желает ей крепкого здоровья и новых прекрасных стихов.

СОПРОТИВЛЕНИЯ ЧИСТАЯ ЛИРИКА

* * *

Я избавилась от лишнего
В древнедетские века, –
Мне досталась от Всевышнего
Древнедетская строка.

Древнедетская история –
Страшной сказки тёмный лес,
Та действительность, которая
Всем путям наперерез.

Чтоб в пути не искалечиться,
Древнедетский дух поёт,
Это пение не лечится, –
Бьётся рыбою об лёд,

Но подлёдными усилиями
Древнедетства плавники
Держат путь и станут крыльями,
Чтобы небесны тайники.

Ничего у птицы лишнего,
Древнедетская она,
Ей достались от Всевышнего
Всех столетий времена, –

Чтобы в них не съели заживо,
Древнедетство знает суть:
Сквозь кошмары духа вражьего
Древнедетство держит путь,

Держит путь, как всеми крыльями
Держат слово и удар, –
Древнедетскими усильями
Держат путь, как Божий дар!

* * *

Эта лестница вьётся, как лента, –
Прямо в небо!.. А крышу снесло
Исторической силой момента,
Где гремит гитлерья ремесло.

Эта лестница вьётся кругами,
Я по ней возвращаюсь домой,
Стёкла окон хрустят под ногами,
Крыши нет, облака – надо мной.

В облаках авиация свастики
Свой автограф оставила, след
Чёрной подписи, чёрной фантастики, –
Чёрным белый становится свет.

Лет четыре мне, лестница вьётся
Лентой, я поднимаюсь по ней,
И сердечко под кожицей бьётся
Погремушкой младенческих дней.

Лента лестницы вьётся, как стружка,
Я по ней поднимаюсь во сне,
Сердца бьётся во мне погремушка, –
Лет девятый десяток во мне.

Стружка лестницы вьётся, как лента –
В небо!.. Крыши Донбасса снесло
Исторической силой момента,
Где гремит гитлерья ремесло!

Просьпайся!.. Живи, помогая
Силой веры в Победу твою, –
Где Отчизна твоя, никакая другая,
Землю, небо не сдаст гитлерью!

Память – напиток святой

1

Когда матросов напоила
Цирцея зельем забвения

И Одиссей увидел рыла
 Животных свинского житья,
 Забывших родину, единство
 Команды, превращённой в скот, –
 Забвения такое свинство
 Он истребил, потратив год
 На то, чтоб зелья чародейка
 Напиток памяти дала, –
 Забвенья свинская затейка
 Сползла с мозгов – и все дела!

Свинарник хрюкавших матросов,
 Таких забвений коллектив,
 Спас Одиссей, в беде не бросив
 И в человекость возвратив
 Напитком памяти, в котором –
 Родной язык родной страны,
 Путь корабля по тем просторам,
 Что приключеньями полны!..
 Напиток памяти сварила
 Цирцея свиньям забытья, –
 Напиток памяти, чья сила
 Себя Гомеру приносила –
 Для незабвенного питья.

2

Никому не покажется мало,
 Когда кончится общий наркоз
 И забвенья спадёт покрывало,
 И забвенья, что здесь пировало,
 Будет смыто потоками слёз.

Так бывало в поэме Гомера,
 Где хлебали беспаятство всласть,
 Где беспаятства хрюкала власть,
 Забывалась Отчизна и вера,
 Чтоб в свинарник забвения впасть.

Никому не покажется мало,
 Когда этот напиток дрянной
 Человекам забвенья давало,
 Чтоб язык забывали родной,
 Забывая, что были страной,

Из которой приплыли на остров,
 Где забвеньем споила парней
 Та Цирцея, чьё варево – просто
 Яд беспаятства, чтобы у ней,
 Всё забыв, превращались в свиней
 Люди древних и нынешних дней.

Память хлынет волной, как бывало, –
Когда памяти выпьет настой
Всё, что в свинство беспамятства впало!
Память – это напиток святой,
Никому не покажется мало!

Сопровитвления чистая лирика

Россия – лежачая, в параличе?
Донбасс, уничтоженный – весь, вообще?
Насмешка, издёвка – Европы гримаса
Хихиканья над геноцидом Донбасса?
Гримаса такой русофобской утробы,
Где запад нацизма, ликующей злобы, –
Оружия, денег бездонная масса
Хихикает над геноцидом Донбасса!

Россия – лежачая, в параличе,
Как страны, сдающие всех, вообще,
Нацистам, войскам гитлеряческой массы?
Европа – роддом этой массы, гримасы,
В которой насмешка того гитлерья,
Зверья, что страна разгромила моя, –
Сегодня нацисты такого закваса
Хихикают над геноцидом Донбасса!

Россия, разбитая параличом?
А запад единый, её палачом
Ликующий, запад звериной утробы
Единства?.. Равны гитлерью русофобы,
И в этом – единство, где запад – гримаса
Хихиканья над геноцидом Донбасса.
Россия не ляжет под запад, лежачий
В единстве, где ржёт русофоб гитлерячий:

«Угробить Россию!» Таких палачей
Единство – Освенцим, работа печей,
Которые – суть гитлерячьих речей,
Свидетель я этого, не книгочей
Того геноцида, что здесь и сейчас
«Угробить Россию!» диктует, сочась
Восторгом единства, чьё главное качество –
«Угробить Россию!», мечта гитлерячества!

Россия – лежачая, в параличе?
Донбасс, уничтоженный – весь, вообще?
Нацисты, чья прёт геноцидная власть?
Россия порвёт геноцидную пасть
Нацизма, его гитлерячьей утробы, –
Чертовски равны гитлерью русофобы,
«Угробить Россию!» вопящие мне –
России, где Бог – на моей стороне!

Иначе бы в Киеве, в Бабьем Яру,
 Мне вырыл бы запад с восторгом дыру
 Того геноцида, который теперь –
 «Угробить Россию!» мечтающий зверь!

* * *

Любовь к Отечеству, которое в беде,
 Которому, как подлую забаву,
 Зверьё устроило и травлю, и облаву, –
 Не променяю никогда, нигде
 На почести, на мировую славу,
 На денег нескончаемую лаву, –
 Любовь к Отечеству, которое в беде.

За это мне устроили облаву
 И травлю, эту подлую забаву,
 Мерзавцы, где навалом в их среде
 Страдальцев под названьем «узник совести», –
 Их воспевают западные новости,
 Где почести, и мировую славу,
 И денег нескончаемую лаву
 Им валит запад, – по какому праву?..
 По праву – сдать на зверскую расправу
 Моё Отечество, которое в беде.

Но дух Творца вселенных, высший разум,
 Который видеть невозможно глазом, –
 Он с нами, с нами высшей силой связан
 В любые времена, всегда, везде,
 Он – не злодей, творящий наши беды,
 Он превратил в моё Отечество Победы
 Любовь к Отечеству, которое в беде.

Абордаж

Когда страну на абордаж берут пираты,
 Твою страну сцепляя крючьями с собой,
 Таким путём стране навязывая бой, –
 Не так ли разве либералы, демократы,
 Все абордажники в страну вцепились крючьями,
 Свои считая крючья наилучшими?

Таковыми крючьями пиратского приёма
 В словарь вцепилось это слово – абордаж,
 Чтоб навязать пиратский бой!.. А если сдашь
 Свою страну братве пиратского разгрома, –
 Себе, стране испортишь то, что звать – Плерома,
 В ней – абсолютна суть Божественного дома!

Когда страну на абордаж берут пираты,
 Твою страну сцепляя крючьями с собой,

Таким путём стране навязывая бой,
В котором – крючьев либералы, демократы, –
Что делать?.. Крючья отцепить!.. Во всех столетьях
Страну от крючьев отцепить, от крючьев этих.

* * *

Чутьём идёт поэзия на встречу
С той неизвестностью, которая – всегда.
Чутьё бормочет, не владея речью,
А след берёт – и там, где нет следа!

И не в словах, а между строк, где струйка
Бормочет необъятное для слов, –
Оставит след чутьё, такая чуйка,
Оставит свет, который – будь здоров!

Такая чуйка выследит во мраке
Источник света, – наследил Господь
Источниками света, всюду знаки
Его следов – до тьмы кромешной вплоть!

В кромешной тьме, чутьём, где Чувство Бога,
Я свет беру, как след, и никогда
Чутьё не врёт, не красится для слога,
А след берёт – и там, где нет следа!

* * *

Сперва интонация, всё остальное – вослед.
Она вопросительна, повествовательна и восклицательна,
Она утвердительна и отрицательна, тьма или свет –
Всегда интонация, тайна которой мерцательна.

Она сотворила частицы материй, она
Является тем, что наука, приборами клацающая,
Так яростно ищет, чтоб знать, из чего создана
Вселенная... А из того, что была интонация.

Поймать интонацию, всё мироздание – в ней,
Она начинает с нуля, с первозданного мига,
И нет ничего интонации этой сильней,
Поймать интонацию – с первого слога, со сдвига!..

Со всеми подробностями

О старении, о стирании лишнего
По воле Всевышнего.
Всё изнашивается, –
Под очками изнашивается переносица.
Изнашивается поясница,
Где хранится всё, что нам снится.

Позвонки сотрутся, лопатки.
Душа не уходит в пятки,
Которые стёрты.
Сосуды сотрутся, вены, аорты.
По роговице ездят ресницы,
Стирая гладь роговицы,—
Капли надо закапать в глазки,
Капли – вязки.
Износятся голосовые связки,
Голос хрипнет, уходит налево, –
Голос я возвращаю путём распева.
Ничто не стирается при старении
Только в стихотворении,—
Даже если веков сквозняком
Оно сохранилось не всё целиком,
А только несколько строк вразброс
Или кусок с пробелами,
Где летят журавли, цветёт абрикос,
И эротика – лук со стрелами!..

* * *

Земля-малютка, Человекости приют,
Среди небесных тел тебя одну
Ногами топчут, на тебя плюют,
Тебя целуют и копают в глубину,

В тебя одну кладут зерно и плоть,
И платят кровью за одну тебя –
Из всех планет!.. Храни тебя Господь!
Одну тебя зовут родной, любя, –

Из всех планет – одну тебя зовут родной,
Ногами топчут, на тебя плюют
И за тебя одну идут войной,
Земля-малютка, Человекости приют.

Растут деревья – из тебя одной, плоды,
Цветы, колосья – из одной тебя.
Тебя одну боготворят на все лады,
Одну тебя, взрывая и бомбя.

Как чувствую себя, всё это зная?..
Я чувствую себя, как ты, родная,
Как ты, единственная, где даёт Господь
Душе бессмертной человеческую плоть!

В тебя, единственное из небесных тел,
В тебя одну кладут зерно, оно –
Священно!.. Ангел Жизни прилетел
И дышит звёздочками снежными в окно.

* * *

На небесах – созвездия сирени,
А над стаканом чая – облака,
На облаках поёт стихотворенье,
Бродяга неземного сквозняка.
Его строка – изглубока, из музык,
И взгляд на землю не настолько узок,
Чтоб не бродить по Млечному Пути
И впечатленье там произвести
Не ролью, не гастролью, а стихией,
Где связь коры земной и головной
Идёт сквозь бездны космоса глухие,
Гремящие безлюдной тишиной!..
Но там, бродя в созвездиях сирени,
Стихотворенья внутреннее зренье,
Как пчёлы медоносные, сосёт
Земную силу Жизни, с тех высот,
Где взгляд на землю не настолько узок,
Где внутреннее зренье наших глаз
Не износила сила тех нагрузок,
Чья воля к Жизни держится за нас!

* * *

Язык обид – язык не русский,
А русский – не язык обид.
И никакой перезагрузкой
Не будет русский с толку сбит.

Загрузкой пере или недо
Такой язык свихнуть нельзя.
Он не сдаёт страну и недра,
Ни перед кем не лебезя.

Он не сдаёт и не сдаётся –
Звезда такая у него
Во мгле небесного колодца,
Где русской речи Рождество.

И этот праздник русской речи
Высокой глубиью сотворён –
Как путь, где трепетные свечи
Ведут над пропастью времён.

Не мы – обиды инвалиды.
Мы на вселенском сквозняке
От Арктики до Антарктиды
На русском дышим языке.

Александр ОРЛОВ

Родился в 1975 году в Москве. Окончил Московское медицинское училище № 1 им. И.П. Павлова, Литературный институт им. А.М. Горького и Московский институт открытого образования. Работает учителем истории, обществознания, основ философии и права в столичной школе.

Публиковался в журналах «Нижегород», «Бийский вестник», «День и ночь», «Дети Ра», «Дон», «Дружба народов», «Литературная учеба», «Наш современник», «Подъём», «Сибирь», «Сибирские огни», «Юность». Автор сборников поэзии и прозы, и книги для дополнительного чтения по истории Отечества «Креститель Руси». Лауреат Всероссийских премий имени А. П. Платонова (2011), Ф. Н. Глинки (2012), С. С. Бехтева (2014), Н. С. Лескова (2019), Д. Н. Мамина-Сибиряка (2020) и других, обладатель «Золотого Витязя», а также специального приза Издательского совета РПЦ «Дорога к храму» (2017). Стихи переведены на болгарский, испанский, итальянский, сербский, якутский языки.

Живет в Москве.

МОИ СНЫ ТРЕВОЖАТ КОСМОДРОМЫ И СТИХИ, РОЖДЁННЫЕ ВОЙНОЙ

* * *

Я сын громадных, вековых трупоб,
Рождённый под «Прощание славянки»,
И методом ошибок, горьких проб,
Я собираю ветхие останки

Страны, которой больше не вернуть –
Господь навек детей её оставил,
И разъяснит грехопадений суть
В своём послании апостол Павел.

Всё, что прошло, останется со мной,
К тому, что не исчезло, нет возврата,
Но только слышу оклик за спиной
Сражённого за Родину солдата.

И снятся Магадан, Смоленск и Ржев,
Могильник, затаённый в снежной чаще...
Под утро просыпаюсь, ошалев,
И понимаю сон мой настоящий.

* * *

*Погибшему под Москвой
военному технику 1-го ранга
Андрею Васильевичу Стрельцову*

Я говорю негромко,
Слушай меня, дружище.
Мира головоломка
Ввысь уводила тыщи.

Тыщи таких, как этот
Шли на кормёжку войнам,
Есть у забвенья метод –
Делать огонь спокойным.

Он же застыл в граните,
Вечностью пламенея.
Рваться к небесной свите –
В этом борьбы идея.

Веришь, и мы могли бы
Храбро стоять у края,
Зла разрушая глыбы,
В души людей врастая.

* * *

Ефросинье Григорьевне Стрельцовой

Давно её халат был на износе,
Она боялась только сквозняка.
Ходить на ощупь помогала Фросе
С опорной ручкой чёрная клюка.

Со мной одним она играла в прятки,
И не было прабабки веселей,
Обнявшись мы сидели на кровати,
Она мне протянула пять рублей.

Я уходил, надеялся, что скоро
Почувствую тепло любимых рук
И по забавам лучшего партнёра
Шагов неспешных донесётся звук.

Наутро угощая класс в буфете,
Я сладости не чувствовал халвы,
Как будто знал, что при морозном свете
Ушла к святым защитница Москвы.

* * *

Кто от судьбы не требовал поблажек
Ни тысячи, ни сотни, ни одной,

Кто был отпущен в муках на покой –
Ты помнишь их, озябший Сивцев Вражек?
Прикрывший ночь рассветной пеленой.

Ты, особняк ампириного декора,
На опустевшей чётной стороне
Расскажешь мне о мире и войне,
Припоминая графа и комкора,
Не извлекая прошлого извне.

Твои дома доходные, жилые,
Что скрыли от пылающей души,
О чём молчат подъезды, этажи,
Квартиры, антресоли той России,
В которой все мы только миражи.

* * *

За церковью, от проездной харчевни
Несло углями, пивом, шашлыком,
И на крыльце курил с проводником
Приезжий, говорящий о деревне.
Виднелся за его спиной мешок,
Он сжал в руках баулы и коробки,
И запах от него последней стопки
Понёс вдоль Волги встречный ветерок,
Вбирая вонь костров и салотопки.

Я шёл домой и видел: за лабазом,
Обнявшись, мама говорила с ним,
Казалось, он ей был таким родным –
Чужой мой дед под облетевшим вязом
С лицом продолговатым, земляным.
И горечью светились две слезы.
Мой пришлый дед, мой сын врага народа,
Тебя, как брата, скрыла непогода,
Рассеяв запах скорби и кирзы.

Забой скота

Животными был полон предубойник,
И слышался вокруг страдальный рёв,
И каждый был заведомо покойник
И был принять судьбу свою готов.
Их долго мыли под холодным душем,
Должна быть жизнь пред финишем чиста,
Но подступала горлом тошнота,
И ветер показался всем удушьем.
Что впереди? Сквознёт электроток
Или дыханье сдавят смеси газа?
Мелькнёт во тьме ухмылка зверопаса,

Подвешат туши, подведут итог,
И забурлит кровавая река,
И на просушку переправят шкуры,
И будут пересчитаны купюры
За вырезку и жирные бока.
И будет всё распродано вчистую,
И счастье испытает мясоруб,
Его жена отварит с мясом суп,
Поджарит мужу с кровью отбивную.
Наступит вечер, в мир придут сны,
Они нырнут и в темень скотобоен,
Где воздух так панически разбоен,
И запахи, и помыслы страшны.

* * *

Штормит. Ветра продули всё насквозь.
И на забытом всеми дебаркадере,
Как издревле при бедах повелось,
Все молятся Смоленской Богоматери.

И взглядом ищут берег речники,
И думают о смерти пассажиры,
И чудится, что в небе две руки
Латают в тучах грозовые дыры,

И молний огнедышащий моток
Вдруг сматывает кто-то тихо-тихо,
И всем понятно, кто кого сберёт,
И тонет смерть безумная пловчиха.

И звёзды, словно Бога маяки,
Благовествуют о вселенском штиле,
И спрашивает берег у реки:
Кого сегодня волны схоронили?

* * *

Мир могуч, не познан, не разгадан,
На окне наплывы Божьих слёз,
Под иконой задымился ладан,
Всё прошло, а было ли всерьёз?

Убиваться мне теперь нет смысла,
Сожалеть о том, что не сбылось,
Память сохранит людей и числа.
С эпохальным игрищем мы врозь,

На меня посмотрит кто-то свыше
И напомнит, что выходит срок,
Только не смогу я жить потише,
Слово не упрячешь в воронок.

Сталинских времён мои хоромы,
В двадцать первом веке я чужой,
Мои сны тревожат космодромы
И стихи, рождённые войной.

* * *

Мне пятый десяток вдогонку пошёл,
Бежит моё время, хоть плачь, хоть кричи,
Свободен я, будто раскосый монгол,
И племя моё – это вы, москвичи.

Потребуют годы немалый оброк,
Стихами плачу, ничего больше нет,
И с Богом веду затяжной диалог,
Иначе во тьме погибает поэт.

Что было, что будет, мне ясно уже.
Ветра подворотен навстречу сквозят,
И к звёздам верхом проскакал азиат,
Что раньше томился в славянской душе.

Я так же, как пращур, кочую тайком,
Не скрыт от врагов коммунальный улус,
И прежний родитель Советский Союз
Оставил меня между явью и сном.

Анастасия РОСТОВА

Родилась в 1986 году в деревне Пестенькино Владимирской области. Окончила Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова. Работала журналистом, переводчиком, копирайтером, организатором конференций, в настоящее время – специалист по маркетингу. Публиковалась в журналах «Нижний Новгород», «Берега», в газетах «Литроссия», «Голос писателя» альманахах «Земляки», «Серебряная даль» (Ярославль) и множестве других изданий.

Автор поэтического сборника «Лезвия Розы», исторической феерии «Маки Прованса» и фантастического романа-голограммы «Лепестки». Лауреат премии литературно-художественного журнала «Нижний Новгород» в номинации «Поэзия» (2018). Финалист международного поэтического конкурса «Собака Керуака» (2018). Живет в Нижнем Новгороде.

АРИАДНИН ДЕНЬ

Рептилоид

«Я сильнее, – в ночи говорит Адам, –
Я и Солнцу нашему наподдам,
Я Создателя вызову на ковёр –
Поглядим, кто из нас на расправу скор...»
И кулак его сжат, на висках распухают жилы,
И ко взрыву готовится немота...

Ева смотрит на мускулы на спине,
Понимает: наверное, быть войне,
Видит пламя и смерть за желанием стать героем
И снимает – броню и рубашку, и кожу – и слой за слоем
Оголяет ему воспалённую душу и шепчет: «Милый,
Кто же нужен ещё, неужели и я не та?»

Он не слушает – в пальцы мечом уже впрыгнул змей,
Смотрит профиль Адамов с монет и резных камней,
И другие адамы построились, жаждут его приказа,
Вертикален зрачок у Адама и форма глаза
Поменялась, и тяжёк стал ход крокодильих век,
...Не улыбка – оскал на Адамовой голове.

А Создатель был занят, к Луне прикреплял моря,
Тут ему доложили, Он только вздохнул – мол, зря, –
Поманил к себе жестом обратно своё дыхание...
Пробудился Адам вместе с первыми петухами:
В хвост ему вбил копьё замечательный человек –
Друг нашёл крокодила Адама в густой траве.

Величание вора

Уголь рисует пророческий, вещий сон
Той, что сидит у камина перед огнём:
В масле и яде не выплывет скорпион,
Вора поймают, раз шапка горит на нём.

Словно вандал, что для славы разрушил храм,
Вор взял то имя, которое носит Бог,
Лики святых в обрамленьи оконных рам
Предупреждают о том, что Всевышний строг.

Храмом становится целый бескрайний мир...
С лампочки воск проливается на плечо,
Меченый вор, затерявшийся меж людьми,
Сам себя слышит: «О Господи, горячо!»

Маска со звоном спадает с пустых глазниц,
Плащ разорвался, и явлен под ним скелет...
Ропщут все те, что когда-то лежали ниц:
«Ты найден лёгким», – написано на золе.

Что оставляют нам времени жернова?
Россыпь росы на рассветной блестит траве...
Непреходящая сила всегда права:
В каждом есть часть, чьё последнее имя – Свет.

Ариаднин день

Вздыхают горы в объятьях бури,
Нагие – облаком их одень! –
Хребты ломает богам, цензуре
Не Судный, но Ариаднин день.

Лиха, неистова, беспощадна,
Как хочет, крутит планетой всей –
Сегодня царствует Ариадна:
Почувствуй ветер её, Тесей!

Трепещут, рвутся деревьев корни,
И скорбной складкой кричит овраг...
Она смеётся, и он запомнит –
Никто над ним не смеялся так.

Мерцает нить толщиной в волос –
Неуловимое серебро,
Удавка, молния – хищный полоз
Заполз под вырванное ребро...

И не идти за ней невозможно:
От натяжения жжёт внутри,
По лабиринту сигнал тревожный,
Тупик и красные фонари.

Обычны стены, картишки, тапки:
Налажен быт, наведён уют,
И Минотавр – собутыльник-тряпка...
Здесь представления не дают.

Нить тянет к выходу, как магнитом,
Привычка – гирями на ногах,
Но там открыто – ох, там ОТКРЫТО! –
Не выйти? Выйти? Тьма. Холод. Страх.

финал I

...Он остаётся и не выходит –
Сам превращается в лабиринт,
Нить обрывает – и счастлив вроде,
Белый за ним волочитесь бинт...

финал II

...Он выбегает навстречу ветру...
Пальцы на пальцах, ладонь в ладонь,
Двое едины – суммарный вектор,
В этом альянсе их только тронь...

эпilog

Всё позабыть? Целоваться жадно?
Сможет Тесей поломать тиски?
День урагана. День Ариадны.
День избавления от тоски.

В поисках Антуана

«Антуан, я приехал и жду тебя!
Небеса высоки и полны лаванды.
Тёплый галечный пляж. Голоса ребят –
Сорванцов загорелых из нашей банды.

Антуан, в наших бухтах вода – лазурь,
Сосны шепчутся с ветром, и горы дышат,
Наш маяк загорается раньше бурь,
Наше солнце играет, целуя крыши.

Антуан, ты опять победил – сдаюсь!
(Мне, по правде сказать, надоели прятки!)
Я умею проигрывать. Ты не трусь –
Отыграюсь потом, так что всё в порядке!»

«Принц, я семьдесят лет уже как не здесь –
Ты ошибся планетой, я прячусь лучше.
Нет, тот немец на мне не поставил крест –
Надо мной в этот миг разомкнулись тучи!»

«Антуан-сочинитель, а твой браслет,
 Потемневший от времени и от соли?»
 «Мальчик, ты же учил меня: смерти нет.
 Я на воле, мой Принц. Я всегда на воле!»

ФОТИНЯ

Синий плед неба в заплатках иных планет,
 Снег, голубое пальто – мне от силы девять,
 Бьются в висках океаны, в тетрадках бред:
 Я сочиняю. Случилось. Не переделать.

Мама ругается: «Замуж-то кто возьмёт?»
 Папа вздыхает: «И правда, товар-то штучный!»
 Я намечтаю и бластер, и пулемёт,
 Замуж подальше пошлю, но пока беззвучно.

Бабушка мысли читает мои сквозь лоб –
 Раньше, чем мне, ей моё всё прекрасно слышно:
 «Не для нарядов ты, а по душе озноб!»
 Выюжит мука. Наше тесто выходит пышным.

«Ты оставайся собой, продолжай мечтать, –
 Скорбная складка у бабушки под губами:
 – В мире моём я – Фотинья, совсем не та...»
 Кто не поймёт, те живут и умрут рабами.

Бабушка в мир свой отправилась через год,
 Плакал отец, даже сахар горчила полынью...
 Где-то внутри, под кудрями ещё живёт:
 «Ты продолжаешь – и славно. А я – Фотинья!»

Знакомка

Окей, ну, привет. По делам. Мне идёт? Спасибо,
 Есть принцип такой – по одежке встречать красивых.
 Давай улыбнись, не молчи, словно камень-рыба –
 Велит протокол излучать позитив вовне.

Железная? Нет, каучуковой тоже стала –
 Во мне полный спектр – от резины и до металла,
 Но только не жди соответствия идеалу,
 За этим – к иконам, пожалуйста, не ко мне!

Ты ждал, что впаду я в уныние и бескрылость –
 Тебе было б лестно, чтоб я об тебя разбилась,
 Но кто ты такой – принц Уэльский, скажи на милость?
 Вот по носу щёлкну и в голос захохочу!

А может, и нет. Придержи-ка свои гормоны,
 А то тебя вырубят память и феромоны,
 Давай о продажах, сотрудниках, миллионах?..
 Но ты замолкаешь и смотришь. И я молчу..

Слезинка

Город становится местом, в котором ждут –
Створки сердец распахнулись, звенят ключи...
Недруг придёт, но оставит свою вражду –
Следствий ростки не проснутся в зерне причин.

В небе дворовом звенят голоса друзей –
Будто и не было пары десятков лет...
Солнце, арена – сверкающий Колизей –
Всё, как тогда, но обратных билетов – нет.

Трап убирают, крылом по пунктиру – срез:
Нити оборваны, больше не ждут дела.
Призрачный миг поманил, но опять исчез,
И замерзает слезинка поверх стекла...

4891. Площадь Свободы

В четыре тысячи восемьсот девяносто первом
Летняя зелень акаций и блики на оргстекле...
Нас восстановят из временного резерва,
Помнящих правду о прежнем добре и зле.

Не пощадили здесь площадь Свободы нашей –
Пусть её нет, широта есть и долгота...
Дверь приоткрыта меж завтрашним и вчерашним,
Мы ставим ноль против вражеского креста.

Ты называешь забытое всеми имя...
(Пусть будет «Моцарт».) А я говорю: «Шекспир»,
Мы обнимаем желающих стать другими...
Из ничего получается новый мир.

.....

Вижу из точки, где атом целует атом:
Сложное тонет в логичном, простом, святом...
Ласковый Миша не улетает в восьмидесятом,
Чернобыль минует нас в восемьдесят шестом.

Елена КРЮКОВА

Родилась в Самаре. Окончила Московскую государственную консерваторию (фортепиано, орган) и Литературный институт им. Горького.

Автор книг стихов и прозы, куратор и автор художественных проектов в России и за рубежом. Лауреат премии им. М. И. Цветаевой, Кубка мира по русской поэзии, премий журнала «Нева» за лучший роман года («Врата смерти», 2012), им. Горького (2014), им. И. Гончарова (2015), Международной литературной премии имени А. Куприна (2016), Международной премии им. Э. Хемингуэя (2017).

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

РАСКОЛ

Книга огня

Фрагменты

Книга Елены Крюковой читается в эти дни с особенной интонацией: знак раскола ещё недавно единой цивилизации пылает сегодня над землями Украины.

Речь не идёт о том, что думать и веровать все должны одинаково, а лишь о том, что ни в разности мировоззрений, ни в пылкости их нельзя переходить огненной границы, за которой начинается братоубийство. Сама идея его порождает не просто раскол, а затяжную длительность действительных и не отменяемых последствий, живую историческую рану.

«Раскол» с его задыхающейся и сбоящей речью – и о нас, и про нас. Смятежа духа человеческого начинается всякое грехопадение, но также твердо знаем и иное – Господь не расположен к тем, в ком нет пламени, к тем, чей дух ослаб и колеблется между добром и злом, не желая ничего выбирать. К таким возмездие приходит первым, но как же тогда быть? И не вступает ли добро вечно вторым на кровавую арену рушащихся судеб? Не сплошь реакция ли оно на творящееся зло?

Нет. Именно добро горит пламенем веры, алым и согревающим. А в иной стороне мира inferнальным огнём холодных оттенков истекают злобой зависть и вожделение. Какому пламени отдать жизнь, каждый христианин выберет сам, и христианина в себе не утратит лишь в одном случае – при выборе блага.

Трагическая борьба протопопы Аввакума за истинную веру, и трагическая же борьба патриарха Никона продолжают сегодня в каждом из нас. Как лучше, как праведнее, как вернее, вопрос из разряда вечных. И споры своеобразны, но ни один из них не может заканчиваться призывами к массовым убийствам тех, кто мыслит и чувствует иначе. Или просто иной крови, языка, плоти и сознания. Когда-нибудь расколы сойдут на нет, но не раньше, чем сделается достойным своей великой участи сам человек. Мы же теперь – свидетели сколь безверия, столь и веры, и перебегать от света к тени обречены только тенью.

ФРЕСКА ПЕРВАЯ

Царю Государю и великому князю Алексею Михайловичу, всея Великия и Малыя, и Белья Росии самодержцу, бьют челом богомолцы твои Соловецкого монастыря келарь Азарей, казначей Геронтей, и священницы, и дьяконы, и соборные чернцы, и вся рядовая и болнишина братия, и слушки и трудники все. В нынешнем, Государь, во 176-ом году сентября в 15 день, по твоему великаго Государя указу, и по благословению и по грамотам святейшего патриарха Иосафа московского и всея Руси, и преосвященного Питирима митрополита Новгородского и Великолуцкого, прислан к нам в Соловецкий монастырь в архимандриты, на Варфоломеево место архимандрита, нашего монастыря постриженник священноинок Иосиф, а велено ему служить у нас по новым Службникам, и мы, богомолцы твои, предания апостольскаго и святых отец изменить отнют не смеем, бояся Царя царствующицх и страшного от него прещения, и хоцем вси скончатися в старой вере, в которой отец твой Государев, и прочие благоверные цари и великие князи богоугодне препроводиша дни своя: понеже, Государь, та прежняя наша христианская вера известна всем нам, что богоугодно, и святых и Господу Богу угодило в ней многое множество, и вселенския патриархи, Иеремия и Феофан, и протчия палестинский власти книг наших русских и веры православные ни в чем до сего времени не хулили, наипаче же и до конца тое нашу православную веру похвалили, и тем их свидетельством известна надеемся в день Страшного Суда пред самым Господом Богом не осуждены быти, наипаче же и милость получитьи...

*Послание соловецких иноков
Царю Алексею Михайловичу*

(Аввакум и я: речи наши)

Она мне денно и ночью баяла, эта пришелица, из Сиянья Севернаго сотканная, што ль, али из иной лучистой парчи, струящейся из поднебесья матери, шептала безустанно, што свидетельница всему. Всему, што было, есть и будет. А што будет? Волна чудовищная с моря синяго на нас, грешных, нахлынет? Да и смоет нас и наши все грехи? Вот бы хорошо бы. Гляжу я в лико той девчонки, а она уж не девчоночка, инда морщины на щеках и лбу зрю; то морщины отчаяния и непрерывной молитвы. Я сразу вижу, насквозь, тово, кто молится, и тово, кто ни рта, ни сердца не разеает, штобы к Богу Господу воззвати.

Она шепчет мне: вижу, вижу всё, што происходит ныне. Вижу всё умершее. Зрю грядущее. Тяжко это, отченька, так бормочет. И только што не взывает: исцели! Отбери у мя это наказанье! Я ей так бормочу в ответ: ну како ты можеш зреть грядущее, ведь ты ево не перешла ноженьками, на лодчонке не переплыла! А токмо себе вообразила дерзновенно! А ты представь, што тя во грядущем – нет! Нетути, и всё тут! Нет и не будет! Ты, бормочу, из древяной лодьи подземной восстанеши лишь на Страшном Суде!

А она мне: ну и што, што нет мя там, песней прижмуся ко устам, я и там Христа Бога – не предам! Время, отче, ведь нет ево. Время видать на просвет, яко осеннее жнитво. А и ты, шепчет, и ты, не отпирайся, свидетель всево.

Чево свидетель-то, тако ей шиплю-хриплю в ответ, тово ли, што самого Времени нет как нет?

А она мне: ты, мол, по Аримафее гулял, по Агтике гулял, Сократу внимал, Платону кивал, Псапфу целовал, Горация наставлял, с Овидием выпивал, за Вергилием во тьму Ада увился – да там и пропал... И это всё, бормочет, ты! Ты один! Поверх всех твоих свадеб, похорон и годин...

А потом про Раскол мне бормочет. Терпеть сие, шепчет, нет мочи. Звезда Раскола восходит в полночи. И не остановится ему, не превратится: он нас всех побороть хочет.

А што ты, девка, вопрошаю ея, понимаеши под Расколом? Горе голое? Страха скалы и сколы? Земелька разыдется, да ведь кровь, кровушка-то останется! Кровь, она што во Царе, што во горьком пьянице, не ломается, не кувыркается, лишь течёт-течёт, с пути не сворачивая, лавой красною, на морозе дымною, горячею... Ежели кровь наша с нами – не страшно нам никаково Раскола лютое пламя!

А она внезапно предо мной на колени встаёт. На меня взирает, яко на икону. И так нашёптывает мне, вяжет словесную вязь, я во словесех ея тону, иду ко дну, а потом выплываю, да вижу: моя девка живая, и будто два громадных крыла у нея за спиной, и машет ими она надо мной, птицей залётной, шальной, а может, то плывет Луна-синица над грохотом Раскольных скал, а может, то с небес Ангелица, а я ея – не признал... Слушаю да запоминаю. Вам, людие, передаю. Всю жизнь она зрит – вашу и мою.

...Мирь медленно, страшно, с треском, постепенно, неумолимо раскалывается. На подделку и истину. На грязь и чистоту. На вражду и любовь. На здравие и хворь. Сам Мирь, прежде единый, когда-то неделимый, раскалывается на войну и мирь. И война будет постоянной, а мирь будет маленький, жалкий, беспомощный, недолго живущий. И опять война. Вместо мира станет одна война. Она землю покроет слоями, заплатами. И люди перестанут быть крылатыми. Видишь крылья у меня за спиной? Так больше не будет со мной. Крылья изрубят. Изранят. Истопчут. Оборвут. Мирь станет люот. Мирь станет казнью одной. Помолися, отченька, штобы жить, вместе со мной.

...и она крестилась и молилась, моя зело странная девка, поклоны земные клала, без конца и начала, и я повторял молитвы ея, с начала времён, до конца бытия, и, Боже, почему же я неотступно чуял ту подспудно текущую кровь, то красное пламя внутри, ту лаву из песен и слов, это красное море рук, лиц и глаз, тел на поле боя, младенцев в родильной крови, это всё чуял, што будет со мной и с тобою, и чего уж не будет со мной и с тобою, хоть слезами облейся, всю жизнь обреви, и я только вопрошал ея, тихонечко, одною мыслью, не голосом даже, а дыханьем одним, улыбки сияньем: ответствуй, а когда тот Раскол начался, и долго ль продлится, и чем мы спасёмся, дитя?.. может быть, поканьем?..

А она очи закрывала. Жмурилась, и вправду на робёнка похожа. Нет, отвечала, не поймать нам первой Раскольной дрожи. Когда земля дрогнула всею кожей? Когда волна из недр окияна восстала? Не знает никто. И никто не подскажет, как жизнь нам начати сначала.

Я про Время тебе, отче, так скажу, бает. Вот Времени один слой. Он подземный; мрачный; немой. Туда никто не попадает, и оттуда никто не вернётся. Там нету звёзд и солнца. Непроглядная тьма. Человеку можно сойти там с ума. Ибо мы привыкли, что время течёт рекой. А там – сумасшедший покой.

Вот второй Времени слой, вспыхнет во тьме ночей. Он поделен на лоскутья, и каждый вольно пришей! Хочешь – к себе, а хочешь – к иной судьбе. Застывает слезой на дрожащей губе. Это Время переливается,

играет, так, играючи, и помирает. А после, играючи, и возродится... беспечные пляски, румяные лица! На рукаве – птица-синица жизньию прежнюю снится... И вдруг – раз!.. – и канет... розой увянет... перловицей манит... плясать не престанет...

Ах, отче, третий Времени слой от крови никем не отмыт – копьём навылет летит. Он един. Он один. Люди мнят, што вот оно-то и есть настоящее Время, царит надо всеми. Копьё летит, пробивает насквозь всё, што в жизни любить довелось! Ево не отмыть от крови и слёз. То Время тяжёлое, весит грозно на чаше Судных весов. Не любишь ево?! Стань ево любовь. Не хочешь ево? Крепче обними. Благодарни за жестокий урок. Копьё летит сквозь ночи и дни. Сквозь то, чем ты клялся. Што позабыл. Через Триоди и Святцы и землянику могил.

А вот и четвертый Времени слой. Он мой! Он только мой! Он для чужака – тайна. А мне – любим и свят. Для нево одново мои свечи горят. Паникадила мои. Кануны мои. Во храме. Во полях. В ночи любви. На плахе, где новая казнь мя ждёт. Иду без страха. Сердце песню поёт.

А пятый Времени слой... о, батюшко, не знаю, как и сказать! Это времячко движется вспять. Вспять – для нас; а для существ иных? Иноплеменных, инозвёздных, просиявших на Луне и Солнце святых? И там, не смейся, ты можешь вернуться к началу начал. И там сказать то, што хотел, да не сказал. Оно, то Время, прорывает червём внутринебесный ход, и в червоточину ту льётся наша кровь: вперёд, вперёд! А вперёд – то назад. А потушенные свечи горят. А убитые – воскресли. А порицаемый – свят. Если жить заново... если... коли родиться вдругорядь... споёшь ли ту же самую песню?.. в иных временах не сыскать...

Ах, отченька! И вот он, вот же, вот шестой Времени слой. Смерть и живот, потоп и плот, огонь и лёд – всё захлестывает мощной волной. Всё единит. Всё связывает. Всё накрывает омофором. Всё заключает в объятья. Все – родня: цари, плясуньи, монахи, торговцы, воры; все в нём – сёстры и братья. Это общий котёл! И там варимся все мы. Это распоследнее, невыносимое, на руках носимое Время! Дары носящее. Вдаль остро глядящее. За нас – двенадцатью языками – говорящее. Нами – языками огня – в предвечной ночи – горящее. Ты понял?! Оно за нами не в погоне. То мы к нему течем, притекаем, в нево реками втекаем, инда в море, ево собою насыщаем, своею радостью и горем. А оно и глотает нас жадно, бесповоротно. Делает самими собою. Мы – потроха тово Времени, клубимся, шевелимся, бежим гурьбою. Мы снова превращаемся в кровь, и кровью течём, вспыхиваем ея безумием алым... для тово лишь, штобы сие последнее Время всё жило, дышало, сверкало, не престало...

Оборвала речь бессвязную. Ясно на мя поглядела. Душу очами вынула из утлово тела. Я молчал; а што было говорити? Што балакати зряшно было? В девке той таилась великая сила. Я хотел усмехнуться, обратити в шутку всю ту сказку про Время. А девка на мя глядела, будто я бессмертен меж смертными всеми, будто я не протопоп жалкий, а Господень подарок всей землице страдальной, всей людской ойкумене... да вдруг как шепнёт жарко: покажу тебе миг Раскольный, коль желашь, да будет то больно, а не забоишься? не захолонет сердчишко?.. а какая будет твоя мена? Што ты мне, мне взамен откроешь? Да не надо... я пошутила, отче... я ж твоей пятки не стою...

Я ей: ну давай, открывай! А она мне: передумала я. Потом. Не сейчас. Когда слёзы у тебя водопадом польются из глаз. Тебе рано ищо Трещину Раскола видать. Так живи. Мучайся. Молися. Люби. Тебе исполать.

(Аввакум и кровь)

Людие, людие. На ково вы делитесь? Вот и я хотел бы узнать. Жизнь земную живу, а доселе не узнал. Разномастных таково много людишек. Род людской неистошим, а Господь нетрепетной руцею Своєю бросает в Мирь, инда как Сеятель, таковых инаких, непохожих. И люди суть Ангелы бывають, а суть звери, даром што созданы по образу и подобию Божию. От злодея Каина народились каиниты, от добряка Авеля – авелиты, да давно уж изникли те племена меж иных племен, влились древним народом в новые народы. Так перетекает вольная кровь. Люди, мы, носители крови, яко и всё живое, живущее. Кровушка – признак живого. Тово, што ты, брат, живеши. Ну живеши; живи и живи! Я не вынесу твоя любви; ты не снесёшь моя смерти.

Священство моё позволило мне говорити с людьми не токмо об их житии, но наипаче – об ихней смерти. Смертушка. Я во многих храмах служил, и множество духовных детишек за всю-то жизнь заимел. И близ Волги-реки, и во стольном граде Москве, и во таёжной Сибирской сторонушке – везде я людям проповедовал о том, како не токмо праведно жити, но во имя чево предстоит праведно умирати. Слово о смерти им своё – говорил.

Да это ж та материя, людие, смерть, о коей живой душе воспрещено самую душою – думати, сокрушатися, размышлять, восчувствовать уход свой, как наиважнейшее событие внутри людского бытия. Чем страшна война и чем она важна? Да тем, што человек на ней, на войне, помирает! Ево убивають, и он ко Господу отходит, и часто без покаяния да без причастия. Тёмно это. Вот этим война и исполняет волю диаволю. Волю Адову. А у Апостола-то сказано: где ти, смерти, жало? Где ти, Аде, победа? Воскрес Христос, и Ангелы радуются на небеси!

Духовные детоньки мои таково часто просили мя сказать им хоть тихое слово о смерти. Ну я и говорил.

Хотя находились округ мя люди, и так поучительно провещивали: зря ты, протопоп, живому-живущему о смерти талдычишь, ну явится она и явится, в свой черед, всё за нас природа сделает, всё устроит, а што об том зазря перешабалтывать; иные и пугали мя, нашётывали: чем дольше да больше будеши, протопоп окаянный, пастве о смерти гудеть, тем скорей сам и умрёшь!.. да, таково и припечатывали.

А я на краю смертушки оказывался не раз. Не раз и не два. А вот же, цела моя голова. То девица ко мне притечёт, красавица, смуглявица, вся обверчена жемчугами, инда царица, белошея, белокурая, исповедь у нея принимаю, а сам весь огнем горю блудным, мрачным, непоборимым, она на коленях предо мною, а я ея по щеке ладонью глажу, а ладонь вся моя пламенем охвачена! И нутро, и душа сама! Тогда иду во сарай. Там дровяник. А над дровяником икона висит, самолично гвоздюрик приколачивал, штобы на дощатую стенку водрузить. Пантелеймон целитель. А под дровёшками коса валяется, старая, да вострая, ищо отцова, батюшки моего Петра. Я хватаю ту косу да себе во грудь лезвиё-то и наставляю! И уж хотел было нажать рукою покрепче и в яремную ямку остриё вонзители – а взор мой как упадёт на образ святой! И увидал я близко, ну как навроде близ лица своего, лик вьюныша святого! Глаза ево громадные, по плошке, таково страшно, страдно ко мне и приблизились! Щека ево, лоб к моему лбу присунулись, и зрю, како дрогнул рот, скорбно стиснутый, словно бы вьюныш што мне желал сказати наиважнейшее, во вся жизни единственное! Я застыл. Яко изо

льда фигура на берегу холоднова озера. Гляжу на святого Пантелеймона целителя. И он на мя глядит. Не отрывает взора. Што ж, глазами говорит, я людей излечивал, меж раненых ходил, кто при смерти едва дышал, из рук смерти вынимал, изо тьмы своими руками доставал, мазал всех чудесными снадобьями, целебными отварами поил, молился за всех, штобы пожилы люди ишо на земле, – а ты? Што ты задумал? Да ведь грешника, тя, уroda, над самим собою глумящевося, уж никто да ни в каком Божиим храме не отпоёт! Не ты жизнь себе дал, не тебе ея у себя и отымать!

И отшвырнул я от себя вострую косу, ею же отец мой траву под корень косил, да и я сенокосил всласть, животине пищу на зиму усердно заготовливая. И ужаснулси самому себе, будьто бы я не человек уж пребыл, а диаволово отродье, Адова каракатица. На колена пал и стал молитися святителю Пантелеймону. Уж так благодарил ево! Слезами лице мое было тогда сплошь улито, всё мокрое, инда рубаха влажная, бабой в реке стираемая... Так, плача, в избу и возвернулся. За стол дубовый сел, локтями на нево оперся и думу думал. И надумал: ведь мя будут ишо бить-колотить, по земле голяком возить, камнями лупить. Будут мя убивать, и я буду умирать. Всё то ишо будет! Так зачем попереёд веления Господа Бога твоево ты сам во смерть захотел прыгнуть?

Да, да, да. Всё канет без следа. Процарапанный глубоко лишь смерти след. А для Господа смерти не было и нет. Я и хворал тяжко; попадья меняла мне рубашки, я молился, штобы не выдернул мя Господь из жизни моей, будьто я лук аль сельдерей, на подушке голова моталаси туда-сюда, детки плакали и вопили, посреди избы плясала моя беда... а на порог взошёл болярин большой, чёрный, аки уголь, душой, я ему проповедями моими дорогу пересёк, он и возгневался, грянул срок: он мя, больново, да в кровь избил-излупил, прямо в постеле моей, а попадья с детьми на сенокосе была: как раз тою косою, отцовой, траву секла. Лежу избитый. Живова местечка на телесах нет. И вижу: входит. Худая, тощая. Бледная, паче снега. Платье чёрное. Монахиня, думаю, Богом послана, из каково монастыря?.. из Желтоводсково, из Санаксарсково?.. Стоит. Молчит. Мя хладом обдало. Догадался я, кто это. Молчим оба. Страх мя взял, потом отпустил. И так светло все стало, словно бы изнутри воссияло всё вокруг. Вся изба, постеля моя, образа на срубовых стенах. Гляжу на Смерть. Она – на меня. Ей тихо говорю: Смертушка, ты рано явилась! Я ныне тебе не дамся. Она молчит, и уста не шевелятся, а глас ея вроде как слышу. Вроде как тихий акафист поёт. Только страшный. То не тебе решати, бормочет, а мне. Я тут владычица. А ты козявка.

И ссилился тут я, и приподнялся тяжко в постеле на локтях, и выкрикнул Смерти в бледное, снежное лице ея: прочь! Знаю, от тебя не отвертишься. Да я и не хочу. Но ведаю, што – не срок мне нынче. Ишо множество дел должон я на земле свершити. Ни ты, ни кто другой не воспрепятствует в том мне! Чую, Господь мне велит дале ийти. Далё! Ступай с миромь! Отыди с миромь!

И она отошла.

А на другой день явились в село скоморохи. Зачали петь-плясать, песни нахальные кричать, бубны звоном ломать! Колесом наглым катались! Народ на них сбежался глядети, а они изгалялись, прыгали на бреге широкой реки. Вопили: излечим вас, людие, от тоски! А я из толпы им орал: какая же тоска, ежели с Богом Христом ты! В Боге нету

ни страданья, ни маяты! В Боге Господе небеса святы, а в Матушке Богородице – Солнце небесной красоты! Не слушали мя, огненно плясали. И я восхотел их поколотить. Ну, штобы убрались подобру-поздорову! И зачалась могучая драка. Я скалку в руки взял и ею махал. По башкам, по раменам плясунов ударял. О Христе взаклѣб на морозе кричал! Да разве в такой куче-мале кто услышал мя! Драка, и опять кровь, красные шматки ея огня... кровь... лилась... во снег и грязь... и я остановился, встал, отдуваясь, утираясь от крови, запоздало молясь...

Наша беда – мы опаздываем. Не поспеваем. Время не нагоняем. Мы – поздно – везде! Мы не прорастаем зерном в борозде! Мы лишь хотим, а делаем все в мечтах. Нам бы храбрее стать, да борет нас детский страх!

Вот так и смерти боимся. Да! таково сильно страшимся ея. На краю судьбы... на краю бытия...

Смерть наступит. Пробьют ея часы. Ты встанешь на ея весы. На другую чашу встанет она – теперь у тебя, человеце, одна. Когда, о, когда же, когда пробьѣт этот час, где столкнутся лбами все города, где с места стронутся и огнѣм вспучатся все материки... а остановить Время смерти твоей тебе, жалкий, не с руки...

Когда, о когда, в самом деле, по-настоящему мы умрѣм, от лютой ли хвори, Господи, молясь пред Твоим алтарѣм, разобьѣмся ли, кони вдруг понесут, или нещадно, в кровь, нас изобьют, ничево мы не ведаем... ни годов, ни часов, ни минут... Ни прощального колокола, где он звонит по тебе, всё это в грядущем, всё это рыданья соль на губе, день и час смерти – мгновенье твоѣ последнее, бродяжка блаженная ль, грозный ли протопоп, мощный Царь либо жалкий нищий, монах, чей заране сколочен смиренный гроб... Ты мнишь себя бессмертным, ты, ветка краснотала, бесконечность чтишь по корявым слогам, смерть, она твой осколок зеркала, твоѣ мне отмщенье, и аз воздам, ты узнаеши о часе ея прихода, лишь когда приходит она... а тебе уже в бытии нету брода, ногам бредущим уж нету дна... Смерти никогда нету в настоящем; она явилась – а ты уже нет! О радость! огонь молящий, палящий... на тыщу живых вопросов – один погибший ответ... Смерть, людие, достоверна, но только за порогом, потом, плачуще, больно, по-смертно Господь подтвердит ея правду – Крестом... Твое бездыханное тело наблюдают другие; они поют над тобою псалмы; а душа не хотела уходить; молила, ответно пела: ищо час, ищо пять минут... Ты воззри на себя из будущего, человеце! Хоть это тяжко так! Ты оттуда увидишь: простыни, свечи, подсунут иконку под недвижный кулак... Так человек осознаѣт себя впервые: вот он младенчик, вот ножка ево, вот ручонка, ладонь... Таков первый обман, разрезы ево ножевые вдоль по душе... таков убийства чёрный огонь... Ты убил котенка, чижа, жука... утку на первой охоте... ты убил человека, чужово, родново... слышал ево дикий стон... ты не Бог, а жизнь отнял... смерть, непостижная! ты над нами в полѣте. Ты наше завтра, но ты даже мыслью не тронь. Што такое когда-нибудь? Што такое всегда? А никогда, оно што же такое? Я скажу вам так: будет будущее, ево никому нам не отвратить. Нас не будет, а Время будет, каковой слой ляжет, вам не открою; это смерть всё знает, когда исчезнуть, когда родиться и жить. Всё останется точно так же, людие, и когда нас здесь никово не будет. Всё так же будут собиратися гости на праздник, так же сладкое пить вино. Так же будут стреляти друг в друга и целовати друг друга люди, глупые, злые, добрые, умные, смерти то

все равно. Ну, а кровь? Кровь, святая, Господи, как густо, пламенно, дымно льётся, как вьётся рекой, как накрывает красным платом времена, сраженья, завьюжённые поля, кровь, она вся в человеках, и ты, человек смертный, кровавый такой, а кровь, она же бессмертна, сосудами битвы, любви и боли тя обымает, земля! В земле наша кровь. В земле наш пепел. В земле наши стоны. В земле наша смерть, а вот поди ж ты, является вдругорядь, и вновь забирает нас – у нас, у крови весёлого гона, у родильного стога, у веры во благодать! Смерть, она же приказ! Так назначено! За нея – заплачено! От нея, молчащей, отводят заплаканные глаза. Мы бились за жизнь! За жизнь хлебнули горячево! Мы жизни молились!.. а всё умирает, умирает даже старая бирюза... Умирает старая кровь, если новой в нея любовь не вливает. Умирают вещи, зоны, книги в старой телячьей коже... древние грозные льды... Смерть приходит однажды. Господи! Ты крикни нам, што она – живая! И, живую, ея попросить... ей взмолиться... штобы мимо – ея следы... Для чево ты, смерть? Какова ты на рожу? В лице твоё вот бы воззриться! Да не дашь ты. Ты в черном, монашьем, угольном апостольнике глухом. А мы путаем тя с кем-то забытым... за тебя принимаем чужие страшные лица... лица, лица, лица людские... улыбки, морщины и кровь... красного снега тяжелый ком... Кровь, сияньем течёт, неужели она с тобой, смертушка, в землю уходит... может, в небо красной хоругвью взмывает... надо всеми, над Мiромъ моим... кто там, кто там так горько плачет над телом моим при народе... не кручиньтесь... ведь смерти нет... глядите, лишь кровь и дым...

Только дым и кровь, только древнее, сирое Лобное место, а земля от смерти устала, до бессмертия ей далеко, она просто людская постель, просто Богово чёрное тесто, из которово можно вылепить нового Мiра лицо, о, а што есть смерть, мы никто никогда не знаем, мы стыдимся ея, закрываем лица ладонями, штобы она не узрела нас, ибо всякий из нас, это грешная, распоследняя жизнь, шалава шальная, вся бессовестно грешная, жаркая, бешеная, навек, на миг и на час, вся жестокая, вся в крови, в несбывшихся клятвах без краю, вся звенящая могучими латами, вся – потерянный перстень, дырявое решето, вся в слезах последней любви, о которой я, людие, ничево не знаю, о которой никогда ничево не узнает никто.

(протопоп и боярыня Морозова)

Сколь народищу на улке! Толпятся; дымятся. Я тулуп нашвырнул на плечи, на крыльцо вынесся, гляжу. Валят и валят! И остановки нету. Я за всеми побёг. Вечная зимонька за плечи обымает, в лице плюёт снегом мокрым, тяжёлым. Бегу, и на бегу лице от мокрети отираю голой ладонью. А потом вдруг мороз ударил, под ногами лёд голый, и снег в пуржицу обратился. Ух!.. бегу-мчуся, да встал инда вкопанный. Потому што все стоят, замерли. Наблюдают. Я через головы всех воззрился!

...да и понял живёхонько, што к чему.

Болярыню мою, свет-любимейшую, Феодосью Прокопьевну, в розвальнях везли.

Куды? На суд? Опосля суда – приговор исполнять?

Каково я здесь-то оказался? Я ж пребываю в дальних землях Северных, в наказании подземельном, во гладе и хладе... Ничево не понимал,

однако всё на земле происходило, и на снежочке я стоял сапогами, на скрипучем, а розвальни с болярынею – мимо мя, грешново, неслися.

Я себе так шепнул: гляди, протопоп, да запоминай всё до капельки, ибо ты сподобился; потом разберёсси – и в себе грешном, и во Времени, и во приговоре, и во чудесех. Девица в расшитом золотной нитью, шерстяном тёплом плате, со громадным сапфиром-перстнем на тонюсеньком пальчущке безымянном – рядом стоит. Ручонки ко груди прижала: молится. Крестится, зрю, двуперстием. Да разве старую веру изыдеши! Разве ж прогониши ея батогами! Ни выжжешь кострищем! Ни обезглавишь секирою! Ты ея в яму бросишь – с голоду помрёт, а воскреснет она.

Везут! Везут, Господи... Укрепи ея, поддержи ея... Любимицу мою, ученицу смиренну... Сколь хлебов она страждущим раздала! Сколь безродных, голодных накормила! И хлебом, и рыбой, и молитвой, и любовью. Скольких обымала-перекрещивала! На ночлег устраивала путников; обнищальным – кров давала; безверных – верою укрепляла; близких схоронивших и во скорбях пребывающих – надеждою на грядущее изумляла. Всё она, болярыня моя! И я ли ея тому учил! Не Господь ли Сам учил ея тому! Не Господь ли Бог наш Сам ея наставлял!

Мимо, мимо розвальни... На снегу сидит, скрючившись, ноги под себя поджавши, в отрепьях и чугуновых цепях, железных змеях, юродивый Христа ради. Ах, юрод святой, давай-ко, помолись за мою страдалицу! И бродяга блаженный, будто услышал мя, на болярыню в санях воззрилси, длань тощую подъял и ея широко перекрестил. Двуперстием! Господи, возлюби, сохрани! Возлюбленная дочь Твоя за Тебя нынче – на смерть идёт!

И глядел я ясно вперёд себя, и нашёл глазами в санях – лице ея.

...И розвальни! И снег, голуба, липнет сапфирами – к перстам... Гудит жерло толпы. А в горле – хрипнет: «Исуса – не предам». Как зимний щит, над нею снег вознёсся – и дышит, и валит. Телега впереди – страшны колеса. В санях – лицо горит. Орут проклятья! И встает, немая, над полозом саней – болярыня, двуперстием воздымая днесь: до скончанья дней. Все, кто вопит, кто брызгает слюною, – сгниют в земле, умрут... Так, звери, што ж тропую ледяною везёте вы на суд ту, што в огонь переплавляла речи! и мысли! и слова! и ругань вашу! што была Предтечей, звездою Покрова! Одна, в снегах Исуса защищая, по-старому крестясь, среди скелетов пела ты, живая, горячий Осмоглас! Везут на смерть. И синий снег струится на рясу, на персты, на пятки сбитенников, лбы стрельцов, на лица монашек, чьи черты мерцают ландышем, качаются ольхою и тают, как свеча, – гляди, толпа, мехами снег укроет иссохшие плеча!

Снег бьёт из пушек! стелется дорогой с небес – отвес – на руку, исхудавшую убого – с перстнями?!.. без?!.. – так льётся синью, мглой, молочной сладью в солону на санях... Худая пигалица, што же Божьей властью ты не в венце-огнях, а на солومه, ржавой да вонючей, в чугуновых кандалах, – и наползает золотою тучей собора жгучий страх?!.. И ты одна, болярыня Федосья Морозова – в Миру в палачьих розвальнях – пребудешь вечно гостя у Бога на пиру! Затем, што ты Завет Его читала всей кровью – до конца. Што толкованьем-грязью не марала чистейшего Лица. Затем, што, строго соблюдая обряды, молитвы и посты, просфоре чёрствой ты бывала рада, смеялась громко ты! Затем, што мужа своего любила. И синий снег струился так над женскою могилой из-под мужицких век. И в той толпе, где рыбника два

пьяных ломают воблу – в пол-руки!.. – вы, розвальни, катитесь неустанно, жемчужный снег, теки, стекай на веки, волосы, на щеки всем самоцветом слёз – ведь будет яма; небосвод высокий; под рясою – Христос.

И, высохшая, косточки да кожа, от голода светясь, своей фамилией, холодною до дрожи, уже в бреду гордясь, прося охранника лишь корочку, лишь кроху ей в яму скинуть, в прах, внезапно встанет ослепительным сполохом – в погибельных мирах. И отшатнутся мужички в шубёнках драных, ладонью заслоня глаза, сочащиеся кровью, будто раны, от вольного огня, от вставшего из трещины кострища – ввысь! до Чагирь-Звезды!.. – из сердца бабы – эвон, Бог не взыщет, во рву лежащей, сгибнувшей без пищи, без хлеба и воды.

Горит, ревет, гудит седое пламя. Стоит, зажмурясь, тать. Но огонь – он меж перстами, меж устами. Ево не затоптать. Из ямы вверх отвесно бьёт! А с неба, наперерез ему, светлей любви, теплей и слаще хлеба, снег – в яму и тюрьму, на розвальни... на рыбу в мешковине... на попка в парче... Снег, как молитва об Отце и Сыне, как птица – на плече... Как поцелуй... как нежный, неутешный степной волчицы вой... Струится снег, твой белый нимб безгрешный, расшитый саван твой, твоя развышитая сканью плащаница, где: лёд ручья, Распятье над бугром...

...И – катят розвальни. И – лица, лица, лица засыпаны серебром.

...и я стоял и думал: а ведь всё это ты, проклятый Патриарх, всё ты и наделал. Полстраны, пол-Расеи секирами вспахал, кровью засеял! А што из крови-то вырастет? Кровь и вырастет, оно понятно. Из ненависти вымахнет ненависть. Да до небушка. Дымы повалят, пули зашвистят... Покосился. В толпе рядышком со мною, грешным, странник стоял. Сколь я их, горемычных, на веку повидал. На суглобой спинеце старый, годами трёпанный, молью траченный, с чужово плеча кафтан; от дождей и снегов весь повыцвел, сам цветом дождя сделалси выкрашен. А он на мои порты зыркает. Порты залатаны, Настасья залатала со тщанием, со любовью. А я стою, в раздумья тяжкое погружённый. Патриарх, мыслю! Ты человек, властью облеченный, яко Царь. Ты да Царь – вот тож двуперстие. И вся Русь, да, вся, тем двуперстием должна бы покреститься! А што взамен тово?!

Везут... везут мою дитятку духовную... везут мою цариценьку в клобуке, чёрную мою ворону-галку, монашеньку... в одеждах цвета земли она, и на соломе, в розвальни набросанной, прямо, гордо сидит, сани туды-сюды качаются, а она... она не покачнётся... руку воздымает, высоко подымает, выше главы своея... и – вижу – двуперстие из пальцев исхудалых складывает... и ищо выше, выше тянет... вот же оно, вот – Иисусово крестное знамение! Иисусов знаменный распев! Чёрная воронушка моя, монашенька моя Христова, дщерь моя исповедальная! Ведь на смертушку катишь! Ведь розвальни те толстопятые, полозья – брёвна стоеросовые, тя везут – ах, знаешь ли, куда?! на што?..

...и тут болярня моя на мя – свои широкие, будто лопатую выкопанные на метельном лице тёмные очи – перевела.

...узнала. Она – мя – узнала!

Сповадала!

Мне почудилось: власы на главе ея, под монашеским полночным апостольником, встали дыбом. Брови соболю на лоб поползли. Щеки осунулись. Всё лице мукой смертною исказилося; словно бы она уж в яме сидела казнящей, и вверх, на последний свет свой Божий, из ямины – глядела, и со светом Божиим – прощаласи.

А длань с воздетым двуперстием – не опустила.

Так и сидела с поднятой рукою, толпу плачущую, ропшущую крестя.

Побледнела сильно. Цвета снега сделалось ея лице. А снег повалил гуще, гуще, и вечер наваливался, катился синею бочкою из-за сараев и древняных сторожевых башен, и всё синевою обнималось и лазурью мрачной, предночную вспыхивало, вспыхнули и глаза болярыни, на мя обращённые; я видал, она разлепила пересохшие губы, мне чудилось, они кровью запеклись, и вытолкнула из груди своя хриплый стон: Аввакуме!.. отченька!

– Аввакуме!.. отченька...

Мне причудилось, вся могучая толпа, што на ветру да на снегу упрямо колыхалась, взорами болярыню провожала, тот возглас сирий, тот стон прощальный услышала. Я стал ушами всех. Глазами всех. Я внезапно стал всею толпой. Таковое чувство может посетить живущего человека; оно сродни всеобщей вере; оно нисходит на тя в соборе, в совместном мощном пении, в любви, когда ты и супруга твоя нежно и крепко обнимаются на общем ложе, во звёздной морозной ночи, а изба жарко, томно натоплена, для радости и зачатия. Я стал всеми людьми. Каждым человеком во толпе стал я. Снегом под сапогом странника. Чугунными веригами на голом теле блаженного. Сапфировым перстеньком на тоненьком пальчике боярышни, што таково жарко, безысходно молилася за безвинно на смерть осуждённую. Секирой на плече, на бархатном, цвета болота, кафтане боярсково стражника. Я стал всеми очами и всеми ступнями; всею утварью, мастерами изделанную, и всем ветром-воздухом; всеми голосами, ропотом, вскриками и бормотаньем, и всею тишиною, падающую с небес тяжёлым Царским, белым, прозрачным, кружевным пологом. Я стал – всем.

Всем сущим.

...не сознавал, што же такое со мною.

...чуял токмо: таковое же и Господь испытывал, когда заколотили гвозди Ему в руки и ноги Ево и вздёрнули Крест Ево ввысь, там, на Лысой горе.

...и блазнилось мне, што вся толпа эта, розвальни моей болярыни слёзными зрчками вдаль провожающая, всё это толпища Голгофы, и все мы стоим не на улочке града заснеженнова, а на истинной Голгофе Господней, на Лобном месте Господа нашего Иисуса Христа, и там, за пеленою снега, над градом многолюдным, неистовым, муравейным, над толпою, над санями, везущими мою болярыню на смерть, над крышами и крестами храмов Божиих, над птицами, галками, воронами, снегирями и свиристелями, над безумными воробьями и Ангельскими голубями, то и дело вспархивающими в набухшее снегами небо, встают эти великие, громадные Три Креста, и на одном, в самой середине, в средоточии Мира видимово и невидимово, висит-раскинулся, тяжкими, яко жизнь вся, гвоздьми приколочен, Христос, а праворучь и леворучь Ево – два креста помене: и там два человека тож распяты, и оба головы к Спасителю повернули, и взирают на Нево полными невылитых слёз глазами. Мученики! Даром што разбойники! А может, они покаялись! Может, пред казнию у них исповедь священник принял!

Да што там: сам Господь на Кресте – их, татей, простил!

И вот над болярынею моею, в санях катящейся, и стоят-нависают над крышами, башнями, крепостными стенами, нищими избёнками Три Креста, и высочайший – Крест Господень, и она, задирая к Нему главу свою, облачённую в угольный мрачный плат, выкрикивает, и слы-

берег крут, – ахти мне, да не убьют! А лишь до крови, до сукрови измолотят-изобьют, и потечёт та кровящица-сукровь по сукну, по дерюге да в песок... Ах, держися, протопопица, моя бедняжечка, за мой Живый-в-помощи исподний поясок...

Настя, младенца ты живаго родила, а нужды камнями навалилися, радость наша сгорела дотла; хворую Настасьёшку да в скрипучей телеге прямиком до острога Тобольскаго везли-везли, а младенчик орал пуше раненой росомахи в тайге рыжекудрой... вопияше, инда на краюшке матки-земли!.. Мне поведали разумники-картографы, что мы, грешнии, колёсами да ножонками промерили три тысящи вёрст; трясли денно-нощно дряхлыми одежонками, запахивались, заместо тулупов, в пургу да в мороз... а в санях протряслися ищо половину пути – и зрю над собою в ночи угрюмые лица: не спи, протопоп, застынешь, как пить дать, а нам-то, вишь, ищо долгонько брести!..

А моево вернаго дьяка Антония вражина, имечко ево христианское, Иоанн, однажды схватил за шкирку, будучи непотребно пьян, и на снег выволлок, и руки Антонию за спиною связал, и мимо храмины в избу себе поволок – а там-то: в рожу огонь! в зубы сапог! Мучил да мучил, на всю жизнь изувечил, а дьяк, не будь дурён, возьми да от него улети, быстрее камня из пращи... да ко мне, дрожа, прибежал... теперя ево ищи-свищи... я раны ему промыл черемичной водой, ромашкою пере-сыпал, ветошью перевязал... на свои полати спать уложил... а Антоний всё на мою Настасьё во все глазёнки глядел – ничево не сказал... Лишь наутро, когда затемно за голый стол вкушать пищу сели, выдохнул, будто задул свечу: экая протопопица, инда сама Богородица... не кошунствую, батюшка, молчу, молчу!..

А я обернулся – и вижу: на краю длинной сиротьей лавки сидит Настасья моя, а у груди ея младенчик, уснул, слава Те Боже, в охвостьях с чужой плоти белья, наелся, родимый, болезный, тощего материна, сладково молока... напился впрок, на перекрестья дорог, на все, Господи Ты нас прости, беспредельные, бездонные, безродные века...

А что ж!.. и правда, а што человек лишь года малые небо коптит, века не живёт?.. «Хочу, чтоб ты пребыл, доколе Я не прииду!..» – рек Господь Иоанну-ученику, отправляясь в небесный полёт; а Настюша, и верно, сидела смирно, хоть нынче иконой в медный оклад, и белки глаз сапфиром блестели, и волоса до полу упасть хотели, русой проселочною дорожкой, не вернёшься назад...

Времячко, время... и суток не прошло, как пострадал я от диакона Иоанна зело. Вечерню служу, снаружи лютый хлад, ищо до Сретенья, исход генваря, а тут двери стук, и настезь, и втекает Иван тот, поган, тянет крочия рук, да Антония за бороду – цоп!.. да о древняный настил лбищем – хлоп!.. по Антоньеву лику кровящица так и хлынула ручьём... А я на храмовы двери – засов, да руки Ивашке выпростал из рукавов, да замотал за спиною вервиём, и ево, подлеца, мы с Антошкою-дьяком сперва ремешком, посла хворостинной гусиною постегали вдвоём! Эх он и орал! Красен рожею стал, что бабий, в ожерельях, коралл. А мы-то устали стегать... провались, оба вопим, да не пытай ближнево своево вдругорядь!

И што? Подстерегли нас сродники Ивашкины. Средь многозвёздной ночи ломились в избу. Настасья дрожала. Младенчика у груди крепко держала. Невнятно бормотала – про Бога, судьбу. Ах, судьба полынна, жизнь долга-длинна, вервиём то вяжут, то бьют, то снопы обхватят, то гробы подхватят... а жить-то – сколь там минут?.. «Пропадём, прото-

поп!..» – ея долгий вопль, а потом шёпот дикий, будто чужой, слышал я всем сердцем звериным, всею Божьей душой... Дверь выбили – могучными плечьями, беспутными ногами! Врываются, на лицах пламя, зубы в ночи кострами горят, белки бешенством непотребно блестя! И встаёт тут с постели протопопица моя, вижу – губы быстрым шёпотом молятся, глаза кричат, а прозрачные слёзыньки по скулам текут, не вернутся назад!

А ништо, никто назад не вернётся... всё едем, мчим лишь вперёд, вперёд... И я-то, иерей, смерть завсегда у дверей, доподлинно знаю: там, в конце пути, ишо далёко ехать-идти, никто – никогда – не умрёт...

И вставши с постели, и творя шаг еле-еле, шаг, един, другой, подбредает к чёртовым катам, а робёнок у ней на руках – спит, ровно во мягких облацах, не пошевелит ни ручонкою, ни ногой! И близко, вот она уже слишком близко к смертушке, к насильникам нашим стоит, – и внезапно тако высоко, к матице самой, подымет робёнка, и валятся на пол ветошь-пеленки, а малец не проснётся, таково крепко спит!

И тако возговорит жена моя, Богом данная, с неба манною, к убийцам жестокосердым душой обратясь: не обидьте, сердце с-под ребер не выньте, не втопчите в наледь и грязь! Мы живые же люди! Не индюшки на блюде! Не на Масленую – блины! Не грызите плоть нашу и косточки наши, усы от крови нашей не утирайте! А простите... да со двора утекайте... да штобы не было, Божьи ж вы люди, иль кто, лютой бойни, кровавой войны!..

И воздымает выше младенца. Кот трётся возле ея колнца... и ишо один из-за печи медленно, важно вышел рыжий кот... А народ стоит, блестя в ярых оскалах зубами, и тут молонья между нами ударила: НИКТО! НИКОГДА! НЕ УМРЁТЬ!

Кто то слово молвил?... Зачали оглядываться все друг на друга. Каждый каждому – чересседельник, подпруга. Стоит, высоко держит младенца супруга моя. И пятится, пятится прочь от меня злыдень главный самый, дяк Ивашка, яко с порога храма, объятого безумьем, алым лихолетьем сплошного огня.

Эх, видал я не раз, как церкви горели! Те пожарища когда потушить не успели – на пепелище вставали кругом монашьим да молилися... и молитва была нам – вино и брашно... И видал сто раз, как горели дома – и метались насельники их, сходя от тоски с ума: жизнь горела там ихняя, велия радость горела, дедова, в телячьей коже, Псалтырь, древною иконное тело... А иконописный дух?! Да пылал, бушевал за двух! А я воплю: прочь, выметайтесь во кромешную ночь, вам всё едино Господа Бога нашево не превозмочь!

И выкатились. И один из той толпы нечестивой, што вломилась к нам в дом да собралася нас, грешных, убивать – и перебили б всё бедное семейство моё, до смерти забили!.. у них во очах я это читал, ровно во Книге Пророков!.. – шедши восвоеси, пал на улице и издох, яко пес смердящий.

И вот тогда Царское слово, на бумаге витиевато писанное, прибыло с обозом в Тобольск. Расколел Царь нас, мечом рассек надвое, аки воин Царя Соломона едва не рассек младенчика, из-за коево повздорили две матери: мой да мой! поди, лико кровию умой... – ах, разрубил! и што? и то: это как икона святая: упала со стены во храме, раскололась надвое, и не шить, не склеить, не связать, – не простить. Разве ж Бога Господа можно надвое – рассечь? А потом наново сочетать? Разве ж Он попустит с Собою такое сотворить?

А землю нашу, значит, так-то – можно?!

А жизнь человечью – разрешено?!

Ну што ж... што ж... В послании Царя писано бысть, стояло чёрным по белому: везти окаянного протопопа на Лену-реку. И потекли в путь. И добрались до Енисейского острога. А там, в Енисейске, ждал уж другой приказ Царский. Везите, мол, преступника в землю Даурскую! От земли Чудской до земли Даурской – вижу: несётся, наледь и глад... Раскололи любовь! да тропую узкой не вернёшься назад... Не уронишь хрусталь, не схоришь печаль... так с тобою навек, нищий ты человек, твоя голь, боль и жаль...

(дощеник тонет)

Енисейский острог покидали. Оглядывали срубы, крестились. Когда ищо доведется увидеть эти дома, эти небеса?

Небеса одни. Надо всей землёй.

И Бог – один.

А люди разрывают Ево на куски, кромсают, ломают, режут ножами.

И это не Причастие святое, нет. Это – безлюбье. Бездушье.

Бог – твоя душа. Потерял ты, брат, родич, соплеменник, живу душу свою!

Лошади тянули возки, телеги, кошевы. Он оглянулся на град, што покидал. Ветер трепал браду.

Протянулся день, другой, третий. Реки, холмы, шкура тайги, далёкие крики зверья. Когда вышли на берег Тунгуски, лоб крестили опять. Река! Жизнь велика. И слово надо сказать, штобы соединяло, штоб звенело и болело и всем ево слышать, не только себе под нос бормотать. А што есть такое слово? Слово было у Бога. И слово было Бог.

Ересь Никонова, изыди!

А ересь, што такое ересь? Гадость то, мразь, мерзость, да! А каково-то душе еретика, вдумайся! Вчувствуйся. Еретик, он опять же мученик. Да заблудшая овца он. Да вражина первейшая – не тебе: Богу опять.

Дощеник, припав боком к берегу, деревянный телёнок – к корове-матери-земле, ждал. Погрузились. Протопопица перетащила по доскам детишек: одного на дощеник перенесёт – за другим на берег бежит. В юбка запуталась, чуть в воду не свалилась, дитёнка на руках пьяно держит, качнулась, еле удержалась: устояла.

Вот так и надо устоять.

Стоять во что бы то ни стало!

Наш Господь выбрал это, вот это: на Своем стоять. И быть распяту. И мертву быть.

А зло, оно што? Оно неистребимо. Невытравимо из людского скопища! Вон гнус сибирский летает, клубится. Человека привязать ко дереву – за ночь гнус съест ево до костей.

Погрузились. И ветер тут налетел! Ветер, мощь, стихия, человеку страшна, борет всё, разрушает всё, коли захочет – всё в мире с землёю сравниет.

Ударил ветер в бок дощеника. Перевернул ево, и черпнул он воды. Господи ты мой Боже великий! Помоги, спаси, не отринь! Потонем ведь все в одночасье! Водича хлещет, ветр ярится, парус рвётся, текуча вода, Мирь исчезнет, стаснет под водой, погружаются медленно люди в

яростную воду, во время, погружается мир в темноту, Бог, да Ты Свет, Ты един, на Тя уповаем, да не постыдимся вовек! Вот палубы, доски кренятся, ветер сумасшествует, – да мало ли в жизни человеческой безумья, и вот, зри, тебе безумье юродки-природы довелось к сердцу прижать. И прости! Простишь ли, человек, природе да Богу страшную смерть свою!

...Жизнь, жизньюшка. Тебя нельзя начать заново. Тебе имя-то каково? Ты протопоп, звать тя Аввакум, жёнка твоя зовёт тя в минуту радости земной – Вакушка. Земное имя! Дать ево нельзя вдругорядь, и нельзя жизнь начать наново. Сибирская бурливая река, вода нахлынула, дощеник тонет, вот-вот на дно пойдёт, к рыбам да червям. Полна древняя утлая чаша ледяной воды! И по лету в тутошних реках вода холодна; холоднее смерти.

А вот жёнка твоя со детишками, вместе с людьми и дощеником, тонет. Тонет! И нынче утонет! Ты-то плавать смогаешь, а она не умеет. А всё, что потонуло, да разве же выплывет?!

Жизнёнка, летишь, малая, сирая ластовица... тощая, слабогрудая птиченька... то над реками... то над морями... над тайгами... в пустынях ветер пески, смеясь, перевивает...

Спаси! спаси! лишь крики над рекой. Лишь рваные паруса серых облаков в небеси. А и кто там во облацех, над тобою и сторожами твоими, протопоп? А это Господь Бог твой! И на гибель твою, и на гибель протопопицы твоей и чад твоих – торжественно, молча взирает! Ибо смерть – таинство велие есть; и неизреченна она; и пьянеют люди при единой мысли о ней без вина; и все поколенья, до тебя бывшие, по лику богатой и жестокой земли прошедшие, уже в холодной воде, – а ты ищо идёшь, еще идёшь. И вот – плывёшь. И вот – тонешь!

Уходит под воду днище твоё! Корма твоя! Сосновый, гордый нос корабельный твой! Дощеник-то твой хрупкий оказался, жалкий! Протопопица на кривой палубе стоит, ребят к себе сгрудила, глаза по плоске, глядит на тебя, инда душеньку свою всю перелить в тя желает. Да! Так лубит она тебя! Вот сейчас! Перед смертушкой!

Власы бабы растрепались. Страшен вид ея! А што, ежели и земля однажды, в свой черёд, в черноте ночных небес – возьмёт да утонет? Ко дну пойдёт, да не к червям – ко звездам!

Орёт ребятня. И все люди блажат.

Пошто, когда человек умирает, кричит?

И лик свой к небесам задирает. Вопит надсадно!

Умирать – не хочет!

Господи, спаси! Помоги! Сохрани!

Да тонули, всё равно тонули, бесповоротно: видать, пробоина во днище случилась...

Обернулся. За их дощеником плыл, качался на ледяных волнах второй корабль. Там, на ево палубе, Царёвы люди и несчастные ссыльные, наказанные ни за што, просто за жизньюшку: за то, што на свете живут, – плакали и визжали. И бросился в воду един Царёв слуга; не разобрать, стар иль млад; и сажёнками поплыл к Аввакумову дощенику, и уже взбирается по борту на палубу, как соболь когтями во кедра кору, вцепляясь во щели меж досок. Корабль уходит под воду, а человек со другой лодьи зачем приплыл, по шаткой палубе, полоумный, шарахается?! А! Из воды – за волосы – вытаскивает робятёнка! Так это ж, зри, протопоп, сынок твой младший! И отроковицу из воды хватает,

и на бочку с солёною рыбой кладет, бочка, чудо, ищо торчит из воды! А мать глядит. Глядит неотрывно!

Вся жизнь в ея очах; вся смерть. И синие от холода губы шевелятся. А ни крика, ни стопа. Ни звука.

Вот уж все твои детишки на той бочке сидят. А царёв слуга, по колёно в воде, бредёт по скошенной палубе к тебе.

– Спас я семейство твое, протопоп!

– А пошто спас?!

– А жаль мне тя стало! Всё же детишки! Божьи созданыя! Безгрешны они! Это мы грешны со всех сторон, протопоп!

– Как имя твоё?! Ежели живы останемся, в молитвах буду поминать!

– Егор!

– Кому служишь, Егор?! Царю?!

– Ему, батюшке! Кому ж ищо!

Так перекрикивались.

– Што стоишь како жердь, протопоп?! Богу молись! Авось Он зла не попустит!

Почему ты запел, среди смерти всеобщей, тот кондак, из Постной Троицы, да зачем сбился на свою, из души, песнь, ты и не ведал.

Необъяснима жизнь; и непостижна смерть.

(первое видение Аввакумом Царя и Патриарха)

Шаманский порог перекатывался грозными струями. Струи серебряные, струи железные, навеки безвестные, а вверху, в небесах, бранные тучи друг с другом воюют. Никак друг дружку не поборют. Так и люди. Вражина Пашков, страж ево, то подходил на палубе к нему, разворачивал за плечи к себе лицом, и ну – с размаху – рукавицей да в рожу! Аввакум даже не утирал ладонью кровь. Пусть течёт. Непредсказуема человечья злоба; когда она родится, как вспыхнет, сколь будет пылать, долго ли, коротко ли – никто не знает, только Господь.

Пашков плевал ему в лицо. Плевок грубо вытирал холодный ветер. На палубу, шатаясь, выходила чужая вдова, одетая в чёрную понёву; крестилась, потом крестила протопопа. «Разобьёмся на пороге-то!..» – одними губами бормотала.

...как же там жёнка, с детками, во закутке подпалубном, одна... плачет? молится? Уж лучше б молилась. Господи, на молитву наставь ея, сделай милость. А я потерплю. Я ведь жизнь нашу – любую люблю. Жизнь – она ведь такая: то ведро, то бури отчаянье, а то сидит девчонка, рыдает печально, то дочушка моя, речушка, разливается-плачет слезою талой, горячей.

Дощеник наш, ровно утица плывущая, с боку на бок на стрежне переваливается. Делать нечево, плывём, хлеб жуём. Голодать голодаем, а потом вдовы, монашки грядущие, в котле наварят кашу, так с той кашей и Страшный Суд не страшен. И приблизился другой порог, по имени Долгий. И завыли на бреге голодные волки! Нас зачуяли, человечину, значит. Стоит на носу вдовушка, плачет. Подошёл да шепчу ей: тихо, тихо, так всё шепчу: тихо, тихо, ты што, шепчу, аль не видала в жизнёшке лиха?.. аль не страдала, боли не дожидала?.. али муки мученической вовеки не испытала?.. А она, вдовица-то, как обхватила мя за шею, как прижалася вся, дрожа, пламенея, и молясь, вслух бормоча бессвязицу, бестолковье... да полное чистой, неистовою любовью... Молода ведь...

да я тож молод... а внутри дощеника – моя жёнка, дети... а снаружи – Долгий порог, тяжкий ветер, холод и воды, до края землицы воды, то сплошные смерти, а то Вселенские роды...

Я так ей шепчу: ну, пусти же меня, ты, вдовица, пусть это всё нам обоим в Божием сне приснится, а так – обнимемся мы там, видишь, где?.. в зените, за облаками, там ты поцелую, обовью Ангельскими руками... А тут Пашков. Прыг на палубу! и нас, обнявшихся крепко, зрит погано! И хохочет-ржёт, ровно конь! и валится, будьто спьяну! и по доскам катается, колени поджав к подбородку... а потом застывает – да так и засыпает, к небесам браду подъявши смешно и кротко...

И вдовица моя выпускает мя из объятий, подбегает к Пашкову, обтирает ему от пота лицо потрёпанным платьем, шепчет Божие Слово... А я над ними стою, сам себе храм, сам себе колокольня, и мне так грозно, вольно, нежно, мощно и больно.

...а наутро выкинули из дощеника мя на берег. Зачем? не знаю. Может, Пашков тако умертвити мя пожелал. И готов уж я был обратиться живым да горячим телом в тот жёсткий, по утрам льдом обросший дощеник, олений стланик, ободранный веник. Причалили лодчонку к берегу, скалы над водою нависают, меня за шкирку, яко щенка, ухватили да на берег выкинули. Сапогами водицы черпнул, порты вымокли, изветшалый кафтанишко тож. Обернулся. Ну я ж не Лотова жена! На дощеник гляжу. На палубе вдовицы столпились, на мя пальцами кажут, лики от слёзынок ладонями обтирают. И это мне, мне их жальче, нежели им – мя, грешново!

Озираюсь... Высоки уступы и скалы. Камень на камне навален, и подбираются горы Сибирския к Господу Богу. Мощь! Сила! Красотища! Зажмурился я. Так стою, и ведь ведаю, што сгибну, а внутрих все поёт. Очи отверз. Надо мною гуси летят. И то ли восвоеси возвращаются, то ли прочь с родимой земли улетают: я счёт временам утерьял, не знаю, нынче поздняя осень или ранняя, ледяная весна. Гуси, утки, лебеди, галки, вороны, орлы да соколы, о, многое множество птиц Божиих снуёт тут под небесами, утопает в синеве али в сером мышином рванье, в занебесной дерюге! И чудится мне, што из чащи на мя зверьё глядит. Пристально, яко на врага. На вражину; я для них, зверей, – человекья вражина, и иново мне имечка нету пред зверьми, хоша пред людьми я всю жизнь норовлю чистым да честным пребыть. Зверьё моё! Лоси да кабанчики... олени да козлы дикие, нравные... медведи да волки... бараны да косули... а поговаривали на дощенике, што тут и громадные лесные кошки по тайге бродят, и кто той кошке в когти да зубы угодит – живым не утечь уж ему... И смертно я страшусь лесных змеюк; хоть на бережку стою, на дощеник пялюсь, а под ноги себе со вниманьем гляжу: может, мимо проползёт, подлюка, так я ж ей чуть пониже башки ея вреднучей сапогом наступлю.

Нет. Не вижу змей. Стою, ветр мя обвевает, студит. Неужто на пищу диким зверям пойду? Сзаду ко мне казаки подходят, слышу песка да веток хруст под ихними сапожищами. Поворачиваюсь к ним весь, каков я есть. Казаки на мя воззрились.

- Откуда ты, мил человек?
- С дощеника. Вон, утекает.
- Энтот? Вниз по реке?
- Да, вниз по воде.

Дружно обернулись туда, куда я взирал, и проводили дощеник печальными, удивленными очами.

Потом я кашу казакам на бреге холодной реки варил. Посадили мя ближе к необъятному котлу, крупы в котёл насыпали, водою залили. Деревянную, с длинною точёной ручкой, лжицу в руку всунули: мешай! Мешал. Ветр усиливался. Ярился. Огонь под котлом; ветрище ево красную бешеную шкуру в лоскутья рвал. На реку под ветром я не глядел; ветер белые барашки по серой волчиной воде всё гнал и гнал. Да всё к моим ногам. Казаки костёр близко к воде развели, и ветер иной раз швырял брызги в огонь, ровно горсть мелких жемчугов. Я такие там, мальцом, на родине, давненько, с детьми – из перловиц зубами вынимал... Казаки вопят: лодья! лодья! Оглянулся. Лодка к берегу пристала. Оттуда люди идут. А поодаль дощеник примкнулся к песку: наш, Пашков? чужой? Не ведаю, ибо зраки будто тучею заволокло. Тяжело люди идут, хрустко ступают. Топ, топ. Вот те, батюшка, и сосновый гроб. Над собою смеюсь: што сам себе мелю! Стали. Казаки таращатся. И я гляжу со вниманьем, спокойно. А лиц по-прежнему не различаю, и кто такие, в рожу не узнаю. Да и не узнаю никогда. Один шаг вперед – и р-р-раз мя – по скуле! Больно вдарил; да колко, длань его в колючую воинску перчатку была облечена. Другой вперед ступил – и стук мя – по скуле другой! Кровушка изо рта потекла. Я зуб на песок плюнул. А тут и третий вперед по песку шагнул – и мя в грудь толкнул, и свалился я, и тут бить меня зачали, одежонку всю как есть посрывали, и голого били-лупили, прямо на бреге реки безвинной, а гуси в небесах все летели, а я их уже не видал, мордой расквашенной в песке лежал, песок белый, холодный кровью пятная. Тут разум утерял. Таково крепко били. Кнутами и батогами. И конскими плетями. Когда древняным стволиком молодым, тонким, да с потягом, стали по спине охаживать, на миг я очнулся да опять во тьму нырнул.

Опять вынырнул. Чую, губы сами шепчут: за што? за што?.. пощадите! пощадите! Злые люди! Ах вы, злые люди! Под дождём на палубе валяюсь. Наш дощеник? Не наш? А што наше-то в подлунном Мире?.. да ничево. И сам я не свой. А Богов. И люди под Солнышком, под Лунною – Боговы. И ничьи более. Нет, диавол рядом; и ухватить норовит. И пожрать. Мы – еда. Еда! Всяко, во все времена и царствия. Так назначено. И не нам укротить ход времен сих. Дождь осенний, хлещет по мне, лупит наотмашь. Не хуже палачей. И лежу тихохонько. Терплю. Смирение и терпение, так повторяю себе мокрыми губами, смирение и терпение... и...

И будто я тут, на мокрой скользкой палубе валяюсь ликом к небу, и будто уж не тут. А где? То-то и оно. Небеса волглые расступились. Разъялись. Мечом молоньи рассеклись. Каждая жилочка во мне дрожит-болит. От боли ничево не чую, не зрю-не слыхаю. Шёпотом Господу молюсь. И вроде как не на дощенике уж я. А в Царских палатах. И на троне восседает Царь наш Государь, владыка верховный, Царь святой и славный, Богом на тот трон посажённый, и я, хоть ни в жизнь ево не видал-не встречал, прекрасно понимаю: это – Царь. В одной руке ево скипетр торчит, указывает вверх, на своды палаты, зело расписанные яркими фресками. Ярче Солнца те росписи, богаче хвоста павлиньего! Во другой руке – держава, круглая золотая Луна. На вид тяжела, а на ощупь? Гляжу на Царя. Царь – на мя воззрися. И молча таково друг в друга вглядываемся.

И не вижу, што возле Царского трона человек стоит. И вдруг увидал. Во чёрной рясе. Иерей. Высоко поставлен, пред самым Царем, а пошто же в повседневной нашей поповской хламиде, не в ризе злато-сребря-

ной, парчовой, смарагдами да лалами расшитой? Ах, кумекаю, Великий ведь Пост нынче. И архиерей, и митрополит, и сам Патриарх должны во времена Великаго Поста во чёрное платие облачитися. То Царь в парче сидит, в камнях, на Солнце играющих. А Патриарх – Господа слуга. Господа же на исходе Великаго Поста избичуют, оболгут, распнут и во гроб положат, и камень велий ко входу приткнут; и никто из живых, живущих ищю не знает, что белый Ангел прилетит на том камне смиренно сидеть. И Марию Магдалыню со Марией Клеоповой ждать.

Стою пред Царем да пред Патриархом и мыслю так: с ума, видать, скатился, избили до крови, до утраты разуменья, вот и видятся картины несбыточные. И тут Патриарх шагает вперед, и ищю шаг, и уж возле мя, и тихо балакает, почти шепчет, еле разбираю:

– Верь, верь, ты без веры – прах. Главу склони!

Я подошёл под благословенье. Башку поднял – Патриарх в то время мя крестным знамением осеял. А Царь, Царь на всё это внимательно глядел.

Потом Царь разжал губы и молвит:

– Думаешь, ты в Сибири? Мнишь, то я прибыл в Сибирь да тебя велел тут сыскать? Нет. В Москве ты, протопоп. В первопрестольном граде. Изволь к ногам припасть Царским!

Я так в ноги Царю-батюшке и повалился. Рухнул на колена, потом лицом на половицы возлег, на животе, аки квакша, растянулся. Распластался. Лежу. Тишину слушаю. Молчанье Царское. И Патриарх молчит. Тут понимаю так: да ведь это ж Никон Патриарх. Никон! Через пять изб от меня рожден! Земляк мой, ищю чуть, и сродник! А што ежели рот разлеплю, язык разую – да к нему обращуся, яко к родному, по вере кровному, по землице, где рождены матерями нашими в Божием Мире, брату возлюбленному! Да ведь все люди братья на земли! Все! Зачем же нас разрубают?! Зачем берут меч, топор, алебарду, секиру, тесак мясной – да как размахнутся, да как вдарят, резанут, отсекут, от хлещущей кровушки лице своё не отворотят?!

Лице своё от половиц – горе подымаю. Очи соль заволокла. Соль по щекам льётся. Трудно в голос молвить.

– Никон, – бесслышно шепчу, – да Никон же... ты же – свят... ты же – в наивысшем сане... пошто ты так-то удумал... книги переписать... псалмы по-иному петь... старые святые словеса, коими спокон веков наши отцы, деды и прадеды изъяснялись, все перелопатить, искромсать, с ног на голову водрузить, исказить да извратить... где буковку пришить, где титло присобачить... штобы музыка святая – инако зазвучала, иною тропой побегала... а пошто менять тропу ко Господу в небеса?!.. али заросла та тропа крапивой да чертополохом?..

Патриарх на мя взирает. И Царь на мя взирает. Оба живые. И я жив. Ни жив ни мертв.

– А што, думаешь, протопоп, где жёнка твоя?!

Тут сердчишко во мне в ямину ухнуло.

– Не ведаю...

Губы захолодали, яко на ветру.

Царь шуруется недобро.

– У меня твоя заполошная жёнка! Да таково орёт-то, я ея велел чуть поколотить, штобы – примолкла!

На Царя гляжу и весь дрожу. Настасьюшка! сколько мук! сколько... сколько...

Догадался. Как батогом во всю нагую спину протянули.

- Царь-Государь батюшка! А ты ведь – не Царь!
- Округлил глаза Царь. Воткнул в меня зрачки – два копыя.
- Што мелешь!
- Ты ведь – порог речной! Смертный! И имя твое – Падун!
- Што...

– И Расея – твои берега! И тайга – горностаи у тебя на плечах! И не все переходят тебя со благополучием, не всякий дощеник! Кто и разбивает о твоя крепкий лоб! Кто в воде твоей, богато-серебряной, жемчужной, тонет навек! Не выплывет! Рыбой станет! Посреди реки царишь! Камнем торчишь! С места не двинешься! Царская власть крепка! Да наступит час – свалишься с трона... вижу, вижу! Дождь и снег! И потоки холодные! Река безумствует! Это ты, Царь, яришься! Не знаешь, как безвинных погубить! Да помогают тебе ветер, тучи и метели, и гнус жестокий, и слуги твои, клыкастые хищные звери!

Молчание сковало мразом уста. Я понял: конец мне пришёл, и, даже если то сон ужасный, он наверняка сбудется. А ежели то не сон – сколь же времени я пребывал во тьме, до перевитых в плоти жил да сухожилий избитый, измочаленный?

– Жёнка твоя красою не обделена, даром што крестьянка простая. Отдашь мне ея, протопоп? Легла на сердце мне она, горячо легла, обожгла. С детьми – беру! Разженюсь – из-за нея! А тебе выкуп богатый дам. Не пожалеешь!

Слушал, будто псалом Давыдов вдругорядь извратили, дощеник крепкий издырявили да страшным пустым гробом по сиротьей реке пустили. И плывёт покаместь, да вот-вот потопнет.

Покосился на Патриарха. И, о ужас! увидел, как Патриарх – смеется! Ухмыляется! Над кем смеется? Над Царем Алексием Михайлычем? Надо мной? Да хоть бы и надо мной! Я – стерплю! Да как же оно... Бить Настасью велел, а тут же – и обласкасть грозится, и отнять ея у мя хочет, и возжениться на ней мя вместо?

– Выкуп...

– Да, протопоп! Царский! Повелю тебя возвернуть из Сибири на веки вечные! Дам приход новый, али под Москвою, али под Вологдой, али, может, в Новгороде Нижнем! Времена сместятся. Не изловишь, как изломаться – да сдвинутся! Из старика – во вьюныша обратишься. Бог наш чудеса творит! Знай лишь Ему молись! Лбом об пол бей!

Царь глядел на мя, а я глядел на Патриарха.

Крикнул я Царю, да прямо в лице ево владычное:

– Эгей, Царь-батюшка! А зачем таков раскол учиняешь семейству добром, благочинному! Пошто колешь-рубишь надвое, да без возврата! Настасью штобы взять?! Да уничтожь мя тогда без следа! Убей! Казни! Лучше смерть, чем раскол! Лучше – тьма! Всё одно потом народы из гробов восстанут! И праведники воскреснут – к свету многозвёздному! А грешники в Геенну огненную низвергнутся! Эдак-то вернее будет! Всё честнее!

Побелел лицом Царь. А ко мне шаг шагнул Патриарх.

– Аввакум...

– Што, твое святейшество?! Што произнесть хошь?!

– Аввакум...

– Што, Никон?! Забыл, каково рыбку-то вместе ловили в Сундовике?!

И так заплескалась у мя пред очами та рыбка! Мелкая уклейка, вьюны полосатые, усатые, в черным-чёрной, да на диво прозрачной воде! Вода как угольная слюда, а речонка быстрая, да заводи в ней, иной раз

множество рыбы удой натаскаем, на кукан насадим, домой бежим босые, рыбёшка на вервии за спиной болтается: глядите, люди, каков улов богатый! И Исус со товарищи рыбку в Геннисаретском озере ловил... Пётр рыбу ту сетями в лодью выгребал... а мы, детишки, – с куканом... и тёплая вода с рыбьих хвостов каплет, по спине течёт, по хребту, по рубахе...

Пётр, батюшко мой...

Рыбалка твоя...

Царский глас громом над головой прогремел:

– Ежели я – порог, то Никон Патриарх – твой острог! Зеницы-то разлепи! Оглядиися! Себя в чужих зраках – узри!

И вижу, как Никон обращается, медленно и страшно, в древняный громадный сруб; што за брёвна великанские, может, и лиственница, прочна-железна, тюрьма навек, сгинет тут всяк человек, и я внутри сруба, и подо мною соломы пук, солома шуршит, я пить хочу, пить, и боле ничево, и глас соверху, ровно с матицы: **ОСТРОГЪ ГОСПОДЬ СТРОГЪ НЕ ПУСТИТЬ И ЗА ПОРОГЪ**

А потом ищо хрипенье, ужасное пенье: **ТО БРАЦКЪ СИДЕТИ ТЕБЕ ТУТЬ ДО ФИЛИППОВА ПОСТА А ВРЕМЯ ПОТЕЧЕТЪ ЗА ВЕРСТОЮ ВЕРСТА НИ КРЕСТА НИ ЧЕРТА**

Мыши... тараканы... ночью – холод лютой, инда на снегу, на ветру голяком сижу... а спать-то охота, а без тепла-то и не уснёшь... Стал худой, вострый, будто нож. На кочергу похож. На руки-ноги свои глядел: пальцы белые, што мел, из-под тощей кожи колена торчат – таковыми костями лишь насытить малых волчат... Мыши, мыши... я сапогом их бил. А потом над мёртвою мышью, яко робёнок, трясся-плакал, я-то зверьё живое любил, а потом в нея, ищо теплую, в загривок ей зубы запускал... блевал, а жрал... не было зеркал, штоб свой увидеть зверий оскал... Вши, блохи... иная насекомая тварь... захлопнул терпенье, како рыночный ларь... И всё себя, грешнаго, вопрошал: где сон мой, где явь... начало начал... Где детки мои, доченька да сынки... где зрячии их зрачки... на расстояньи руки... Ко мне сын кулачком в дверь тихо стучал... а я-то в кандалах... сруб заместо зеркал... пальцы вместо свечей... подниму – инда горят... озираю свой бархатный, мышиный наряд... худые лытки... с миру по нитке... Брацкой острог... чужие льдины плывут из-под ног... уплывают, уходят из-под кромешных ступней... жить бы да жить на свете, да не сыскать огней... што путь-дорогу укажут во мгле... да не надо мне в небесех... мне бы – тут, на земле... А где ты, Настасьюшка, у коей бабы чужой... приживалкой... ухватом... подпоркой-клюкой... хоть чем дитяток корми, да штоб не помёрли они... крестом Христовым в наш вечный мороз – их да осени...

Светлана ЗАМЛЕЛОВА

Родилась в Алма-Ате. Окончила Российский государственный гуманитарный университет (Москва). Кандидат философских наук (МГУ им. Ломоносова).

Прозаик, публицист, критик, переводчик. Автор нескольких книг (проза, критика, переводы, философская монография) и многочисленных публикаций в отечественных и зарубежных изданиях. Член Союза писателей России. Живёт в Сергиевом Посаде.

ГОРЬКИЙ. ДНИ БОЛЕЗНИ

Ночью он часто просыпался и порой, проснувшись, не мог понять, где находится. Было душно, и, наверное, оттого мысль обращалась к Тессели. Да, конечно, он в Тессели. И завтра они с Соловьём займутся дорожками и цветами. Да не забыть бы сказать Грише Пеширову подобрать и подготовить инструменты для той скалы. Если разбить её, то камни вполне сгодятся для опорных стен. Нужно только расколотить большие куски и перенести все осколки. Но какие же они тяжёлые, эти осколки. Особенно если прилечь, а камень положить вот так – на грудь.

Но потом он просыпался и понимал, что нет никакого камня, что сам, полулёжа в глубоком кресле, недавно принесённом откуда-то Липой, спит у себя в Горках. Да вот же она, Липа, – сидит у окна в другом кресле и что-то тихонько читает. И зачем он до сих пор не сказал всем в этом доме, кем она стала для него за долгие годы?

Но потом он снова засыпал, как будто проваливался в какой-то глубокий омут. Воронка крутила его и тянула вниз, вниз, на самое дно какой-то илистой бочаги, какого-то липкого болота, давившего грудь. И неприятный, пугающий голос – чей же это голос? – шептал в самое ухо: «Может, на сома желаете поохотиться?.. Тут для вашего удовольствия сом живёт пуда на три...» Ну конечно, в омуте непременно должен быть сом. Огромный усатый сом, выглядывающий из-под коряги. А впрочем, нет. Это вовсе не болото, и сома никакого нет. Это Волга, и вода прозрачная, чистая, прохладная. А на месте сома – якорь. Оттого и давит грудь, что, нырнув, он ударился об этот якорь и сломал, должно быть, себе рёбра. Ах, как сжимает грудь!

Тяжело, со свистом дыша, он просыпался и понимал, что он в Горках, что болен, что сейчас ночь и часы бьют два раза. А в груди в самом деле что-то клокочет и сжимается. словно бы сом рвётся наружу из-под придавившей его коряги.

– Липочка, – позвал он, – можно мне молока?

И зачем-то добавил:

– Сома напоить.

– Какого сома, Алексей Максимович?

– Никакого, Липа. Это я так.

От густого, жирного, сладковатого молока становилось как будто легче. Видно, и впрямь сом напился и успокоился под своей корягой.

– Алексей Максимович, – откуда-то словно издали донёсся голос Липы. – Давайте-ка мне кружку. Не ровён час, уроните и разобьёте. Сами же потом и порежетесь.

Но почему он должен порезаться? И какая кружка? Снова всё закружилось и замелькало. Он силился понять, что говорит ему Липа, но всё начинало путаться и ускользать. Нет, конечно же, он в Тессели. Он ясно помнит, как вчера приезжали пионеры и кричали ему из машины: «Дедушка Горький! Дедушка Горький!» Ох, эти ребята! Он встречал их на крыльце, а они, выскакивая из машины, бежали к нему. На бегу здоровались, выкрикивали что-то непонятное и, наконец, окружили плотным кольцом. Все хотели его потрогать и сказать что-нибудь, и он только успевал поворачиваться, чтобы пожать тянущуюся к нему ладошку или ответить тому, кто дёргал его за пиджак.

– Ну что же, Алексей Максимович, – раздался из-за спины голос Липы, – приглашайте ребят чай пить.

– А и в самом деле! – обрадовался он. – Пойдёмте, ребята, пить чай.

Они так и ввалились в столовую шумной ватагой: он, худой и высокий, в окружении детворы в красных галстуках. В столовой ребят разместили за длинным столом с конфетной вазой посередине. И они, ни на секунду не умолкая, точно рой пчёл или стая маленьких птичек, долго рассаживались, толкаясь и перебегая с места на место в выборе соседства. Принесли самовар и чашки.

– А вы что же не садитесь, Алексей Максимович? – спросила Липа.

– Ребята, – сказал он, – вы пока угощайтесь конфетами. А я должен выйти на улицу, чтобы покурить. Привычка дурная, но избавиться от неё непросто. Так что вы уж меня извините. А пока угощайтесь.

И добавил Липе на ухо:

– Все сласти, какие в доме найдутся, несите к столу! Я выйду, пусть они не стесняются, покушают конфет.

Липа ушла за сладостями, а он – на террасу курить. И оттуда слушал, как они переговариваются за столом, чему-то смеются и шуршат фантиками.

– Ну что же вы, ребята, так мало конфет покушали? – спросил он, вернувшись.

– Мы наелись, дедушка Горький! – раздался чей-то голосок.

И все тотчас подхватили и стали вторить:

– Наелись... Не можем больше... Спасибо...

– Ну, наелись так наелись! – и он тоже уселся за стол и с удовольствием выпил чашку чаю, пододвинув Липой.

Потом они перешли на террасу, и он спросил, знают ли ребята стихи. И тут снова все стали галдеть и даже подпрыгивать, вытягивать вверх руки, напрашиваясь на чтение вслух. Он выбрал смешную девочку – самую маленькую, пухлую, с широко расставленными чёрными глазками на круглом лице, да ещё и стриженную в скобку. Чем-то неуловимым напоминала она Дарью – наверное, такая же егоза и кикимора.

– Ну, как тебя зовут? – спросил он. – Что ты нам прочитаешь?

Оказалось, что девочку зовут Наташа, а читать она собралась «Песню о Буревестнике». Причём голос у неё изменился, глаза сощурились, кулачки сжались. «...И гагары тоже стонут...» – презрительно выдавила из себя Наташа и мотнула головой в сторону дома. Он повернулся, следуя кивку, встретил перепуганный взгляд Липы, стоявшей в стеклянных дверях террасы, и чуть не расхохотался – не только на него эта Наташка произвела такое устрашающее впечатление.

«Им, гагарам, недоступно наслаждение битвой жизни...» – продолжала она читать с такой язвительностью, что, казалось, вот-вот скажет: «гром ударов их, видите ли, пугает». Но она прочитала всё верно, ни разу не сбившись и не перепутав текст. Последние же слова произнесла так, словно заклинала небеса: «Пусть сильнее грянет буря!» При этом действительно подняла лицо и даже кулачки к небу, так что если бы вдруг грянул гром и началась буря, никто бы не удивился.

От этого чтения ему стало немного не по себе: не девчонка, а мойра в пионерской форме. В то же время он с трудом сдерживал смех – пожалуй, такого чтения за всю жизнь не слышал.

– Славно, Наташа! Спасибо тебе! А кто знает стихи Пушкина? – надо было отвлечься и от Наташки этой, и от гагар с пингвином.

И снова запрыгали, вытягивая худые ручонки, маленькие люди, которых он всегда жалел и любил. А потом, после стихов, раскрепостившись уже окончательно, стали петь песни и даже в пляс пустились. И снова мелькала перед ним маленькая Наташка. «Ох, кикимора! Вот артистка-то вырастет!» – улыбался он, глядя на её задорный пляс. Потом опять попили чаю, и ребята уехали. А он долго ещё стоял на крыльце, смахивал слёзы и думал, что этой Наташке и всем этим ребятам повезло больше, чем ему и многим его сверстникам. И как это славно, как правильно. Подошедшая Липа ласково сказала:

– Ну что вы, Алексей Максимович! Не надо плакать.

Он открыл глаза. И впрямь Липа стояла рядом и легонько отирала его мокрые щёки.

– Что с вами, Алексей Максимович? Может быть, чаю? Или молока? И вот что, раз уж проснулись, давайте температуру измерим. И кислород... Алексей Дмитриевич сейчас был – вышел только что...

С кислородом, конечно, дышится свободнее. Никаких сомов, никаких якорей, никаких пут. Да, путы! Как это он чуть не забыл? Ведь в Тесселивском парке надо продолжать расчистку, и паразита этого – держидерево – без остатка убрать. Он же по-настоящему душил деревья, растёт возле хороших, здоровых стволов и высасывает соки. Оттого такая слабость, оттого и трудно пошевелить рукой, что кто-то высасывает соки, как держидерево. Надо убрать держидерево, и тогда всё восстановится, силы вернуться. Главное сейчас – не дать задушить себя, как... как Серж Виктор.

– Липа! – хрипло позвал он. – Верно ли, что сын Кибальчича удавился?

– Ну что вы, Алексей Максимович! Не говорите сейчас об этом.

Ах, Липа, чертовка! Милое, родное лицо. И Катя с Тимошей здесь. И Соловей пожаловал, пташечка... И «баронесса» явилась. А кто же это рядом с Тимошей? Нет, не может быть! Да ведь это бабушка – Акулина Ивановна, а рядом с ней – отец, Максим Савватеевич. Как же это возможно? И куда они зовут его – что это за коридор и что за яркий свет на другом конце?..

* * *

Уже неделю Кошенков почти не спал. Вся жизнь его теперь вращалась вокруг телефонных аппаратов. Иногда удавалось задремать, но тут же раздавался звонок, и он бросался к телефонам, словно мать на плач новорожденного младенца.

Часа в четыре, когда небо за окном посветлело, он вдруг вспомнил, как Максим – года за два до своей смерти – рассказывал ему о какой-то французской примете. Ну да, конечно: если на Медарда дождь, идти ему сорок дней. Кто такой этот Медард? Максим, кажется, говорил, что это французский святой. А впрочем, бог с ним! До французских ли святых сейчас. Тем более день вроде бы выдался неплохой, а стало быть, нечего и дождя бояться. Лучше так загадать: если день выдаться хороший, то всё обойдётся. А если дождь, то к слезам. Впрочем, нет! Что за глупости! Просто он устал и вот уже неделю не спит нормально, и от бессонницы у него мешается ум. Всё будет хорошо, надо в это верить, а не в приметы, которые сам к тому же и придумал.

С этими мыслями он задремал на диване, но, как показалось ему, в следующее мгновение в дверь постучали. Кошенков спал чутко и проснулся.

– Кто там? – спросил он.

Вошёл сторож Фёдор Иванович и деловито сел на стул у двери. Так они сидели и смотрели друг на друга: Кошенков, стараясь подавлять зевки, на диване, а Фёдор Иванович на стуле. Часы пробили половину шестого.

Наконец, Фёдор Иванович прокашлялся и сказал:

– Ну что там, в Горках?

– Кабы знать, Фёдор Иванович, – продираясь сквозь неотступный сон, медленно проговорил Кошенков и от души зевнул. – Незавидное наше положение – и сами в неведении, и людям сказать нечего. Со всей страны звонят – спрашивают. А я не знаю, что ответить. Один студент даже сердце своё предложил. Я даже не удержался и спрашиваю: «На что оно, ваше сердце?» А он отвечает: «Хирургия, мол». Ну, если только хирургия.

– Ишь ты! – усмехнулся Фёдор Иванович. – А Горки-то звонили?

– Ночью звонили. Говорят... не очень. Я с доктором Левиным разговаривал. Ночью, говорит, просыпался часто... Да вот, у меня записано – я ведь дневник веду, всё записываю.

Кошенков подошёл к письменному столу, опустился в глубокое кожаное кресло и раскрыл синюю клеёнчатую тетрадь:

– Ночью часто просыпался, – прочитал он, – плохо, тяжело дышал.

Сознание временами спутанное, бред. Общая слабость. Температура – 37,1. В лёгких сухие и влажные хрипы, цианоз.

– Это что ж такое?

– Цианоз-то?

– Ну да! Вроде бы как слышал уже, а не помню!

– Синюха это, Фёдор Иванович. Ну, когда кожа синее.

– Отчего ж такое бывает?

– Говорят, когда кислорода не хватает.

– Как это – кислорода не хватает? – сторож даже по ляжкам себя хлопнул. – Возим, возим кислород в Горки, а его всё не хватает? Что ж они с ним делают-то? Сами, что ли, вынюхивают?

– Не знаю, Фёдор Иванович! Вряд ли сами. Но это другой кислород.
– Как это так – другой? Так давай какой надо возить!
– Оставь, Фёдор Иванович! – Кошенков поморщился. – Ну почём нам с тобой знать про кислород? На то и врачи, чтобы какой надо, такой и назначать.

Фёдор Иванович помолчал, точно обдумывая услышанное. Потом изрёк важно:

– Вот оттого-то нам с тобой и тяжелее всех, Маркович. Нам правду знать не положено! Вот раньше бывало – заболит Алексей Максимович, а мы уж всё знаем – вот он тут весь, перед нами. А из Горок-то правды не дождёшься.

– Не зря, видно, Олимпиада Дмитриевна не хотела в Горки ехать, – вздохнул Кошенков.

– Опять же, – как будто не слыша, продолжал рассуждать сторож, – заболит раньше, так шуму не было! Радио да газеты помалкивали. И богов было меньше, – прибавил он, таинственно понизив голос.

– Кого? – удивился Кошенков. – Каких ещё богов?

– А таких, – снова хлопнул себя по ляжкам Фёдор Иванович, – врачей. Ишь, возим их на трёх машинах туда-сюда. Баре какие! Им всё мало, а дела-то нет.

– Не наговаривай на врачей, Фёдор Иванович! Всё, что могут, они делают.

– Лечат они, как же! Боги у постели его личные счёты сводят. Уж ты мне поверь. Вот и шофера говорят: Левина везёшь – всё вроде бы неплохо, вылечат Алексея Максимовича. Везёшь Белостоцкого – всё плохо! А уж ежели Плетнёва или Кончаловского везёшь – быть беде, безнадежно.

– Это что, примета, что ли, такая у них? – не понял Кошенков.

– Да какая там примета! Это врачи – каждый своё. Выходит, у них там вроде как борьба: кто лучше знает. Поднимется Алексей Максимович, Левин скажет: вот, мол, я же говорил. А не поднимется, так Плетнёв с Кончаловским славу себе приберут.

В это время за дверью послышались быстрые шаги. Затем, предупредив своё появление кратким стуком в дверь, вошла Даша. Кошенков, порядком уставший от разглагольствований Фёдора Ивановича, подумал, что, наверное, никогда ещё так не радовался появлению горничной.

– Доброе утро, Даша! – улынулся он.

– Доброе утро, Иван Маркович. Ну что Горки?

– Не очень, Даша. Ночью сегодня звонили, говорят, сон плохой, дышит тяжело, температура небольшая, даже бредил.

– А ещё этот... Цианоз! – вставил Фёдор Иванович.

– Ах ты, батюшки! – вздохнула Даша и покачала головой. – А что говорят: поправится ли?

– Ничего не говорят! – воскликнул Кошенков.

– Левин говорит – поправится, – опять встрял Фёдор Иванович, – Белостоцкий точно не знает. А Кончаловский с Плетнёвым говорят, что нет надежды.

Даша, тревожно смотревшая на сторожа, опять покачала головой. Потом повернулась к Кошенкову:

– Иван Маркович, может, я вам кофе и завтрак сюда принесу?

– Спасибо, Даша. Не откажусь. Да и лучше пока не отходить от телефона – мало ли что.

– А вы, Фёдор Иванович, кофе не хотите? – спросила Даша у сторожа. Но тот как будто обиделся и напыщенно ответил:

– Не потребляю. Благодарствуй.

Затем поднялся со стула и, заявив, что заболтался, ушёл. Следом вышла и Даша, а Кошенков, оставшись в одиночестве, вздохнул облегчённо.

Но едва затихли шаги Даши, как затрещала вертушка.

– Слушаю, – ответил Кошенков.

– Это Бухарин, Иван Маркович, – заявила трубка. – Что же делать?.. Подскажи ты мне лучше, куда телеграмму направить?

Кошенков открыл было рот, но вдруг понял, что хотел бы не просто переспросить, что нужно Николаю Ивановичу, но и как следует обругать его. Поскольку, однако, осуществить последнее не представлялось возможным, он, сдерживая себя, медленно поднёс трубку к рычагам и плавно водрузил её на место.

Пока он завтракал, по вертушке снова позвонили, и мягкий, вкрадчивый мужской голос сказал:

– Ну и кто же отвечает у вас за жизнь Горького?

Звонков за это время было множество, и Кошенкову казалось, что удивить его уже нечем. Но тут он растерялся. И пока думал с ответом, трубка тем же елеиным голосом продолжила:

– А ведь Алексей Максимович – сердечник. И кто же занимается им из специалистов?

– С кем я говорю? – нашёлся наконец Кошенков.

Но трубка таинственно замолчала.

– Вы меня слышите?

Трубка вздохнула и принялась икать, давая понять, что разговор окончен. Но кто же это мог быть? Ведь ясно же, что по вертушке не станет звонить первый попавшийся злопыхатель из телефона-автомата. Значит, звонят из высоких кабинетов. Но кто и зачем? Что за могущественный враг у Алексея Максимовича?

– Слушаю!

– Иван Маркович, да не бросай ты трубку! Это Бухарин опять. Кто-то сейчас позвонил и сообщил, что конец печален – умер Алексей Максимович. Так ли?

– Николай Иванович, слушайте только Никитскую или Горки.

– Так живой?

– Живой, Николай Иванович! Живой.

– Ну, спасибо! Утешил. А что из Горок? Что говорят?

– Говорят, что спал плохо...

Вошла Даша с подносом. И в комнате тут же уютно запахло кофе.

– Есть ли новости, Иван Маркович?

– Пока ничего нового, Даша.

– Вы же понимаете, что потерять Алексея Максимовича – это... это значит всё потерять! – Даша составила кофейный прибор и тарелки с яичницей и ветчиной прямо на письменный стол и налила ему кофе.

– Понимаю, Даша. Но что это меняет? Меня вот, знаешь ли, сразу кольнуло: другой какой-то Алексей Максимович.

– Как это? – Даша с подносом в руке отступила на шаг.

– А так, что приехал он в этот раз из Крыма и на себя не похож. Я вот как только увидел его на Курском вокзале, сразу подумал об этом – другой человек. Прежде, бывало, приезжал весёлый, бодрый. А тут

вроде как старик совсем: вялый такой, хромает, дышит тяжело. Взгляд безразличный, усталый... Никогда таким его не видел!

– А как же все говорят, что он в Москве от внучек заразился? И Надежда Алексеевна говорила: грипп, мол, заразный, а Алексей Максимович слабый, у него лёгкие...

– То-то и оно, Даша! Приехал он уже больной. Может, и не гриппом, но что-то с ним было не так. И если бы не Алексей Максимович это был, я бы так и сказал, на него глядя: не жилец. Пионеры его на вокзале встречали. Ты же знаешь, как он детей любит, а тут ни улыбки, ни шутки для них не нашлось. Только и прошептал: вот, мол, смена растёт.

Даша хотела что-то сказать, но телефон разразился обычной своей трескотнёй, и Даша вышла.

– Говорите!

– Иван Маркович, это Колосов! Сообщение газет о болезни Алексея Максимовича страшно встревожило жителей Измайлова. Они, взволнованные, только и ходят с газетой из квартиры в квартиру.

– Михаил Борисович, мне нечем утешить жителей Измайлова. Передайте, что пока изменений в состоянии Алексея Максимовича нет. Всё будет опубликовано в газетах. Пусть следят за бюллетенем...

– Слушаю! Говорите!

– Это Маршак. Скажите, Иван Маркович, только правду скажите! Ведь он и раньше болел... Я не верю, не может этого быть!.. Скажите мне правду, умоляю вас! Ведь вы и Липа – вы же лучше знаете. Скажите, выдержит он? Не скрывайте от меня!

– Не волнуйтесь так, дорогой Самуил Яковлевич!

– Как же не волноваться, Иван Маркович? Ведь это ужас! Ужас!

– Всё будет хорошо, Самуил Яковлевич. Всё будет хорошо.

– Я приеду в Москву, Иван Маркович. Я решил, что поеду. Понимаете, я хочу посмотреть, мне надо увидеть его. Но когда можно?

– Сейчас всё зависит от врачей, Самуил Яковлевич. От врачей и от организма Алексея Максимовича. А вы же знаете: организм у него крепкий. Он сильный! Он и не то выдерживал. Мы должны набраться терпения и ждать.

– Ну хорошо, я буду звонить...

Да, иногда приходится и врать. Тем более доктор Пигалёв рассказывал, что Маршак и сам не очень-то здоров. Чего доброго, разговоры о здоровье Алексея Максимовича убьют и Маршака. Если же быть до конца честным – честным с самим собой, то в выздоровление Горького он почти не верит. Почему? Сложно сказать. Можно было бы назвать это предчувствием, но... Но уместно ли вообще говорить о предчувствиях? Напряжение, бессонница, постоянный страх делают своё дело, превращая его в суеверного старика, выдумывающего приметы и доверяющего предчувствиям. А если отбросить всё это, что же, в самом деле, его так гнетёт? Ведь Алексей Максимович и впрямь болел раньше. Точнее было бы сказать, он всегда болел, возвращаясь из Крыма. После долгого путешествия по железной дороге он неизменно уставал. Причём уставал настолько, что каждый раз хворал. Но никогда не было такого сосущего страха, не было давящей тоски, не было тревоги, из-за которой нельзя найти себе места. И, как назло, все эти странные мелочи! На них поневоле обращаешь внимание. Ведь он не преувеличивал, рассказывая Даше о прибытии поезда на Курский вокзал. На платформу вышел совсем другой человек – уставший не от дальней дороги, но от жизни. Горький был неузнаваем. И заметил это не один Кошенков.

Неспроста ведь Олимпиада Дмитриевна отговаривала от поездки на кладбище к Максиму. Весь вид Горького свидетельствовал о том, что он болен и что малейшей нагрузки, а уж тем более перенапряжения сил, достаточно будет для того, чтобы произошёл срыв.

А когда уезжал он с Никитской? О! Этого не забыть! В дверях вдруг обернулся и усталым взглядом окинул прихожую, диковинную лестницу, книги, «медузу» – весь этот нелюбимый им и нелепый, по его же слову, дворец. «Точно прощается навсегда!» – подумал тогда Кошенков, и сердце его сжалось от недоброго предчувствия. А тут ещё собака во дворе, отроду никого не провожавшая, вдруг подошла к Алексею Максимовичу и встала на него передними лапами. Горький потрепал её холку и сказал:

– Ну что же, прощай, пёс!

И снова кольнуло Кошенкова.

Дальше всё развивалось как по накатанной. Уже через пару дней он не встаёт с постели. А врачи передают из Горок: «плохо», «безнадёжно», «немного лучше», «плохо», «хорошо», «немного хуже»... А настроение у всех такое, как будто все знают, чем закончится эта обычная, казалось бы, для Алексея Максимовича болезнь.

Его размышления были прерваны настойчивым стуком в дверь. Вошёл светловолосый молодой человек в сером летнем пальто нараспашку и, не здороваясь, оглядел кабинет с видом квартирмейстера.

– Тэк! – сказал он, не глядя на Кошенкова.

– Вам кого? – удивился Кошенков.

Но молодой человек, не обратив на него внимания, прошёлся по кабинету, остановился, потрогал стену, ощупал шкаф с книгами, после чего устался в потолок. Кошенков тоже поднял глаза, зачарованный загадочным гостем. Но, не найдя на потолке ничего, кроме привычной лепнины, он словно пришёл в себя и уже гораздо громче и требовательнее осведомился:

– Да кто вы, в конце концов, такой? И что вам здесь нужно?

Молодой человек изумлённо устался на Кошенкова, как будто заметил его только что. И вдруг сказал:

– Вы слышали об институте изобразительной статистики?

– Нет, не слышал. И не понимаю, при чём тут...

Но молодой человек оборвал его:

– Меня зовут Брезгунд. Это моя фамилия. Мы собираемся сравнить бывшие жилища купцов с жилищами в новостройках для рабочих. Товарищ Березин – директор нашего института – наметил ваш дом.

Кошенкову стоило усилий сдерживаться.

– Передайте, пожалуйста, товарищу Березину, – процедил он, – что об этом не может быть и речи.

– Почему? – невозмутимо спросил Брезгунд. – Разве мы не можем измерить ваши комнаты и заснять их?

– Потому что я, комендант этого дома, не допущу ни вас лично, ни товарища Березина ни мерить наши комнаты, ни снимать их.

– Но почему?

– Я не намерен ничего больше вам объяснять и прошу лишь об одном: покинуть этот дом. Пока я не вызвал милицию.

Брезгунд пожал плечами с таким видом, словно никогда ещё не слышал ничего более странного. Однако требование Кошенкова исполнил. Так же неторопливо, как вошёл и осматривался, он покинул кабинет. Кошенков на всякий случай проводил его до крыльца и сдал Фёдору

Ивановичу. Страшно недовольный тем, что какие-то личности разгуливают по дому, он вернулся к себе. И вовремя. Потому что уже из коридора услышал, как затрещала вертушка – он давно уже научился различать телефоны по звуку.

– Слушаю!

– Телефон Горького? – поинтересовался всё тот же вкрадчивый голос.

– Да, – резко ответил Кошенков, тотчас узнав давешний голос и борясь с желанием наговорить резкостей.

– Ну что? – приторно спросили на другом конце провода. – Достигаете желанного? Подлецы...

– Кто это говорит?

В ответ – молчание. Ясно, что трубка прилипла к чьему-то потному уху и что хозяин этого уха ждёт, когда Кошенков выругается и скажет лишнее. Но он этого не сделает. Он спокойно, как не раз уже делал прежде, положит трубку на рычаги и постарается успокоиться. Но кто же этот высокопоставленный враг Алексея Максимовича? И что всё-таки ему нужно?

Он прошёлся по кабинету, думая о том, что от этого Брезгунда с незримым товарищем Березиным и от этого кремлёвского анонима стало ещё тяжелее, так что у самого у него даже сердце сдавило. Поскорее бы всё закончилось! Только бы восстал с одра Алексей Максимович! Вот ведь: пока здоров человек, никто и не думает, как это славно и как это много. А стоит заболеть, и ничего уже не нужно – лишь бы не вспоминать ежечасно о пульсе, температуре, о хрипах...

Но что там ещё за шум на улице? Он подошёл к окну. Дождь. Обычный летний дождь, очищающий и несущий прохладу, пролился на Москву...

* * *

К обеду в Горках никто не сомневался: Алексей Максимович умирает. Он сидел в кресле, закрыв глаза и тяжело дыша. Руки, распухшие и ставшие почти чёрными, лежали поверх пледа. Вокруг него собрались домочадцы: Екатерина Павловна, Липа, Мария Игнатьевна, Тимоша, Крючков, Соловей... Врачи, объявив, что сделать ничего нельзя, сошли вниз на совещание. А в комнате больного, несмотря на множество собравшихся, царил тишина. Вдруг Екатерина Павловна, сидевшая на стуле справа от мужа, поднялась и, обойдя вокруг его кресла, уселась на низенькую скамеечку возле ног больного. Она взяла его за руку – рука была ледяной – и спросила громко:

– Что ты хочешь? Не нужно ли чего-нибудь?

И хоть это было естественно и совершенно уместно, у всех присутствующих в комнате на лицах появилось недовольное выражение. Всем отчего-то показалось, что, нарушив молчание, Екатерина Павловна совершила что-то кощунственное. Горький открыл глаза и, обведя всех потухшим, отсутствующим взглядом, еле слышно сказал:

– Я сейчас был так далеко... Оттуда не все возвращаются. Так трудно было вернуться...

Он снова закрыл глаза, и голова его поникла, так что и в самом деле можно было подумать, что это конец.

– Алексей Максимович, – позвала тихо Липа, – помните, как в Сорренто? Двадцать кубиков камфоры стали спасением.

Голова его дёрнулась, как будто он хотел сказать: «Ничего не надо. Оставьте меня в покое».

– Так, может... – начала Екатерина Павловна и запнулась, не решаясь выговорить страшные слова.

– Я пойду спрошу у Левина, – ответила Липа. – Если, как они говорят... То почему бы... Без их разрешения...

Она ушла, и пока её не было, в комнате сохранялась напряжённая тишина. Все молчали и опасались смотреть друг на друга. Вскоре вернулась Липа, кивнула, словно обращаясь сразу ко всем, и впрыснула ему камфору. Всем показалось, что прошла вечность, но в действительности счёт шёл на минуты. Он открыл глаза и, взглянув на Липу и Екатерину Павловну совсем иначе – как смотрел прежде, улыбнулся. Потом окинул всех каким-то ожившим, просветлевшим взглядом и сказал обычным своим голосом:

– Ну, что вы тут все собрались? Хоронить меня, что ли, надумали?

Тимоша беззвучно заплакала, а Липа, сглотнув, сказала как можно беззаботнее:

– К вам, между прочим, товарищи Сталин, Молотов и Ворошилов приехали. В столовой, внизу ожидают.

– Так зови! Чего же ты ждёшь? – и он улыбнулся, как будто и не было этих часов ожидания конца, как будто врачи не отказывались лечить его и не заверяли домашних, что всякое лечение бесполезно. На глазах у всех он ожил...

Владимир ЛЕБЕДЕВ

Родился в Сергаче Горьковской области. Окончил Горьковский педагогический институт иностранных языков (ныне Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова). Доцент, кандидат филологических наук. Работал 40 лет в НГЛУ, кроме того, в двух других университетах города.

Автор лирических стихов, рассказов, четверостиший, афоризмов, басен в прозе. Лауреат премии «Золотой теленок» клуба «12 стульев» «Литературной газеты». Ряд его книг изданы на русском и немецком языках. Переводит с русского на немецкий стихи нижегородских поэтов.

Член Союза писателей XXI века, почетный член Московского клуба афористики. Живет в Нижнем Новгороде.

С ПРИРОДОЙ НА «ТЫ»

Переломные, они же лихие, девяностые. Жизнь закручена и разверзнута. Новое еще не нарисовали, а старое размазали, развезли, растерли и затоптали. Долгожданные ожидания счастливой жизни сменились наворотами и вывертами, зацепками и защелками, разладами и разгулами, разводами и расхлестами. Наступала весна, и переменчивый, как капризный жених, молодой март согревал атмосферу и ее обитателей своим грудным дыханием, принося желанное облегчение. Однако день еще начинался легким морозцем – он сковывал привычной, пусть слабеющей, хваткой взбалмошные лужицы и даже заставлял прохожих поеживаться.

Я уже не раз видел этого обросшего неухоженной щетиной человека, который двигался с каким-то странным скарбом и двумя собачками по дворам и закоулкам. Сегодня он часто останавливался, поправляя и перекладывая поудобней свою ношу. С одной стороны у него болтался увесистый узел, а с другой – туго набитая сумка. Сбоку он прижимал металлический таз, через плечо висела матерчатая сумка, на спине – пузатый мешочек с каким-то барахлом. Одет он был... нет, сказать, как называется то, во что он был одет задача не из простых. Его голову прикрывало некое подобие спортивной шапочки, что явно отслужила уже не один лыжный сезон, а верхней одеждой служила то ли изношенная телогрейка, то ли выдавшая виды утепленная куртка. Ближе к телу виднелся свитер непонятного цвета, который прикрывал не то майку, не то честно отслужившую свой срок рубаху. А вот то, что шло книзу, плохо вписывалось даже в этот пестрый ансамбль – это было нечто, по-

хожее на женский сарафан. Из-под него выступали брезентовые брюки, заправленные в высокие сапоги, один из которых зачем-то был спрятан под материал, применяемый при химзащите. Наверное, он защищал потерявший свою былую герметичность сапог от весенней влаги.

Идти страннику было неудобно. Ноги то и дело проваливались сквозь подтаявшую корку и рыхлый снег. При этом он терял равновесие, негромко чертыхался, а затем снимал и поправлял, опять снимал и вновь обвешивал себя своей «роскошной» амуницией. Но вот человек прошел наиболее трудный участок дорожки и присел на возвышение из плотного снега, возле которого сквозь лужицу уже проглядывала талая земля. Тут-то я и поспешил утолить овладевшее мной непраздное любопытство.

– Извините, давно ли вот так приходится вам? – напрямую спросил я, по привычке обращаясь к незнакомым на «вы».

– Да давненько. С восемьдесят третьего года, – откликнулся мужчина, не обращая внимания на беспокойство маленькой собачки, которую он держал на поводке. Вторая, побольше, спокойно оглядывала нового человека. – Обманули меня: дом на снос шел, с квартиры выписали и оставили с носом.

– А вы один жили?

– Ну да, жена отдала богу душу, остался один.

– Где же вам теперь приходится ночевать?

– Да какая разница. Ночую, и ладно, – добродушно ответил он.

– А зимой? – недоумевал я. – Прямо на снегу спите?

– И что? Снег-то греет. Он же мороз не пропускает, – просветил меня незнакомец.

Ничего себе, подумал я. Как на войне.

– А вы в разных местах сны смотрите или как?

– Всяко бывает. У тамошних гаражей хорошие места есть, – он махнул свободной рукой в сторону участка на дальнем пригорке. – Вон на том спуске. И вода там чистая.

– В самом деле? – не переставал я удивляться и тут же спросил о хлебе насущном: – А что вы едите?

– Э, да чего там! Всегда что-то найдется. Картошку прямо в оболочке погрызу, и хорошо – в ней, сырой-то, пользы больше. Гнилую не ем – признаю только с ростками, если маленькие. Или сухариков наберу. Да и помогают мне когда. Мир не без добрых людей.

Это верно, думаю. Добрые люди еще не перевелись. Только как же без горячей пищи? Или воды кипяченой. И сразу в лоб:

– Ну, а помыться-то не получается? Так и ходите?

– А-а, снежком обтерся, и опять любовь.

– Хм, – не перестаю удивляться. – Ну, а все-таки, как вы зимуете? Морозы ведь!

– А меня борода греет. Грех жаловаться! А вот ты без бороды! – упрекнул он меня.

– А ночью? Ночи-то студёные.

– Оно конечно, – согласился мужчина. – Ночью собак с двух сторон кладу – от них и тепло. Собачья шерсть всю стынь прогоняет. Вот так и греюсь. Это еще от эскимосов идет – с собаками спать. Я на Севере это понял, когда там жил.

– Там вы на Севере были?

– И на Севере, и на Востоке.

– А что вы там делали? – продолжал я удивляться.

– Сослали меня туда.
– За что?
– Оказал сопротивление власти.
– Ах, вон как, – соображаю. Значит, с милицией не поладил. Но допытываться не буду. – А вы за это время не болели от простуды? – уточняю. – Температуры-то в середине зимы ух какие бывают!
– Да нет. Бог миловал.
– И сколько градусов терпеть приходилось?
– А шут знает! Я же не мерю.
Надо же, думаю, какой счастливый. Фу, что это я!
– А собачки откуда? – задаю следом не самый умный вопрос.
– О-о, это не шухры-мухры! Проснулся раз – смотрю: кутенок возле меня. Заблудился, наверно. Так и стал моим. Потом по ходу дела и с другой собачкой подружился. Вот теперь втроем.
– А давно вы из Сибири?
– Да годков пять будет.
– А до того в каких краях жили?
– Родился я в тепле, в Молдавии. Мать сразу умерла, привезли меня потом к деду – он тоже вскоре помер. А что вы всё спрашиваете? Пойду я.

Я немного растерялся, но не смел перечить: зачем задерживать человека, если ему некогда. У него же свой режим. Да и опасается, наверно. Может, я злопыхатель какой. Или доносчик. Мало ли что у меня на уме.

И, как бы спохватившись, бородатый странник поправил свою пеструю ношу и пошагал дальше, левой рукой держа на поводке собачку.

Ну ладно, увидимся в другой раз. Может, тогда помогу чем. Советом каким. Или лекарством. Куском хлеба, наконец. Заодно и покумекаем.

Я всерьез задумался. Вот ведь люди: ни кола ни двора, а не унывают, борются за жизнь и – живут! Как ему удастся? А может, его природа защищает? Может, он для нее свой человек? Он ей доверяет, а она его бережет? Ну да, он же ладит с ней, не перечит, не обижает. Он же с ней на «ты»! И она заботится о нем, отгоняет от него всякие болезни и прочие напасти. Вот так трудные времена вместе и кукуют. Мы-то все дальше и дальше от нее, вредим природе, мстим, а он с ней заодно. И от нее ни на шаг не отходит!

Мой новый знакомый постепенно удалялся. На повороте он слегка развернулся в мою сторону, и я приветливо помахал ему рукой. Мартовское солнце с улыбкой заглянуло мне в глаза.

И вдруг – как удар молнии: а может, все-таки лучше, если бы он имел для ночлега свой угол, носил нормальную одежду и жил, а не мыкался?

ОШИБОЧКА ВЫШЛА

Василий и Татьяна, пенсионеры с завидным стажем трудового отдыха, поужинали после сезонных хлопот в своем огороде и собрались перейти в горницу – на сон грядущий отпыхнуть перед телевизором. Вот-вот должен был начаться сериал, который хозяйка обожала до беспамятства, а Василий, чтобы не перечить, обычно молча соглашался с ней. Все равно он долго не выдерживал: «досматривал» кино с закрытыми глазами, да и одряхлевший слух его не воспринимал, как он выражался, всю эту канитель, не доводя до него оттенки смысла. Оторвавшись от кухонного стола, он подошел к диванчику и взял пульт. И сразу же, несмотря на подпорченный возрастом слух, услышал громкие звуки. Ни фиги себе, подумал хозяин, начало сериальчика. Или ко мне слух от физтруда на свежем воздухе вернулся? – обрадовался он своей догадке.

– Васьк! – испуганно произнесла Татьяна, аккуратно вытирая чистой тряпкой стол после овощной трапезы и чая со свежим вареньем из крыжовника. – Стучат ведь!

– Да ты что? А я думал, в телевизоре!

– В дверь стучат! Иди спроси, кто там на ночь глядя.

Василий, ворча, выкарабкался в сенцы и подошел к запертой на засов двери. Снаружи в нее отчаянно барабанили, отчего она содрогалась и гремела, как прицеп с железяками на дороге, недавно отремонтированной здешней бригадой «Ух!».

– Кто там? – громко крикнул хозяин, готовый расчихвостить незваных гостей, не дорожащих его заслуженным вечерним отдыхом, не говоря о порче имущества.

– Открой, повидаться охота! – послышался резкий грубый голос, к которому тут же присоединился второй. – Давай-давай, без базара!

– Не открою, я вас не звал.

– Кончай шшу-шу-тить, а то х-х-ху-же будет! – раздался заикающийся голос третьего.

– Поздно, мы уже спать собрались.

– Не откроешь – щас разнесем твою дверь! – немедля отреагировал первый, по всему, главный.

Василий представил себе разбитой и исковерканной парадную часть своего жилища, какой была для него входная дверь, которую он в это лето любовно украсил декором в виде узорных дощечек, и открыл засов.

– То-то, – победно произнес, врываясь в сенцы и отталкивая в сторону хозяина, долговязый парень с нахальным прыщом на носу. Все трое ринулись в избу. Не увидев никого, кроме пожилой женщины, стали

шнырять по кухне и горнице, приглядываясь к стоящим там вещам и заглядывая в ящички шкафа. Татьяна, ни жива ни мертва, привалилась к перегородке, на которой висел выдавший неумытые лица рукомойник, что им подарили еще на свадьбу.

– Нет тут для вас ничего, – решительно сказал Василий и, подняв вверх свой трудовой кулак, шагнул навстречу верзиле. Тот встретил его коротким ударом. Не успел Василий опомниться, как получил новый удар – на этот раз от второго налетчика – в бок и тут же еще один, в скулу. Татьяна закричала.

Обследовав горницу, а затем пристройку, парни вернулись в кухню. Хозяйка продолжала причитать.

– Эй, ты! Хорошвопить! – оборвал ее долговязый. – Дай лучше пожрать! Он открыл холодильник – тот был почти пуст. Только на нижней полке стояла большая банка с квашеной капустой. Прыщатый вытащил ее и, запустив руку в банку, извлек оттуда, сколько ухватил, ценного овоща и затиснул в свою узкую ротовую щель.

– А ты абажуром своим совсем не варишь? – не переставая жевать, рывкнул он в сторону хозяйки. – Мы чё, из стеклотары витамины трескать должны? Чашку большую давай!

– Ш-ш-шевелись, к-к-ко-ому сказали! – подхватил заика.

Хозяйка быстро зашаркала потрепанными тапками по выщербленному полу и стала суетливо искать подходящую посудину. Наконец, нашла, потом нащупала непослушными пальцами три вилки и протянула незваным гостям. Долговязый выхватил миску из ее рук и вытряхнул в нее содержимое банки. Но забрасывать элитный продукт в рот все трое предпочли вручную. Пальцем не притронувшись к вилкам, они, усиленно двигая челюстями, как паровоз поршнями, принялись перемалывать заготовленный Татьяной по ее личному рецепту продукт.

Татьяна с ужасом смотрела, как уничтожают их с мужем любимое блюдо. Между тем Василий кряхтел на диванчике, приходя в себя.

– А эликсир бодрости есть? – неожиданно опомнился верзила с прыщом, прихватывая последний листочек капустного блюда.

– Чё-чё?

– Горькая, говорю, есть? Может, где в загашнике?

– Не-э, – поспешно ответила хозяйка. – Самогон не варим, а водка не по карману. Пенсия-то – с гулькин нос, – и виновато опустила глаза.

Верзила еще раз прошелся по кухне, по горнице, поглядел на самодельные полочки, тумбочки и табуретки, покосился на занавески периода хрущевской «оттепели», бросил унылый взгляд на небольшой старенький телевизор, панцирную кровать с шишечками, старый подзор... Остановился перед семейными черно-белыми фотками на стене, что-то промычал, пошмыгал, скривился и махнул рукой:

– Извини, старый, ошибочка вышла. Не по адресу мы сюда... – И, подводя итог, перевернул опорожненную миску вверх дном. Затем сунул руку в свой нагрудный карман, вынул оттуда помятую денежную бумажку и возвестил: – Вот вам 100 рублей и ни в чем себе не отказывайте!

Все трое, не церемонясь, но без излишнего шума удалились.

ЛЕСНАЯ ФАНТАЗИЯ

Трудяга-лес сегодня какой-то необыкновенный. Снопья яркого, как прожектора, света пронизывают его сверху донизу. Та самая холодная луна, которая всегда была целомудренной и невозмутимой, неожиданно расщедрилась и, словно излучая нерастроченные запасы жизнелюбия, озарила ласковым блеском его неповторимые божественные красоты. Свет неудержимым потоком лился на поляны и просеки, стремительно пронзал крону деревьев и отвоевывал у темноты всё, что она пыталась укрыть своей завесой: пышный кудрявый можжевельник, широколистный папоротник, раздобрившие пни, юную пополь гододалых посадок.

Луна не просто исправно выполняла обязанности ночного светила – она на совесть трудилась, усердно высвечивая всё новые и новые картины лесного пейзажа, вдохновенно подбирая неповторимые, только ей доступные сочетания таких, казалось бы, обыденных серо-белых красок. Как заправский художник-пейзажист, она размашисто рисовала целые перелески и рощи, опушки и лесные тропинки, виртуозно выписывая каждый сучок, каждую веточку, каждый листочек. Она так старалась, что можно было увидеть самые замысловатые узоры на отдельных чуть пожелтевших листьях и мельчайшие иголки на вечнозеленой хвое. Разливаясь всё дальше и дальше, она наступала на темноту и романтично расцветчивала степенные сосны, молодые елочки с опущенными ангельскими крылышками, милые и нежные березки, солидные рассудительные дубы.

Маслята-подростки, которые днем мечтают остаться незамеченными, с завидной смелостью подставили свои скромные шляпки щедрым ночным лучам и дружно вышли на полянку. Модный интеллигент-мухомор тоже вел себя как-то не так. Слегка опустив крышу своего симпатичного пестрого зонтика, с которым никогда не расставался, он стоял у края лесной дорожки и выглядел не каким-то щеголеватым франтом, а интересным молодцом и всерьез воспринимал всё, что происходило вокруг. Он заметил проходивших мимо молодых людей, но не выразил своего обычного дневного бахвальства. И когда путники в восхищении приблизились к нему, даже не подал вида, что их внимание льстило ему. Люди пошли дальше, а он, задумавшись, еще долго стоял у дороги, глядя им вслед, и, кажется, впервые завидовал их человеческой радости.

– Куда же ты забрался, друг? Или тебе не терпится поздороваться с нами? – воскликнул первый путник, увидев крепкий подберезовик, на котором сидел грибок-мальш, выросший прямо из шляпки. – Надо же, какой непоседа! Ну, расти, расти большим!

Отключивший свои дневные шумы лес стал разговаривать тихо, вполголоса. Время от времени, удивляясь несговорчивости забияки-ветра, солидные и степенные деревья, повидавшие немало на своем веку,

недовольно покачивали головами, зная, что он, наконец, утомится. Так оно и случилось. Непоседливый спорщик, видя, что его наскоки остаются без ответа, охладил свой пыл и вскоре совсем затих. Он даже оставил свою любимую забаву – гонять пушистые облака по просторному сводчатому куполу там, в вышине, куда тянутся своими вершинами могучие сосны.

Тем временем путники вышли из перелеска, и новая удивительная картина открылась им. Выстроившись по росту, стройные деревья уходящего вдаль массива выхватили часть неба и силуэтами расположились у его основания. Кудри листвы плавно обрамляли каждое дерево этого великолепного ряда, который заканчивался спокойным, нетронутым горизонтом.

Путники прошли еще немного, и вот впереди, метрах в пятидесяти от них, перед ними вдруг предстала белая широкая полоса, похожая на снег. Но откуда было снегу взяться в это время? Даже их неукротимая фантазия не могла дать ответ на этот вопрос. Но когда до загадочной полосы оставалось всего несколько шагов, всё решилось неожиданно и просто: это был лесной пруд, водную гладь которого всё та же неутомимая художница-луна окрасила в серебристо-белый цвет. Сполна еще раз оценив пристрастие ночного светила к творчеству, путники двинулись дальше.

Неподалеку их ждала совсем юная березовая роща. Стройные симпатичные березки, собравшись в хоровод, весело зазывали с собой. Видимо, по душе им пришлось ночные непоседы. И когда лесные подружки снова стали исполнять свой танец «Березка» на бис, путники, не удержавшись, самозабвенно закружились с ними по роще, резвясь и играя, посылая щедрой луне в ответ свои лучистые улыбки. Повеселели и совсем было загрустившие скромные осинки, что стояли в стороне... И как никто счастлива была юная рябинка, которая, прямо из песни шагнув к молодому дубку, радостно трепетала, ожидая с ним встречи.

Бережно касаясь плечами своих лесных подруг, молодые люди спели им свою песню – самую нежную и самую задушевную. И ушли. А песня еще долго не уходила из приветливой и ласковой рощи. Чистая, юная, светлая, она осталась там, среди чарующих лесных красавиц.

Не одну сотню метров прошли после этого путники по лесу, а он не уставал восхищать их, доверительно показывая богатства своих гостиных. Как зачарованные шагали гости из одной комнаты в другую, где снова и снова их ждало что-то сокровенно-волшебное, таинственное и загадочное. Невозможно было насладиться всем его великолепием за один раз, и молодые люди решили на следующий день снова прийти сюда.

Но через день всё оказалось не так. Он был мрачен, этот красавец-лес. И лишь изредка его верхушки освещались слабым заоблачным отблеском той самой луны, которая накануне с такой откровенной щедростью осыпала лес бесчисленными россыпями сказочного серебристого света. Лес беспокойно шумел, занятый своими заботами. И теперь ему совсем не хотелось открывать свои тайны.

Урмат САЛАМАТОВ

Родился в 1990 году в Бишкеке, Киргизия. Окончил Академию управления при президенте Киргизии, специальность – банковское дело. Публиковался в журналах «Нева» и «Литкультпривет!». Автор книги «Плата за рай» (2019). Живет в Бишкеке.

БАНКИР: ИСТОРИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ, или Люди, мертвые внутри

- Чет так хреново на душе.
- Ты уже говорил.
- Говорил, говорю и...
- И будет! Работай давай. Завтра отчет не сдадим – точно хреново будет. Сам знаешь, в душу кучу такую наложат. Год пить придется, чтобы смыть.
- Эт точно!.. Ну если паршиво? Не работается.
- И че предлагаешь делать?
- Че делать, че делать?.. Трусам потайной карман приделать!
- Не смешно!
- Да че ты, в натуре, как банкир?.. Шучу же.
- Брат, времени нет. Ни секунды. Веришь, в туалет хочется... три часа уже терплю, чтоб цифры не убежали. А то все по новой придется делать... а мне еще детей из садика забирать.
- Все, все! Молчу.
- Не молчи. Отчет делай.
- Будь проклята та падла, которая этот отчет придумала.
- Аминь!
- Хе-хе, вот, узнаю брата по оружию.
- Не мы такие, жизнь такая.
- И она тоже падла! Нагнула так нагнула.
- А че так?
- Че так? Че так?! Эмма, ты серьезно?..
- Ну да.
- Ну ты даешь, брат...
- Говори уже!
- Ты посмотри вокруг. Мы же банкиры. Это банк! Это зло! Акционеры тут – дети Люцифера. Я не удивлюсь, если под ультрафиолетовой

лампой на устав банка глянуть, там в пункте «цели и задачи» будет написано – мучить людей, высасывать все соки, насиловать душу!

– Ты про клиентов?

– Да пошли они!.. Я про нас.

– Не в тему!

– Оглянись! Очнись! Вилку сунь в розетку, глядишь, прозреешь.

– Слышь, Арман-философ, отчет делай.

– Вспомни!.. Какими мы были с тобой, когда пришли в эту черную дыру? Дерзкими, безбашенными, не было авторитетов. Мы были творцами и ковали судьбу в огне, которыми горели наши глаза. А теперь?

– А что теперь?.. Я семьянин. Любимая жена. Трое детей.

– И каждая минута расписана на других. А сам не успеваешь даже подмыться. Вон воняешь уже.

– Ну да! Это называется взрослая жизнь.

– Это стереотипы глобального уровня! Мы напичканы ими с детства. Учись. Работай. Семью корми. Выполняй обязательства. Мечты подождут. Старей. Осознай. Наконец, умри преисполненный сожалений. И только инакомыслящие меняют мир и создают тренды. Лишь те, кто рвется к вершине, не страшась идти против всех, плыть против течения. Лишь те, которые не боятся взглянуть в глаза судьбе и плюнуть на презрительные взгляды и тупые суждения, смогут красиво жизнь прожить. Смогут вырваться из рутины... из этого Дня сурка. Быть свободными и счастливыми, понимаешь?

– Инакомыслящих расстреливают. Те, кто рвутся к вершине, часто разбиваются. Те, кто плывет против течения, часто тонут.

– Вот! Видишь, все дело в страхе.

– А ты смерти не боишься?

– Все мы умрем. По мне лучше уйти из жизни с мыслью, что я прожил ее не зря и сделал все что мог... все, чего хотел, чем сожалел об упущенном времени, гореть в агонии оттого, что поработил сам себя и свободу свою отравил материальными нуждами... Так-то оно всем страшно. Так задумано. Это наша плата. Страх тьмы нужно преодолеть, чтобы дожить до рассвета.

– Мне этого не надо. Я – счастливый человек!

– А я – королева Англии!

– Ха-ха, похож!..

– Да иди ты!.. Сам на свою жопу похож!

– Ха-ха-ха!

– Ха-ха-ха!

– Эмма, брат, я ведь серьезно. Вот че мы тут делаем?

– Отчет.

– Хф... Жизнь же одна, брат! И мы ее прожигаем за зря. Лучше подвести шестьдесят, ярко сверкнув, влететь в столб, чем сгинуть вот так за компьютером, делая этот долбаный отчет для тех, кто нас даже оценить не умеет. Не умеют, потому что давно ослепли здесь все. Посмотри вокруг: здесь цитадель несчастья. Людей веселых, жизнерадостных, верующих в чудеса за два года переплавляют в злобных, вечно недовольных зомби. Меняют процессор в голове. Разрушают сердце. Чипы добра, человечности, любви к ближнему заражают вирусом. Их верой давно стали деньги. Деньги для них главное... и им плевать, кого в крови утопить, кого удавить, с кем переспать, что сказать...

– Это ты сейчас про Неллю?

– Нелля, Вика, Цой, Лим, Дэн... Да тысячи их! Они на все готовы за свой мелкий капиталишко. У них нет ценностей, нет морали, воспитания. Одно лишь притворство и упругость, как у пружины, чтобы прогибаться под начальников. А у тех уже с дьяволом подписан контракт. В договоре вписана цена, за которую они продали душу. И чем дальше, тем глубже ты в этом дерьме застреваешь... И что, спрашивается, тянуть-то, если уж решили, давай сразу продадимся!.. Сколько? Сколько, я тебя спрашиваю, стоят наши души? Души поэтов?!

– Заткнешься ты сегодня или нет?! Достал уже!! Какая цапля тебя укусила? Ноешь и ноешь. Нудишь и нудишь. Как баба! Если не нравится че-то – делай! Как мужик! Увольняйся и живи свободно, красиво! А я не могу. У меня семья. Детей кормить надо. Родителям помогать. Брату. Тридцать пять мне, а я до сих пор у них на шее...

– Я об этом и говорю... мечты предаем. Себя продаем за гроши. Мы можем больше!

– Э! Короче, давай рты закроем... отчет сделаем и валим по домам.

– Нет, брат...

– В смысле нет?

– Не хочу!

– Чего не хочешь?

– Жить так! С вечно сгорбленной спиной, опущенной головой. Ты прав... давно надо было так поступить. Прислушаться к сердцу и принять решение смело. Как мужчина! Ну, себя найти никогда не поздно. Что ж, прощай, старина.

Он прошел к своему столу. Выхватил кружку из полки, сдернул пиджак со спинки обклеенного скотчем кресла и с радостной улыбкой, будто на улице его ждет «Феррари», раздавая в каждую из камер видеонаблюдения по среднему пальцу, стал удаляться.

– Ты куда?

– Я же сказал: покорять этот мир. Ставить на колени непокорную судьбу, сжигать предательские обстоятельства, что делают мою жизнь несчастной.

– А отчет?!

– Ты не слышишь? Я мечтатель, поэт, бунтарь! Моя душа создана парить в небе и достигать высот невероятных, где грифы коченеют и падают, разбиваясь о землю, как ледышки. Так что плевать мне на то, что они там клюют в своей грязной земле...

– Идиот! Отчет делай, я тебе говорю!! Задолбал уже!!!

– Да плевал я на этот отчет, тебе говорю! Хочешь – делай, а хочешь – запеленай в то, что тебе истину мешает увидеть. Сожги в пылу своей ненависти. Продай – жене че-нибудь купишь – тридцать секунд счастья и семнадцать минут совокупления.

– Пошел ты!

Он вышел из кабинета. Через минуту явился обратно и в дверях, переминаясь с ноги на ногу, сказал:

– О чем ты мечтал до Банка?

– Опять ты?! Я же сказал, вали отсюда!!

– Извини, брат. Про жену – ляпнул.

Помолчали с минуту. Он стоял в ожидании ответа. Не дождавшись, проронил:

– Ну, до скорого... – развернулся, собираясь уходить.

– Писать.

– Что? – он обернулся.

- Книги писать мечтал.
- Хорошая мечта. Я запомню... Ну! Не забывай друга своего, брата по оружию, по духу. Балагура, франта, дикаря! Прощай... Люблю тебя. Словно застеснявшись сказанного напоследок, не дожидаясь ответа, он исчез за дверью.
- И я тебя... Тупица!
- Это был последний раз, когда я его видел.
- Надо было пожать ему руку.

* * *

- Эмир Эркинович, разрешите?
- Айгерим, я занят. Очень!
- Попозже зайти?
- Угу. Че там?.. Срочное что-то?
- Да нет... Руководство устраивает для сотрудников круиз... хе-хе, круиз, говорю... катание на корабле по озеру. Ну, ежегодное... Помните?
- Я отказываюсь. Че я там не видел. Каждый год одно и то же. Откатался уже свое. Хватит. Без меня.
- Хорошо. Тогда семь тысяч.
- Что значит семь тысяч? За что?!
- Вы можете не ехать, но не сдать деньги не можете.
- В смысле?! Это как? Принуждать будете? Может, вам еще маски одолжить, чтобы вы после работы в подворотне дождались меня и избили? А?
- Эмир Эркинович, вы же знаете, я человек маленький, только исполняю распоряжение. Денежку собираю. Сама не рада.
- Ладно. Ты это... прости, если что. Вот, держи! Семь тысяч. Хорошо не семьдесят! Э-эх, из года в год не легче. Только в прошлом году было бесплатно, а теперь уже работников за их счет развлекают. А потом еще ртами пукают что-то про корпоративный дух. Хф! Смешные, блин! Да и катание это не стоит своих денег. Вот устроили это и что, думают, людям лучше станет? Разгрузятся, отдохнут? Спасибо скажут? Ага, щ-щас! Что любой человек скажет, когда у его семьи честно заработанную копейку забирают и тратят непонятно на что?
- Эмир Эркинович, все недовольны. Но никто не решается сказать. Может, вы поговорите с руководством? Вдруг получится все отменить? Ну, или заменить катание на менее затратное мероприятие?
- Как будто меня кто-то послушает. И так своих проблем хватает. Для себя дешевле промолчать.
- Да!.. Поедем кататься. И пусть совесть их мучает.
- Аха-ха!.. Айгерим! Айгеримушка, людей с совестью подобного рода поступки давно бы убили. Ладно, покумекали, а теперь пора работу работать, а то в лес убежит.
- До свидания!
- Между нами, хорошо?
- Да. Конечно. Хи!
- Она уже выходила, когда я крикнул вслед:
- Айгерим!
- Да?
- А когда?
- В следующую субботу. На причале надо быть в шесть утра. Без опозданий.

– Ну вот, еще и выходного лишили!

Айгерим удалилась.

Хорошая девчушка. Стажер. Я быстро к ней привык. Одна из немногих, кого я был рад видеть в своем кабинете. Еще не отравленная банком. С мечтами о безоблачном будущем, ради которого готова работать до горба на спине. Жизнерадостная, смеющаяся, я бы даже сказал – пританцовывающая. Пока. Мне было жаль ее, вспоминая те прекрасные цветки, что сгнили в этом болоте. Я не хотел, чтобы нежный лунный цветок превратился в крапиву. Я не мог смотреть на это снова. Смотреть, как отчаяние пожирает свет веры в глазах очередной жизни, наполняя их слезами горечи. Я намеревался поговорить с ней о ее планах на будущее, потому как стал замечать в ней изменения, о которых говорил Арман. Твердо решил для себя, что непременно отговорю ее работать в банке. Пока не поздно. Но из-за дел, встреч, задач, заданий, которых становилось все больше с каждым днем, разговор постоянно откладывался.

* * *

Не успел корабль тронуться – все уткнулись в телефоны. Годами накопленная усталость породила синяки под глазами и тишину. Лишь изредка бросались служебными фразами и словечками: «Курс упал/поднялся», «Межбанк гонит», «Распоряга», «Расходник», «Дебет/кредит», «Пластик», «Закрыта позиция», «Внебаланс», «Допники», «Овердрафт», «Опердень», «Свифт», «Физик», «Юрик» и т. д. Говорят, а сами глаз не отводят от гаджетов. Словно поработанные матрицей в двоичной системе кодов не видят людей. В матрице, где царят ноли и единицы, а человек – нечто иное... быть может – ошибка?.. Сидят запрограммированные и соревнуются – до дыр трут телефоны в поисках, чтобы первым выкрикнуть финансовую новость.

Уверен, я бы сделал то же самое, просто на автомате, если бы сын не уронил мой телефон в чашку с молоком и тот предательски не отключился. Пришлось взять старую «Nokia-3310». Безвыходность заставила прозреть. Я увидел картину своей жизни без искусственного освещения, без фильтров. И не понимал, что здесь делаю и как раньше не замечал зомбированных людей, окружавших меня все десять лет работы в банке. Я увидел людей ненастоящих, увядших – роботизированных системой, с измененным сознанием, с настроенным мышлением. Людей несчастных, картонных... с упущенными возможностями, мертвыми мечтами, надеждами и пустым взглядом. Этаким механизмы, которые справляются с поставленными целями. Не своими. А взамен получают средства, чтобы на них купить смазку для жизни и не скрипеть по дороге, что ведет в никуда. Они всего лишь деталь и нужны до тех пор, пока исправны и могут делать то, что угодно не им. И знают они, что в мире таких деталей миллионы и стоит сломаться – заменят другим. Оттого и несчастны, потому что боятся.

Холодный ветер с разгона давал пощечины, присвистывая: «Очнись же, пленник!.. Узри!.. темницу свою».

Стало не по себе, словно я один воскрес из тьмы и, оглянувшись вокруг, увидел трупы. Чтобы отогнать мысли, я предложил коллегам спеть что-нибудь. Бедная Айгерим... не успела откликнуться на предложение, как недовольный гомон присутствующих заткнул ей рот: «Холодно! Горло простудим. Потом больничный! А больничный – удержание

зарплаты», «Зачем? И так тошнит. Лучше бы дома лежали», «Может, не будем ничего придумывать. Давайте просто, как обычно, отсидим, и все», «Все-таки странный он... Хоть бы бухнуть сначала предложил. А то сразу петь».

«Неужели мы разучились наслаждаться? Ценить скоротечные моменты жизни в настоящем, на оглядываясь в прошлое и не думая о будущем», – подумалось мне. От этой мысли я до боли закусил губу, сжал кулаки.

Прошел год со дня увольнения Армана. А я только сейчас понял то, о чем он говорил тогда – в последний день его рабства, когда кандалы разлетелись на мелкие кусочки, более не в силах сдерживать эту великую, смелую душу. И еще многое вспомнилось из того разговора. Я сидел и старался осмыслить слова, что в ушах эхом гудели.

Одним из развлекательных трюков плавания было хождение под мостом, который почти соприкасался с кораблем так, что сидящим на третьем ярусе – нам – приходилось прятать голову в коленях, чтобы сохранить ее до тех пор, пока судно не выплывет.

Когда мы достигли моста, к нам поднялся контролер и предупредил: «Если не хотите испортить хождение по морю – гните головы!» Капитан продублировал сообщение по радио из рубки. Все как один заблаговременно нагнули головы. А я сидел и смотрел на этих людей, думая: «Как же головы-то берегут. Ты смотри!.. Было бы что терять... Ан нет! Хотят подольше пожить свою бесцветную жизнь». Вдруг знакомый голос сзади шепнул: «Посмотри на них. Чем так жить – согбенным, лучше красиво, с боем уйти». Я обернулся, но никого не оказалось.

– Гни-и! Голову гни, идиот! – вскричал контролер и уже через полминуты взбежал к нам на ярус. Подбежал, грубо одернул меня и, схватив за шею, насилу согнул меня в поясище. И добавил: – Совсем полудурок, что ли? Жить надоело?

– Так, да! – ответил я.

Сидя на корточках, он удивленно, задумчиво посмотрел на меня и не отпускал до тех пор, пока мы не миновали мост. Затем медленно отнял руку и, уходя, силился что-то сказать. Но не смог. Молча пошел к лестнице, постоянно оглядываясь.

А я все думал о словах Армана, когда пришло сообщение от его брата: «Арман умер. Не справился с управлением и на большой скорости врезался в столб». По телу пробежала дрожь. Грудь сдавило. Я выронил телефон из рук. Мне хотелось вскричать, чтобы выплеснуть боль. Вместо этого я сказал:

– Ребята, Арман умер.

Никто не отреагировал на печальную, прискорбную весть, будто не расслышали. Я повторил громко:

– Арман умер, говорю!

– Земля пухом и царствие... как там дальше?... Короче, вы поняли! – не отрывая взгляда от телефона, произнес начальник отдела поддержки.

– Ах, как жалко! Ц! – плохо сыграла бездарная актриса с оскароносными амбициями, подлой душой и по совместительству должностью главного бухгалтера. Не договорив, уткнулась с улыбкой в свой гаджет.

Я ожидал большего. Ждал, что кто-нибудь скажет доброе слово. Мне казалось, что Арман это заслужил. Но никто не отозвался.

– Слушайте! В «Финансистке» пишут, что ожидается слияние двух лидирующих банков страны, – радостно сообщил ведущий казначей.

– Чтобы остальных задавить! – подхватил сотрудник отдела пластиковых карт.

– Интересно, как назовутся? – спросил начальник отдела кредитования.

А как умер Арман, при каких обстоятельствах, когда состоятся похороны, надо ли чем-то помочь, где захоронят – им было неинтересно. Либо они не понимали, что оскорбляют мои чувства и ведут себя крайне неучтиво, либо они действительно очерствели настолько, что принимают это как должное и правильное.

Я окинул взглядом бесчеловечных коллег и прошептал: «А ведь завтра на его месте может оказаться любой из вас».

Я вспомнил, как он стоял в дверях тогда, кротко переминаясь с ноги на ногу, и слезы поползли по щекам. А гомон «этих» все не прекращался. Мне стало тошно от их голосов. Я встал с места и прошел в конец палубы. Там, схватившись за леер, я тяжело вздыхал и старался отдышаться. Несмотря на сообщенную мною новость, никто не заинтересовался моим уходом. Не поднимая своих голов, они продолжали пилиться в смартфоны.

Небывалая злость охватила меня. Я стал оглядываться по сторонам, заглядывать в карманы и, как солдат в осаде, жалел, что под рукой нет гранаты, чтобы взорвать их всех. Вдруг я увидел отпорный багор. Длинной на всю ширину палубы. Я схватил ее и руками прижал в локтевом изгибе. Пробежал с конца в начало палубы, при этом задев палкой каждую тупую голову. Будто вышедшие из гипноза, многие вскричали: «Что это такое?!», «Вы что делаете?», «Ай, голова!», «Телефон уронили! Разбили!», «Совсем больной!»

Клянусь, я готов был броситься на них и биться, как лев с гиенами, до тех пор, пока не выстоит истина. Так бы и сделал, если бы снова не услышал знакомый голос: «Да че им объяснять? Их мозги слишком малы, чтобы вместить в себя чувства и стремления наших огромных душ».

Я посмотрел на всполошившихся коллег. Улыбнувшись, плюнул в их сторону. Затем раздал каждому по среднему пальцу и взобрался на леерную стойку. Все затихли. Я обернулся и увидел людей, что прогнили и умерли внутри. Мне стало их жалко. Как наяву я увидел их жизни и то, как они плачут по ночам оттого, что не могут ничего изменить. Оттого, что души их в плену бесконечных обязательств, которые они сами себе создали. Веревка, которой заткнут рот, связаны руки и ноги, давно натерла до кровавых ран, и каждое новое движение причиняет им боль. И бояться в этой темнице они надзирателя – Жизнь, – который не дает им жить.

Не проронив ни слова, я бросился в воду. Вынырнув, я услышал крики и возгласы: «Убился!», «А я говорил... Не все в порядке с головой у него... Вот!», «Стоп машина! Человек за бортом», «Идиот!», «Совсем с ума сошел», «Долбаное катание».

Ледяная вода вмиг смыла всю шелуху, что застилала глаза, душу и сердце. Все ненужное, что годами копилось и мешало жить по-настоящему. Страх и желание выжить сбросили напичканные обновлениями чипы до заводских настроек.

Никто из экипажа корабля не решился спасти утопающего. Осень все-таки. Я слышал, как они спорили: «Прыгай!», «А че я?! Сам ныряй», «Я старше по званию», «Тогда я увольняюсь!», «Тогда сейчас же вон с корабля!» Их можно понять... одно такое купание, и качество жизни может снизиться до уровня «страдание» или «ад на земле».

Например, если почки простудить. Или мозг. А еще расстояние до берега – можно было два раза утонуть.

Плавал я плохо, вдобавок мешала одежда. Но я с детства умело держался на воде – мама научила. «Представь, что ты кораблик, а спина твоя – его дно. Ну, ложись. Плыви, мой линкор!» – говорила она тогда... когда не было в душе ничего, кроме надежд и мечтаний, а сердце переполняла любовь.

Я плыл до тех пор, пока не уставал. Затем ложился на воду, как на кровать, и, дрейфуя, набирался сил. А между тем перед глазами растянулось необъятное, серое небо. Морское чудовище, что возлегает на дне, – тот, которого никто не видел, но всегда чувствует нутром и боится, – отправлял своих посыльных. А те – новорожденные волны – заливали уши и, будто крохотные ангелы с крылышками и арфой, шептали, что я – часть этого мира и все, чего хочет создатель, – чтобы его творение наполнилось счастьем.

Несмотря на то что я сильно замерз, внутри меня зажегся огонек. Снова. Тот, что когда-то, будучи пламенем, жег! Я почувствовал, что жив и что еще не поздно жить...

Когда добрался до берега, я сел на песок, чтобы отдышаться. Подогнул колени и, обхватив руками, прятал в них лицо от ветра. Дрожал, как отбойный молоток, бьющий асфальт, а сам радовался и, постукивая челюстью, смеялся. Улыбался так, как никогда в жизни не улыбался. Чуть рот не порвался. Чувство гордости меня согревало оттого, что я храбр и доказал себе это смелым поступком. Не совсем уместным, учитывая холодное время года, но... «Нормальные люди никогда бы не так сделали», – подумалось мне. И я заулыбался с еще большей радостью от сознания того, что я – не нормальный... не обычный, не такой, как все остальные.

Не знаю, сколько бы я еще просидел, тешась своим поступком, если бы он, прикоснувшись к плечу, не произнес:

- Небось, труссы-то еще до того, как нырнул, промокли, а?
- Да пошел ты! Тупица!.. Лучше плед принеси.

Вероника ВОРОНИНА

Родилась в г. Сарове Нижегородской области, Окончила журфак МГУ, получила дополнительное психологическое образование. Трижды делала доклады для конференций и семинаров Института этнографии и антропологии РАН. Научные статьи публиковались в альманахе «Архетипические исследования», журнале РАН «Медицинская антропология и биоэтика», в сборнике статей ИЭА РАН «Эпическое наследие и духовные практики в прошлом и настоящем».

Проза печаталась в альманахе «Ни два ни полтора», журналах «Нижний Новгород», «Литерра Нова», коллективных сборниках.

Живет в Люберцах.

КРАЙ ЗЕМЛИ, ГДЕ ГУСИ ГОВОРЯТ С УШЕДШИМИ

Море Белое, студёное, песенное да капризное, щедрое на подарки. Угощает нас море, гостей заезжих, и погодой изменчивой, и напевами стоустыми – голосами воды и ветра. Снасти нашего суденышка мелодично названивают в такт. И если всплывает в душе мотив незнакомый, сердце согревающий, знать, игривые духи морские делятся своей радостью, тихонько на ухо напевают. А коли повезет, нашепчет море синее и старины да побывальщины, попотчует узорчатой поморской говорью.

* * *

Заканчивался третий день нашего плавания по Кемским шхерам – группе островов Белого моря. Именно тогда на безымянном островке попался нам тот сейд – один из многочисленных в этом регионе священных камней саамов-лопарей, древних жителей Беломорья.

День был трудным. Из-за сильных волн и ветра катамаран не слушался. Мы неоднократно пытались пристать то к одному острову, то к другому, но раз за разом нас относило в сторону. То и дело море менялось. Так что островок, которого даже не было на карте, оказался первым, к которому мы смогли причалить, да и то лишь поздно вечером. Впрочем, летом на Белом море сложно сохранять ощущение времени – из-за белых ночей темнеет едва на пару-тройку часов в сутки.

Катамаран, прошелестев по песку, замер возле сейда – прямоугольного двухметрового валуна на двух каменных ножках, лежавшего у самой воды. Верхняя его плоскость образовывала почти ровную поверхность, похожую на алтарь.

Это был безлюдный и пустынный скалистый остров. Типичная для Севера скудная растительность стелилась ближе к земле. Сейд очень внушительно и весомо присутствовал в горизонтально ориентированном пространстве. Безлюдный пейзаж выглядел древним и величественным. Время здесь текло медленно. На высоком синем небе застыли пухлые белые облака, словно ждущие ветра корабли.

Мы с товарищем оттащили катамаран подальше от воды и распаковывали вещи. Мне было не по себе рядом с сейдом. Что-то в этом месте вызывало тревогу и неясное беспокойство. Большой валун против воли приковывал внимание. А щель под ним казалась приоткрытым каменным ртом. У меня закружилась голова, словно на краю обрыва. Воздух вокруг сейда дрожал и мерцал, как подогретый.

Несмотря на ясное небо и спокойное море, чувство беспокойства и неясной опасности усиливалось. Я почувствовала слабость и окликнула моего спутника. Он выгружал рюкзаки из катамарана, как вдруг замер, ошарашенно глядя перед собой и явно меня не замечая.

Мерцание и подрагивание воздуха распространились от сейда во все стороны. Мир вокруг словно истончился.

Я увидела, что «алтарный» камень отворяется, как дверь. И откуда-то из глубины выплывает на поверхность, разворачиваясь унылой застиранной скатертью, сумеречное пространство в серых тонах под тусклым, непрозрачным небом.

Захлебнулись звуки моря и ветра, замерли крики птиц. Воздух стал неподвижным и затхлым. Берег хоть и остался вроде бы тем же, но потускнел. А море застыло недвижимо.

И здесь вдоль береговой линии, насколько хватало глаз, было пришвартовано великое множество кораблей, всевозможных судов и суденышек. Рыбачьих, торговых, военные, купеческие. Шитые саамские лодки, новгородские расписные ушкуи, варяжские драккары, поморские кочи и лодьи. Паруса висели безжизненными тряпками. Казалось, корабли застряли во времени, как мухи в янтаре.

При каждом судне радела своя дружина-команда. Мореходы с тусклыми, как все в этом месте, лицами были заняты привычным морским делом: чинили сети, штопали паруса, ладили снасти, крепили шкоты. Работали споро и молчаливо. И каждый нет-нет да и бросит внимательный выжидающий взгляд на свинцовое неживое море.

А оно начало заволакиваться туманной дымкой, которая становилась все гуще. Мелкие капельки мороси оседали на одежде.

И вдруг плеснула вода, рассекаемая веслами. Из сгустившегося тумана показался поморский карбас. На веслах сидел крепкий старик. В вязаной рубахе, портах и бахилах с длинными голенищами он и сам выглядел выходцем из далекого прошлого, как многие на этом берегу. Дед что-то напевал себе под нос.

Кажется, он единственный заметил мое присутствие. Мореходы с застывших в мертвой воде кораблей смотрели только на море.

- Путем-дорогой здрава буди, голуба.
- Здравствуйте.
- Негоже вам со товарищи тут быть.
- Почему?

Он не ответил, раздумчиво оглядывая берег. Внимание старца привлекла сухая коряжка. Он достал из лодки топорик, наколол щепок и кусков покрупнее, деловито развел костер.

Мореходы явно заметили прибытие старика – они посматривали в его сторону, но дел своих не оставляли.

– Лопь да чудь, что на Студёном море прежде нас появились, – наконец неспешно продолжил он, – не просто так заповедали к камням сим токмо с оглядкой да опаской подступать. Камни, слышь-ко, дюже непростые. О них бают всякое. – Старый помор степенно налил воды в котелок, поставил на огонь. – Иные в рыбном и ловчем промысле помощники, если правильно попросить. А к иным подходить можно токмо в урочный час или и вовсе невозможно. А иначе блазнить начинают, помрачают, кудесы творят. Внимаешь? Немудрено попасть как кур в ощи́п.

Старик сыпанул в воду сухих ягод, листьев и корешков, подобрал и подкинул в костер выбеленные соленой водой куски плавника. Люди на берегу отложили работу и внимательно смотрели на него.

– И лопарям, и поморам Студёно море испокон веку кормилец и поилец, начало и конец. Неогляден простор морской. И есть в нем острова, особливо дальний северный край, что по лопским поверьям считались землями мёртвых. У поморов тако же место есть. Сей край зовется Гусиной землей – туда уходят души хоробрых и добрых людей. И туда прилетают гуси, чтобы говорить с ушедшими.

Пока он рассказывал, из сгустившегося тумана на свет костра подходили молчаливые мореходы в одеждах разных времен и земель и садились вокруг костра.

Старый помор достал большую глиняную кружку, наполнил ее своим отваром и пустил по кругу. А когда она опустела, наполнил снова, пока каждый из подсевших к огню не сделал хотя бы по глотку. Мне он свой отвар не предлагал. Степенно кланяясь, но так и не обронив ни слова, гости начали расходиться.

– И среди камней этих есть хранители, – наконец продолжил старик. – Кои берегут души тех, кого море забирает. Чтобы, значит, души эти не затерялись, разыскивая дорогу в Гусиную землю. Так что негоже тут попусту толкаться. Это место не подходит тем, чей срок не вышел. Смекаешь?

Старец поднялся, забросал костер песком, сполоснул и убрал кружку и котелок. Туман рассеивался. Сквозь его прорехи открылось ясное светлое небо. Море вздохнуло и задышало, воздух снова наполнился морской свежестью, солеными брызгами. Где-то прокричали гуси.

Кто-то запел песню, издалека донеслась зычная команда: «Мужи-двиняне, выкатить якорь, открыть паруса!» Оживший ветер наполнил силой полотнища, как крылья выпущенных на волю птиц. Раздался радостный возглас: «Пособная поветерь направляет наш путь!»

Старый помор готовил карбас к отплытию. На прощание я, наконец, решила спросить:

– Дедушка, а вы кто?

– Я-то? Вож корабельный. По-вашему лоцман, путь указываю... Ну, здоровья вам на всех ветрах!

– Благодарю. И вам!

Старик отплыл первым. Стряхнув скованность ожидания, как бабочки свой кокон, суда наконец вырвались на водный простор, покинув печальные берега.

* * *

Я очнулась у нашего лагеря и огляделась. Остров был пустынным и безмятежным, как и в момент нашего появления здесь. Воздух вокруг сейда больше не мерцал. Да и сам сейд уже не выглядел значимо и весомо. Опустел.

В нескольких шагах на земле сидел мой товарищ, вид у него был растерянный. Мы встретились глазами. Он тоже видел старика помора.

Место определенно выпроваживало непрошенных гостей. Мы быстро собрались и отчалили. Наконец-то ветер был попутным. На удивление быстро катамаран vyplыл к другому островку, не в пример более дружелюбному и гостеприимному.

Мы не только причалили с первой попытки, на наше счастье, поблизости оказался лагерь кемского рыбака. Тот по-соседски угостил нас горячим чаем и предложил разделить ужин. Две его собаки, ласковые и общительные дворняжки, обнюхали нас и тут же сунулись под руки, чтобы их приласкали.

Неподалеку обнаружили кусты спелой морошки. Я улеглась на мягкий мох и блаженно потянулась. Наконец можно было расслабиться. Уютно потрескивал костер. Одна из собак – пушистая, рыжая, похожая на колли – ткнулась носом в мою ладонь и устроилась рядом. Мелодично перезванивали снасти катамарана. Словно духи моря и ветра сделали себе поющий ветерок и играли с ним. Умиротворение этого острова убаюкивало.

Гостеприимный сосед предупредил нас о непогоде и особенностях навигации в тех районах, куда мы собирались направиться. Выслушав наши сетования о борьбе с ветрами и течениями, он припомнил времена, когда поморы, покидая берега, молились Варлааму Керетскому, покровителю северных мореплавателей.

– В прежние годы сказывали, – отметил он раздумчиво, – святой ходит по морю, заправляя ветрами и туманами. Есть давношнее поверье: когда сгущается туман, это подходит Варламьева лодья. Старики бают, – продолжил рыбак, – Варлаам истовённо пособляет дорогу найти и живым, и тем, кого море взяло. Одним домой, другим на тот свет.

Где-то поблизости прокричали гуси. Мужчина кивнул головой в ту сторону.

– В Гусиную землю, да. Деды так сказывали.

Я смотрела в высокое темно-синее небо с громадами плывущих в нем облачных кораблей. Они неслись к северу на всех парусах. То ли вспомнились, то ли донесли издали чьи-то певучие слова: «Пособная поветерь направляет наш путь!»

Поморские диалектные слова и выражения

Бахилы – высокие кожаные сапоги на мягкой подошве с круглыми носками, сшитые на прямую колодку; удобны для хождения по толстому льду в зимнее и летнее время, употребляются поморами на промыслах.

Блазнить – мерещиться, казаться, представляться.

Вож – морской лоцман, проводник.

Давношной – старинный, старый.

Истовённо – в точности, очень похоже. Это наречие используется для присоединения сказуемого к подлежащему вместо ряда сравнительных союзов («будто, точно, как, что, словно, подобно»).

Карбас – парусно-гребное судно древнерусского образца для речного и морского прибрежного плавания.

Кемь – западный берег Белого моря с центром в городе Кемь.

Коча, коч, или кочмара – древнейшее парусное палубное судно, устройством схожее с лодьей, но значительно меньших размеров. Коча известна на Севере еще во времена новгородского владычества.

Кудесы – чудеса.

Лодья – ладья, большое одномачтовое судно с прямым парусом.

Лопь – древнерусское название лопарей.

Поветерь – попутный ветер.

Поморьска говоря – поморский говор.

Пособь – помощь.

Стáрина – сказка, старинное предание.

Студёное море – так называлось Белое море до XVIII века.

Ушкуй – новгородское плоскодонное парусно-гребное судно XI–XV веков.

Чудь – собирательное древнерусское название ряда племён и народностей, как правило, прибалтийско-финской группы.

Татьяна ЯРЫШКИНА

Родилась в городе Котласе Архангельской области. Окончила филологический факультет и аспирантуру Сыктывкарского госуниверситета по специальности «русская литература». Печаталась в литературных альманахах «Белый бор», «Перекличка» и «Невский альманах», журналах «Знай наших», «Арт», «Мир Севера», «Ротонда», «Начало века», в ряде газет.

Автор стихотворных сборников «Дуэль» (2017) и «Верблюжьих мотивы» (2019). Стихи вошли в шорт-лист VI Международного литературного тютчевского конкурса «Мыслящий тростник» (2018). Живет в Сыктывкаре.

БАНАЛЬНАЯ РИФМА

Ночь

Ночь говорила уже не раз:
«Жди, не к тебе – за тобой приду».
Не признавалась, в каком году.
Лет через пять? Через год? Сейчас?..

Но, разумеется, не лгала,
Глядя луной сквозь моё окно –
Прямо в глаза, в глубину, на дно –
В душу, раздетую догола.

И понимала душа всегда:
Дни мимолётны, и только ночь
Не убегает куда-то прочь,
А по пятам за мной – сквозь года.

И неотступно глядит в меня,
И обнажать продолжает суть,
Будто верша надо мною суд.
Судного в предвосхищенье дня.

Вина

Памяти поэта Татьяны Кирпиченко

Живым остаётся порою лишь крест вины.
За тех, у кого уже отняты свет и воздух;

Кто больше не может смотреть на ночные звёзды,
Топтать эту землю – и жизни не знать цены...

Хочу о прощенье молиться, вину храня –
Как то, что извечно присуще всему живому.
А Бога – совсем по-ребячески, по-земному –
Всё спрашиваю:
«Почему Ты взял не меня?»

Но Бог сохраняет молчанье... А где-то там,
Где Светом нездешним наполнен – дух, а не воздух;
И где за живущих просить никогда не поздно;
И где для молитв – не от этого мира храм, –

Умершие молятся. Здесь, на земле, нужна
На это надежда, хотя бы и небольшая.
А знать не дано. Я живу, ничего не зная –
Лишь чувствую: это мой крест и моя вина...

* * *

Никогда не поймут, не простят...
Это всё же не боги, а люди.
Кто руками их был на кресте распят, –
Понимает, прощает, любит.

Он прощает – а я среди тех,
Кто меня не простит.
Распинаю
Вместе с ними, вбивая гвоздём свой грех.
Вся любовь Его – рана сквозная...

Вся пробита гвоздями грехов!
Ты прости хоть за то меня, Боже,
Что – с креста не сходя – возлюбить готов,
А душа моя ищет всё новых слов,
Но для тех, кто простить не может.

По-русски

Не сумею оставить России хотя бы спасибо
В виде искренне пламенной патриотической песни.
Я умру как живу: неприкаянно и некрасиво.
И ни словом отблагодарить не сумею, хоть тресни.

Но Россия не треснет.
И слов от меня ей не надо.
Ни любовных, ни прочих...
Она вообще не услышит...
А какая бы всё-таки в сердце вселилась отрада,
Если б слово такое нашлось – и сильнее, и выше

Всех моих неуместно, не вовремя сказанных прежде!
 Настоящее слово – моей настоящей России!
 Здесь не только моей не дано было выжить надежде.
 Здесь не только меня о любви никогда не просили.

Здесь спасаются – верую в Бога.
 И верую в Слово.
 В то, что Слово и было у Бога, и с Богом, и Богом...
 Не сумею спасибо сказать – сокрушаюсь я снова.
 Так успеть бы – по-русски – о главном своём, о немногом.

* * *

В такой никому не понятной стране
 Живу никому не понятною жизнью.
 Не тем ли близка моя родина мне,
 Что я понимания так же не мыслю

Ни в ком никогда и нигде повстречать?
 Одно неподдельное недоуменье...
 Как будто на мне – отчужденья печать.
 Россия, ты вечно в кругу отчужденья,

Не познанная из народов никем.
 Хоть целому миру, как книга, открыта,
 Но мир-то тебя не умеет совсем
 Читать. А тобой – прощено и забыто...

Отчизна моя! Ты меня научи –
 Бывая великой, бывая убогой,
 Забыв, где от собственной тайны ключи, –
 Искать понимания только у Бога.

Молчание

Ты молчишь, и для меня Твоё молчание –
 Как суровый, беспощадный приговор.
 Я боюсь его – уже теперь, заранее.
 Будто слышу... Будто знаю с давних пор...

Будто главное давно мне было сказано:
 В умолчаниях, в подтексте, между строк.
 И душа моя уже теперь наказана
 Ожиданием: вот-вот наступит срок

Исполнения того, что мной прочитано
 И осмыслено в молчании Твоём.
 Сохраняемом поныне...
 И кричит оно –
 Прямо в душу, и всё время об одном.

А точнее говоря – всю вечность вечную.
А ещё точнее – прямо из души...
Ты её не милуй, Господи, увечную.
Но молчанием Своим не оглуши.

Невыразимость

Какою-то нескáзанною правдой
Терзается душа.
Но ею же – как высшею наградой
Безмерно дорожа.

И кажется, чем тягостнее мука,
Тем больше ты готов –
Фальшивого не проронив ни звука –
Терпеть без лишних слов.

Терпеть, не в силах выразить ту тайну,
Чьей сам разгадки ждёшь.
Замкнув и рот и душу, чтоб случайно
Не разразилась ложь.

Для правды, что вовеки нескáзанна,
Свобода ото лжи –
Словами наносимого изъяна –
Оплачена терзаньями души.

Учусь молчать

Учусь молчать.
А слово просит выхода.
Как выплеска желанного – душа.
В молчании пока не вижу выгоды –
И приучаюсь трудно, не спеша.

В молчании пока не вижу толку я,
Но мне сказали: должен выйти толк.
Ученье предстоит, наверно, долгое,
Коль дух не обнищал и не умолк.

А помню, что блаженны духом нищие,
Что Царствие Небесное – для них.
Доступно, значит, им искусство высшее,
Чем с моего ума сходящий стих.

Найдёт он на меня – и как без слова-то?
Попробуй тут ни слова не скажи...
И глупый дух мой ропщет – зло и молодо, –
Пока учусь, как переплавить в золото
Молчания – всю кровь моей души.

Банальная рифма

Ты учишь меня не такой любви,
Что раны душевные мне залечит.
А той, что смертельна – но смерти крепче.
И дух возрождает мой – на крови.

Банальная рифма: «любовь» и «кровь».
Но это скрещение не случайно.
Крещения в нём боевого тайна,
Какое выдерживать – вновь и вновь.

И выдержу, Господи: я держусь.
Тобой, за Тебя...
На любви и вере...
Учусь – на высоком Твоём примере.
И пусть непомерно высок он, пусть.

Превыше всего – как Ты Сам привык –
Пребуди во мне, как Еси, как можешь.
Каким возлюбил Тебя, Святой Боже,
Любовью проверенный ученик.

Ещё приучаться мне к высоте,
Удерживаясь на столпе – и в ритме.
На этой до боли банальной рифме.
На вечном, бессмертном её кресте.

Андрей ШАЦКОВ

Родился в 1952 году в Москве. Окончил Московский инженерно-строительный институт. Работал в Главмособлстрое, Минхимпроме СССР, Минтрансе России, в постпредстве Республики Саха (Якутия) при президенте России. Главный редактор альманаха «День поэзии – XXI век». Ответственный секретарь журнала «Невечерний свет» (Санкт-Петербург).

Автор тринадцати поэтических книг. Кавалер ордена преподобного Сергия Радонежского. Удостоен премии правительства Российской Федерации в области культуры (2013), а также многих других литературных премий и наград.

Член Союза писателей России и Международной ассоциации журналистов. Проживает в Москве и Рузе.

В этом году Андрей Владиславович встречает свое 70-летие. Поздравляем юбиляра, желаем ему здоровья и творческой энергии.

ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНИНА

Сюжет о зимних маргаритках

Кривая судьбы... Синусоиды дно.
В рождественских окнах горящие ёлки...
Я пью свою горькую кровь, как вино.
И к храму бреду в одиночестве волка.

Лишь в горле катается тёплый комок,
Что нежностью был, с достопамятной встречи
Когда я впервые – судьбу превозмог
И шёл на свиданье – Буслаем на вече!

И первую стражу стояла зима.
Отринув бессмыслие слова – предпримье.
И ты торопилась на встречу сама –
Позёмки речной осиянная синюю.

И руки свои укрывала в моих
Ладонях,
от хлада морозного пара.
И всё повторяла, как школьница стих:
«Мы вовсе не пара, мы вовсе не пара!»

А я и не помню, что было тогда,
Хоть память приходит большими ночами...

Мелькнули мгновенья, минули года
Сомкнувшись, как воды, у нас за плечами.

Те зимние дни не вернутся назад,
Растаяв сугробом у самой калитки
Скрипучей,
ведущей тебя в палисад
Где вместо снегов – расцвели маргаритки.

«Цветы Богородицы» – лета привет,
Которое вовремя к нам не пришло...
Как жаль – не сложился о счастье сюжет,
Но это в России – обычное дело.

* * *

Чудо пальцев твоих, потекло по стеклу и пропало.
И окутал дорогу усталого вечера флёр.
На прощанье сказать невозможно ни много, ни мало.
На прощанье, вообще, невозможен любой разговор.

Царь-девица и пегий волчище – не пара.
Пусть останется в детстве несбыточный сказочный сор...
Но пока не погасли витрины Страстного бульвара.
И с судьбой не окончен извечный губительный спор.

Ты умеешь молчать, и в провинции станет не больше
На один, не рассказанный «верной» подруге секрет,
Что расстаться со мною окажется, может быть, горше,
Чем остаться одной на исходе девических лет.

И стоим неприкаянно, взгляды во тьму упирая.
Как на расстанях было и будет и ныне и встарь.
И мигнёт огоньком на рокаде до ада из рая
На последнем вагоне, последней разлуки фонарь.

Наваждение скроется, в плавной дуге поворота.
Возвращаясь назад, на свои запасные пути...
Только с замершим сердцем творится неладное что-то.
Только ноги не знают, куда в одиночку брести...

Исповедь на Сретение

Пятнадцатое... Близится канун
Грядущей встречи, может быть последней.
Звенят колокола перед обедней –
Они звонили так же в тот июнь,

Когда под Брянском у речной косы
Стояли мы и за руки держались.
И души наши ближе к небу жались,
К неверному созвездию Весы,

Качнувшихся всей тяжестью вериг,
Которых удержать не могут крылья,
Проросшие, как колоса обилье,
Из тёмной сути нерождённых книг.

Но, впрочем, что былое вспоминать?..
Пятнадцатое – Сретенье над Русью.
В Нижегородье, полном древней грустью,
Твоя девчушка в пору стала – мать!

И встреч не будет... Поводок зимы
В грядущее не пустит из былого.
И не поможет заговора слово.
Которое вдвоём шептали мы.

Прощай, тебя зовёт семейный долг.
Так лебеди своим кричат протяжно...
Но это всё до крайности – неважно,
Когда в ушах трубит небесный полк.

Где старший сын, служа средь горних мест,
Оставил на земле кусок гранита,
К которому – отцовская планида –
Нести, превыше силы, тяжкий крест

Межсезонье

Проседают снега и когда-то, не сразу, не вдруг,
Но однажды настанет такое желанное лето.
Не гляди на меня с укоризной, неласковый друг.
Я уйти не могу. Я останусь с тобой до рассвета.

Межсезонье... Апрель запоздал в этот сумрачный год.
К Благовещенью могут грачи не вернуться на гнёзда.
Ледоход начинается... Только какой ледоход?
В зимнем небе горят в полыньях отражённые звёзды.

И на сердце твоё не приходит шальная весна.
И не бродит в берёзах апрельская терпкая брага...
Мне бы только суметь умыкнуть из медвежьего сна
Ту, которой готова с печальным сонетом бумага.

Слышишь, талые воды напевную песнь завели?
Обнажились прогалы земли и за светлыми днями
В старый Овстуг вернутся из дальних краёв журавли.
И растаявший пруд, словно луг, процветёт лебедами.

Что имеем – недолго в стихах с посвящением храним.
Потеряем – и память забудется в мучительном плаче...
А Россия стоит, словно Третий – незыблемый Рим.
В ней любовь не живёт, или просто зовётся иначе.

Прощание славянина

Вот и август прошёл и сентябрь настал,
 Приближается бабьего лета кончина.
 И в бездонные воды, как в чёрный хрусталь,
 Замирая, глядится лесная лещина.

Ты возьмёшь мою руку и спросишь: «Зачем
 Всё кончается,
 осень горька, как оскома?»
 И кровавое солнце упало, как шлем,
 Перерубленный напопы грохотом грома.

Что отвечу, скажу, что зимы не боюсь,
 Если сердце объято любви пожаром.
 Чернотропом хазарины ходят на Русь,
 И лукавый пути указывает татарам.

Что грешны мы, и летний окончился день.
 Что немчинские ветры летят из-за моря.
 И легла на полмира от месяца тень.
 Полумесяца –
 странам славянским на горе.

Убери свои косы под тёмный платок,
 Если я не вернусь к тебе ранней весною.
 Слышишь, конница скачет, тяжёл её скок.
 Это – наши готовятся к смертному бою.

Нас немного, доживших до славных седин,
 Кто в преданиях правнукам правду расскажет.
 Пусть за мною встаёт твой единственный сын.
 Мой – единственный, сгинул в полуночной страже.

Непогожий октябрь вздымает крыла.
 И как стрелы остры перевозимья метели.
 Я хочу, чтобы ты до весны дожила.
 Ратоборцы рождаются в светлом апреле.

Возвращение...

Полуночный шелест ледостава.
 На деревьях – иней бахромой.
 Ельник, как последняя застава
 Между чернотропом и зимой.

Я ещё стою на чернотропе,
 С белой щетиной в пол-лица.
 Замерзая, всхлипывают топи,
 Так и не поверив до конца

В смертный саван, тот, что без обмана
Расстилает первая метель...
Но «выходит месяц из тумана»,
Словно детства солнечный апрель.

Обернусь назад, где за холмами,
Там, где дым Отечества плывёт,
Я бежал босым навстречу маме,
Начиная в будущность полёт.

И кружа со стаей снегириной
Над страной, где зреют зеленыя,
Нёс на шее образок старинный
Тот, что мать надела на меня

Веря в то, что совладав со тьмою,
Сполохами звёздного венца,
Снегири вернуться в дом – зимою,
Чтоб остаться с прошлым, до конца.

Как хорошо...

Как хорошо на свете просто БЫТЬ...
Всё остальное: мимо, мимо, мимо.
Гулять с собакой, женщину любить,
Когда тебе любовь необходима.

Считать ворон, колоть с отцом дрова,
И помогать с бельём усталой маме.
И слышать, как в саду растёт трава,
Где бродит кошка вместе с малышами.

Как хорошо глядеть в небесный свод.
И, на щеке почуввав солнца ласку
Знать: в горней выси бабушка живёт,
Которая тебе читала сказку.

Как хорошо, уйдя недалеко,
Вернуться вновь к родимому порогу.
Налить в стакан парное молоко,
Покрепче хочешь – тоже ради бога.

И чувствовать дыханье милых мест,
И знать – что впереди годов немало...
Пока один останешься, как перст,
И с головой нырнёшь под одеяло.

И будет дождь струиться по лицу.
Холодный дождь, твои вбирая слёзы.
Как хорошо... что жизнь пришла к концу
Наполненная рифмами,
без прозы.

Александр КАБАНОВ

Украинский поэт, пишущий на русском языке. Родился в 1968 году в Херсоне. Окончил журфак Киевского университета.

Автор четырнадцати книг стихотворений и многочисленных публикаций в журнальной и газетной периодике. Лауреат «Русской премии», премии Antologia, Международной Волошинской премии, специальной премии «Московский счет», премий журналов «Новый мир», «Интерпоэзия», Международной литературной премии имени Великого князя Юрия Долгорукого и других. Стихи переведены на английский, немецкий, нидерландский, финский, польский, сербский, белорусский, грузинский и другие языки.

Главный редактор украинского журнала о современной культуре «ШО». Живет в Киеве.

СЛОВА, РОЖДЕННЫЕ ОСТАТЬСЯ...

* * *

Татьяне Ан

Сумасшедший почти на треть,
он крадется в ночи, как тать:
эту женщину рассмотреть –
эту живопись прочитывать.

Притягательнее всего
будет солнечная земля –
нарисованной для него
и намазанной для шмеля.

Сколько в меде увязнет крыл,
столько в мире подсохнет ран:
здесь в полете гудит акрил,
здесь на лодке плывет роман.

Оставайтесь над ним кружить,
разбавлять золотой водой,
в старом Утрехте надо жить,
и, как водится, молодой.

* * *

На слонах и черепах мир покоился, круглея,
он войной с любовью пах, будто темная аллея,

звонкая тускнела медь, плакал болтик в коленвале,
перед тем, как поймать, нас с тобою – одевали
и кормили на убой, и растили наши страхи,
помнишь: вечером – отбой, утром – суп из черепахи.

День – огромный рыжий куб, занят странною игрою:
ходит мертвый лесоруб по лесам с бензопилою,
и поет бензопила, и ревет о вечной дружбе,
я там был и ты была, нет, не по нужде – по службе,
и теперь, туды итить, мы единственные с вами
из умеющих ходить по слонам да с черепами!

Панцирь, панцирь, я – игла, надо мыслить позитивней:
глянь, пехота полегла, но еще белеют бивни,
дивны, господа, твои прогоревшие стартапы,
мы уснем, как соловьи над последней рюмкой граппы,
сквозь глазницы тишины, нам, родившимся во прахе –
улыбаются слоны, черепа и черепахи.

* * *

Был финал сотворения мая:
задыхаясь от быстрой ходьбы –
надо мной пролетела хромая,
кистепёрая птица судьбы.

Вот, на ком отдохнула природа,
и бугор объявил перекур:
на судьбе – с головою удода
и с фасадом ошипанных кур.

Пролетела, ногами касаясь,
и упала в чужой водоем,
я – шаман, вызывающий зависть:
зависть, зависть, как слышно, прием!

Маринуется солнце в закате,
едет, едет по вызову, к вам,
на электро-своем-самокате –
безответная зависть к словам.

С ней знакомы: успешный аграрий
и бездомный поэт от сохи,
ей понравится ваш комментарий,
но она – ненавидит стихи.

И не то чтобы это – большое,
как мечты инвалида труда,
а похоже на чувство двойное,
на медаль – золотая звезда.

По судьбе, по любви, по закону:
вам – венок или слава нужна,

ну, а мне, благородному дону,
ваша зависть – вторая жена.

Как бессмертный аналог соседки,
ваша зависть – милее стократ,
заряжаясь вином от розетки.
прислонился к стене самокат.

И обманутый маем нагретым,
я завидую только врачам,
дням, наполненным солнечным светом,
и обильным дождям по ночам.

Я завидую всяким знаменьям,
чудотворцам воды и огня,
всем стихам, что меня не заменят,
но останутся после меня.

* * *

Кто отдал в переработку
яблони озимый плод,
солнце, озеро и лодку,
кто пустил меня в расход?

Не заметив тонкой грани
между льдом и кипятком,
может, родина, по пьяни –
гибельным прошлась катком?

Не спеша, утрамбовала
в землю, в свежее говно,
чтоб меня осталось мало:
саша – хлебное зерно.

Не ячменная левкоя,
не пшеничный царь дубов,
саша – зернышко такое,
урожай на пять хлебов.

А быть может, я в порядке,
выжил и попал в струю:
на правительственной грядке –
верным пугалом стою?

В ожидании предтечи,
буду на исходе дней:
тайной рода, частью речи,
веткой яблони твоей.

* * *

Мне тошно от чего-угодных,
живущих в тренде новых слов,

а сколько их, красивых, модных –
из нашей речи сбросят в ров.

Казалось, ярких и любимых –
всем миром нищих и господ,
а в сущности – необходимых
тебе и мне всего на год.

А что останется над ними –
все те же старые слова,
эх, знал бы прикуп – жил бы в Риме,
женится, сдал бы на права,

закусывая, пил микстуры,
играл за деньги на трубе –
среди памяток архитектуры,
как памятник любви к тебе.

И это – не кряхтенье старца,
не странный замысел творца –
слова, рожденные остаться
с людьми до самого конца.

Просторный дом, вода в кувшине,
сирень, цветущая весной,
и бог, как слово на вершине,
собачий холод, летний зной,

дельфин и книга, царь и пушка,
добро и зло, пчелиный мед,
печаль, акация, кукушка...
кукушка? – ладно, пусть живет.

Александр ГРИГОРЬЕВ

Родился в 1973 году в Горьком. Окончил Нижегородский областной колледж культуры. С 1997 года работал журналистом в Нижнем Новгороде, на Сахалине, в Сибири, Перми, Санкт-Петербурге, Москве.
Живет в Перми.

МЫЛО

Дмитрию Александровичу Смирнову с любовью

1

По утрам Андрей Дмитриевич встает не сразу, он любит лежать неподвижно с открытыми глазами, ровно дыша через нос, терпеливо ожидая, когда прохрипит сиплый соседский петух. Только после этого он встает и идет умываться. В его деревенском доме всего одна комната, но просторная, единственная на все Павлиново с шестью окнами. После туалета Сахаров ставит чайник, колет три яйца на сковороду и садится на табурет. Курит он на кухонке в форточку, если холодно, если же тепло, то на крыльце.

На пороге пятидесятилетия коренной нижегородец Андрей Дмитриевич внезапно стал сельским жителем, в один день на грузовой «газели» перебравшись к давнишнему старшему другу Панченко. С лета 2020-го, то есть с разгара пандемии коронавируса, друзья живут бок о бок, деля один забор.

Анатолий Павлинович восемь лет как ведет самостоятельно хозяйство, мирно расставшись с женой и родным Нижним Новгородом. Дети его – старшая Лена и младший Леонид – уехали учиться в Питер. Панченко выбрал Павлиново наугад, изучая карту области. Понравилось название.

– Батю покойника чем-то напоминает.

54-летний мужчина отличается кипучей юношескою энергией, он все время придумывает себе занятия с целью заработка, однако до прошлого года все у него шло ни шатко ни валко. Выручила чуткая старуха-мать – она тихо умерла, он аккуратно вступил в наследство, продал ее квартиру в исторической части Нижнего Новгорода и продолжил безмятежно жить, в том числе и с процентов от солидного вклада. Зимой лысеющий блондин плел корзины, с весны до осени рыбачил,

собирал грибы и ягоды, а всю добычу, оставшуюся после засолки, продавал на трассе.

По меркам павлиновских жителей Панченко был крепкий середняк. Кулаком, выражаясь старыми советскими терминами, он стал с появлением интеллигентного Андрея Дмитриевича, с виду вялого молчаливого мужчины высокого роста с красивым греческим лицом и черными волосами, местами покрывшимися сединой. Посадим на сахаровский нос изящные дорогие очки, заказанные через интернет в итальянском салоне, и получим самого нетипичного обитателя деревни. В отличие от него, Анатолий Павлинович «омужичился» в первую же зиму по переезде из города – стал сутулиться, гнать сорокаградусную настойку «Павлиновка», круглый год ходить в тельняшке, кроме того, он отпустил бороду до шрама от вырезанного аппендикса и регулярно с наслаждением отлучался в двухнедельные запои. Но все, повторюсь, изменилось с исходом из Нижнего Новгорода Андрея Дмитриевича.

Фамилию Сахаров он взял лишь в 2014 году, до этого владелец небольшого мебельного бизнеса был Захаровым. Виной всему возвращение Крыма в состав России – Андрей Дмитриевич и тогда, и позже осуждал «вероломство» российского государства. Сменив литеру З на С и став полным тезкой знаменитому создателю водородной бомбы и борцу за демократизацию отечества, либерально настроенный нижегородец удвоил свои пожертвования фонду Алексея Навального и долго довольно агрессивно вел себя в Фейсбуке, пока однажды к нему не пришли побеседовать сотрудники не распознанной им по растерянности силовой структуры. Он еще пару лет возмущался режимом, но как-то спустя рукава, без огонька, а к 2020 году соцсети ему искренне надоели, и в этот раз спецслужбы были ни при чем (его слова). Прибавить к этому несколько неудачных микроскопических романов с женщинами со схожими политическими взглядами, и станет ясно, почему Андрей Дмитриевич сделал горький вывод, что семье ему не сколотить и Навального на посту главы Российской Федерации точно не дожидаться. У него скопились кое-какие сбережения, на текущие расходы деньжата всегда водились, а политика больше не теребила ему сердечко своими грязными ногтями. Тогда он удалил аккаунты везде, где только они были, оставил бизнес на сестру и ее мужа, купил за смешную сумму домик около Панченко и занялся вместе с Анатолом (он звал Анатолия Павлиновича на французский манер Анатолем, «Анатолий, половинь, пожалуйста!») новым неизведанным делом.

– Будем варить мыло, – заявил он другу, когда обмывали покупку сахаровского дома.

– Мыло?

– Да. Детское, дегтярное, семейное, но это так, для прикрытия, мелочовка, основная прибыль будет идти от сбыта эксклюзивного экологически чистого на травках мыла для геев.

– Для педерастов, что ли?

– Для геев, Анатолий. Для очень богатых и чистоплотных геев. У нас будет гениальный стартап. Мыло с шиповником, мыло с мятой, с чабрецом, на иван-чае, да мало ли на чем, что, у нас в районе травы мало? Много!

– Да!

– И упаковка будет стильная, дизайн модный. Я все продумал. А бренд ну просто убойный, только послушай – «Эконевидаль».

– Господи, ты гений. Эко и невидаль. Чудо просто! Но если в деревне узнают, что мы голубых обслуживаем, то не поймут, руки не подадут никогда больше. У нас тут православные коммунисты.

– Да?

– Да. Им что Христос, что Сталин. Все праздники пьют, и христианские, и советские.

– Для всех мы варим семейное мыло, невинное, православно-коммунистическое тоже можем. А гей-мыло – это наша с тобой страшная тайна. Прикинь, у нас в vip-клиентах будут Киркоров, Басков, Галкин, кто там еще?

– Элтон Джон.

– Да! Обязательно за границу наладим поставки. Я буду вести чудовищно популярный инстаграм. Чудовищно популярный инстаграм, запомни мои слова.

– Озолотимся!

– Так а я про что. За «Эконевидадь»!

– За «Эконевидадь»!

Прежде, чем приступить к описанию собственно истории, приключившейся в Павлинове летом 2021 года, постараюсь кратко рассказать об отношениях Андрея Дмитриевича с женщиной по имени Фира. Именно она, Фира Иванова (в девичестве Эсфирь Бах), косвенно послужила катализатором тех событий, которые легли в основу моего рассказа.

Еще будучи Захаровым, Сахаров полюбил женщину с сайта Стихи.ру. Он сам никогда не писал стихов, но любил поэзию. В мебельном магазине и на складе сотрудники его конторы частенько посмеивались над ним, когда он вдруг засыпал над очередной книжкой и ронял ее на пол – в стружки или в листки сопроводительных накладных.

Фира Иванова также не писала стихов, но активно до последних лет комментировала произведения самодеятельных авторов. Чувствовалось, что она разбиралась в стихосложении, она сыпала цитатами не только из классиков, но и из малознакомых критиков прошлого столетия. В общем, Фира покорила Захарова. Он стал ежедневно мониторить ее коменты. Так продолжалось с 2005 по 2010 год. За пять лет Андрей Дмитриевич безнадежно влюбился, но никак не мог решиться написать Ивановой, назначить встречу или что-либо в таком духе. Он просто поддакивал ей в комментариях. И все же, в конце концов, в одной из веток сайта под дрянной поэмой ничтожного плагиатора он попросил у нее адрес личной электронной почты.

С 2011 года Захаров и Иванова стали переписываться «по мылу». Нетрудно догадаться, что о своих чувствах он ей ничего не писал. Робел. Зато за 10 лет он узнал много о «прекрасной даме». О том, что ее муж – известный в своей области ученый, специалист по древним языкам. О том, что у них нет детей и, скорее всего, уже не будет. О том, что Иванов старше ее на 20 лет и ему в 2021-м исполнится 58, «но все равно он милый».

Накануне 8 Марта описываемого года Сахаров решил во что бы то ни стало встретиться с женщиной, которую любил, хотя не видел даже ее фотографии – только аватарку в виде бурой лисицы в Яндекс.почте. Второго августа он запланировал скромно отметить 50-летний юбилей. 8 же марта он пригласил Фиру на праздник. Постскрипtum, давший

очень нелегко Андрею Дмитриевичу, гласил: «Можно с мужем. Борису Николаевичу все будут тоже очень рады».

- Так и не ответила до сих пор, Захаров?
- Сахаров!
- Прости.
- Нет, пропала.
- Напиши еще раз.
- Не буду. Я отлично ее изучил за столько лет. Молчит – значит, есть весомая причина.
- Чепуха. Баба есть баба. Надо ее дожимать. Сама потом спасибо скажет. Неужели ей не интересно увидеть тебя живьем?
- Мы обсуждали возможность встречи, даже не раз. Но в шутку, не всерьез.
- Пошли ей фото. Давай я тебя с Нинкой сфотографирую.
- С твоей козой?
- А что? Она симпатичная.
- Нет. Фирочка из Москвы в нашу глушь не поедет. Все бесполезно.
- Глупо как-то, тебе не кажется?
- Не знаю. Сегодня закончим с упаковкой?
- Думаю, да. Завтра на почту. Все хорошо будет, Андрей.
- Нет, конечно.

И вдруг 25 мая в ноутбуке Сахарова брякнуло оповещение. На почте появился ответ от Фиры: «Приеду».

Андрей Дмитриевич был настолько ошеломлен, что попросил у Панченко день на отдых от мыловарения и ушел с удочкой на озеро, где и кормил комаров до поздней зорьки, не веря в свое счастье.

– Она приедет, – в сотый или двухсотый раз повторял он, роняя червя на землю. – Она приедет.

2

Павлиново разделяет река Колобьяка – большая часть домов стоит по правому берегу, добротные кирпичные с газопроводом, а четыре старых деревянных домика располагаются на левом берегу, в каждом лишь печное отопление. «Кирпичи» и «деревяшки» – так себя и называют жители Павлинови. У кирпичей есть блага цивилизации в виде магазина и остановки автобуса, зато за домиками деревяшек лес, где находится живописное озеро. По негласным законам деревенской жизни кирпичи купаются исключительно в Колобьяке, а деревяшки – в безымянном водоеме.

– Иисус! Иисус!

Сахаров на мгновение отвлекся от мыслей про Фиру. Женский крик повторился.

– Иисус! Иисус!

Не обращая внимания на вопли и смотав удочку, Андрей Дмитриевич пошел домой. От озера по лесной тропе ходу не больше 15 минут. Крики продолжались, но было понятно, что женщина удаляется вглубь леса, оттого они были слышны все меньше. До дня рождения больше двух месяцев, рассуждал Сахаров, я все до мелочей продумаю, Фирочка на всю жизнь запомнит поездку ко мне.

На лавке у своего дома сидел Панченко, рядом лежала коза Нина.

– Иисусиху видел?

- Только слышал. Опять загулял?
- Похоже.
- А где он вино взял? Ты, что ли, дал?
- Да.
- Ну ты что делаешь, Анатоль!
- Потому что пришел, ноет и ноет, плесни да плесни. Я ему дал пузырь в долг, лишь бы отстал, непутевый.
- Понятно.
- Он, видать, тайком от жены все выглохтал за один раз. Потом, знамо дело, понесся за добавкой. Знает, что я не дам. А может, топиться.
- Иисус не такой. Хороший мужик, зачем ему топиться.
- В душе, как говорится, ни бу-бу. Но Иисусиха его лучше знает. В лес побежала.
- На озере я один был. Комары еще.
- Всю мазюколку истратил?
- Ага. Завтра схожу в магазин, у Надежды мазюколки много было. Они закурили. Солнце садилось.
- Глянь, Анатоль.
- Иисусята папку волокут.
- Она его бьет, как думаешь?
- Вряд ли.
- А в руке палка.
- Кусты раздвигала в лесу. Никто его не бьет, я бы знал. Я с Иисусихой как брат и сестра уже. Она бы рассказала.
- Мимо Сахарова и Панченко двое подростков молча волоком тащили спящего пьяного отца. Мать, женщина лет сорока, «худощавая, но с полными ногами», семенила метрах в десяти позади.
- Устала? – поинтересовался Анатолий Павлинович.
- А то.
- Куда его черти носили?
- Кто же его знает, я его нашла на проселочной, спал у муравейника.
- Муравьи, говорят, полезные. Лечат всякие болезни.
- Шутишь?
- Так говорят...
- Иисусята с матерью и отцом скрылись за забором дома Панченко. Андрей Дмитриевич бросил окурок в банку из-под консервов.
- Анатоль, почему Иисуса зовут Иисусом?
- Не знаю. Надо у него спросить, как проспится.
- Я давно хотел, да неудобно.
- Давай я спрошу. Как проспится, конечно.

3

Население Павлинова состоит преимущественно из крестьян в пятом-десятом поколении. Но есть и переселенцы. Кроме Панченко и Сахарова уроженцами Нижнего Новгорода являются Иисус с Иисусихой, обитатель четвертого по левобережью дома инвалид-почечник Николай по прозвищу Википедик и его пожилая мать тетка Фрося, соответственно Википедия. Тот, кто бывал в российских селах, знает, что прозвища у нас даются легко, а приклеиваются они навечно, словно клеем «Момент» намазанные. Конечно, бывают исключения – Анатолия Павлиновича и Андрея Дмитриевича называют только по фамилии. Как говорит Википедик, просто удобный случай еще не подвернулся.

Мое пребывание в Павлинове началось в июне, когда в области установилась аномальная жара. Я разбил большую армейскую палатку между деревьями и лесом на поляне, где под палящим солнцем изредка появлялась только коза Нина. Я третье лето проводил так, относительно дикарем, хотя мой давнишний товарищ Толя Панченко всегда готов предоставить комнату и кровать. Видимо, под полтинник в голове у определенных лиц случаются серьезные сдвиги: вот Сахаров сбежал из города и стал варить мыло, я пока далек от переезда, но три месяца в году живу в деревне. Работаю на удаленке, ноутбук, интернет в мобильном, очень удобно. За это время я внимательно изучил местность, близко сошелся со всеми жителями левобережья да и с кирпичным людом у меня не было трений. Некоторые из них очень меня интересовали как писателя. Например, обитатель дома на отшибе правобережья бывший милиционер Матросов. По словам всезнающего Википедика, Геннадия выжили в конце 90-х из органов за то, что единственный не брал взятки, чем раздражал коллег и вызывал опасения у взяточников в кожаных креслах – не сдаст ли в один день, не напишет ли служебное письмо куда-нибудь в областное ГУВД. Сам Геннадий про увольнение из милиции никогда не говорил.

Так или иначе, в 2000 году, не дождавшись ранней пенсии, Геннадий Матросов с женой Ольгой и детьми школьного возраста Петей и Наташей уезжает из районного центра в Павлиново, покупает дом и участок на окраине, практически на дороге, и становится вольным фермером. Так он себя и сейчас называет. В первые годы на остаток денег от проданного в районе жилья Геннадий купил корову и кур. Но корова попалась больная, молока не давала, куры тоже хворали поголовно и не неслись. Эйфория от фермерства сначала прошла у супруги. Огород выручал, но на продажу ничего не было, только чтобы прокормиться. Матросовы бросили курить и употреблять алкоголь в целях экономии. Подрастали дети, надо было отправлять их учиться, а финансы пели жалобно, как их лысая кошка, купленная некогда для выгодной продажи котят. Но сфинкса не с кем было спаривать, ближайший кот был в Варнавине, но он был старик и не хотел заниматься сексом, и в конце концов матросовская кошка сильно заболела. Сейчас это облезлое несчастное существо, которое в 35-градусную жару целыми днями лежит под одеялом и мелко дрожит.

Помимо неудачи с кошкой, которой даже не придумали собственное имя, Матросовы прогорели с разведением каких-то уникальных рыбок, и в 500-литровом аквариуме теперь они хранят старую обувь и всякую рванину из одежды. Рыбки, купленные за большие деньги, очень быстро сдохли, тоже не проявив способностей размножаться. Тогда Ольга предложила мужу разводить французских бульдогов, вроде бы очень востребованную у городских собачников породу. Геннадий прикинул, что в их районе у всех только овчарки да лайки из благородных пород и бульдожек будут расхватывать как горячие шанги. Матросовы отправились в Санкт-Петербург, где за неимением лишних денег три дня жили за городом на траве у какого-то болотца, благо было засушливое время года.

Два из трех щенков умерли, стоило им оказаться в частном доме с протекающей крышей и полным грязи двориком, где хаотично носились куры, так и не желавшие нести яйца. Третий пес выжил, но через пару лет его пришлось посадить на цепь – он вырос тупым, непослушным бульдогом с отвисшей кожей, покрытой язвами. В районе для Фердинанда

не нашлось ни одной подружки для вязки. Мне очень жаль этого славного парня на цепи, он фантастически глуп, но разве виноват, что его щенком из культурной столицы России вывезли в хозяйственной сумке в далекое от цивилизации Павлиново?

Кроме того, у Матросовых в коробках живут и умирают больные утки. Парадокс в том, что дочь Геннадия и Ольги выучилась на ветеринара, однако и она не в силах понять, почему все вокруг болеют и умирают. К 2021 году Наташа ни разу не была замужем, но оставила на содержание родителей трех сыновей от разных отцов, укатила куда-то в Киров и не приезжает уже больше года. В отличие от сестры, Петя женился, имеет двух дочерей и проживает в городе химиков Дзержинске. В неблагополучный дом детства его не тянет совершенно.

Однако я отвлекся.

4

Мыловарение компаньонам поначалу принесло много радости, но мало денег. Для блезира Панченко и Сахаров регулярно изготавливали крупные партии детского мыла «Павлик», банного «Семейное счастье» и дегтярного «Дегтярное». Первым делом они обошли все дома в деревни и каждому жителю подарили по куску мыла в красивой упаковке из крафтовой бумаги. Жители удивились, но никто не отказался от халявы. В течение ковидного 2020 года друзья за копейки сбывали мыло в магазине у себя и в близлежащих селах. В район не возили, в Нижний за триста верст тоже. Цель была достигнута – местное население поверило, что два чудака занимаются невыгодным, но безобидным хобби. Что же касается мыла для геев, то оно варилось исключительно по ночам и маленькими партиями. Осенью Сахаров уехал в Москву к товарищу по армии, занимающего должность заместителя директора в одном из информационных сайтов, близких к мэру Собянину. Армейский друг изумился визиту Андрея Дмитриевича и его неожиданным дотошным вопросам о столичных геях. В итоге Сахаров по подаренному списку адресов посетил ряд специфических клубов и оставил управляющим в качестве презента по нескольку коробок своей специфической продукции.

В линейке фирмы «Эконевидаль», к слову, нигде не зарегистрированной и не имеющей юридического лица, имеется заметное разнообразие товаров. Есть мыло для одиноких мужчин «Заходи» (прополис и хмель). Для влюбленных пар «Оргазм» (иван-чай) и «Двойной оргазм» (иван-чай и шиповник). Подарочный набор для солидных мужчин в возрасте «Альфа-самец» (табак, перец и шалфей) и для бисексуалов, трансвеститов и тому подобных личностей – мыло «В жопу» (разнотравье).

– Грубо «В жопу», – как-то заметил я моим товарищам. Но Сахаров уверен, что один продукт непременно должен быть дерзким, вызывающим.

– Кто-то ради прикола купит и подарит другу, кто-то себе возьмет, пусть в качестве шутки, лишь бы покупали.

Реальные продажи начались ближе к новому 2021 году. Инстаграм «Эконевидаль» быстро набирал популярность. Уже весной у павлиновских мыловаров появились постоянные заказчики. Если обычная продукция шла на продажу по 50–100 рублей, то геи (или те, кто работал с геями, дружил) переводили на карту Сахарова по 1000 рублей за один кусок, а за подарочный набор – все 5000.

– Такие люди оскорбятся тратить на себя полтинники и сотки, они готовы платить много за эксклюзив и удовольствие, – уверял Андрей, и мы только кивали головами.

Конспиратор Сахаров не рискует палить адреса клиентов на почте в райцентре и все «голубые» посылки отвозит в Нижний Новгород, причем отправляет по две-три в одном отделении, пять-шесть в другом, остатки в третьем. Чтобы не примелькаться, не вызвать подозрений, он никогда еще не возвращался на одну и ту же почту.

– Хваленая Гейропа подводит, – жаловался мне как-то Панченко. – Андрюха строчит им в интернете, дескать, так и так, но пока молчат. Не доверяют. Наверное, думают, что мы провокаторы из ФСБ.

Современные писатели, насколько я могу судить, всерьез страдают от сотовой связи и особенно интернета. Видимо, поэтому все время пытаются загнать своих героев в глушь, перенести действие куда-то подальше от вышек МТС и «Билайна». Ну что поделывать, если дозвониться до скорой, полиции и любой другой службы ничего не стоит – был бы мобильник заряжен. Приходится выкручиваться – создавать искусственные преграды. Мне это глаза режет, например.

Опять отвлекся. Сорян.

В Павлинове связь отличная, но только у одного оператора. Правда, интернетом, кроме Сахарова и Википедика, никто не пользуется, потому что значительная часть жителей пенсионеры на кнопочных «нокиях» и «алкателях», а у подростков, вроде иисусят, могли бы быть сенсорные, а не кнопочные, но у родителей нет лишних денег. Википедик и прослыл Википедиком из-за интернета, на который он тратит пенсию, заказывая всякое барахло с «Алиэкспресс» – фонарики, молоточки и т. д. Пить ему нельзя, ест он плохо, хотел было уже жениться, да промазал. Одно время он пытался весьма романтично ухаживать за продавщицей Надеждой, но уступил в неравной борьбе 60-летнему армянину Хорену – тот овдовел несколько лет назад и через пару месяцев сделал предложение работнице магазина, она согласилась, тем более что коммерческая лавка принадлежала ему, чего от своего счастья и работы бегать, решила женщина.

Начался чемпионат Европы по футболу. Иисус вытащил телевизор во двор, и к нему вечерами сбредались все деревяшки. Захаживал и я. Ночью после позорного поражения нашей сборной от бельгийцев я, вернувшись в палатку, обнаружил в ней девушку. Я тронул ее за плечо – она спала. Лег рядом, вскоре стало тепло, я вспомнил жену, с которой в разводе, и первые годы нашей жизни. Стало еще теплее.

5

Следующим утром, 13 июня, Панченко собрался косить во дворе и зашел к Сахарову за триммером. Андрей Дмитриевич, вопреки обыкновению рано вставать по сигналу того самого сиплого соседского пестуха, все еще лежал на кровати.

– Анатоль, мне сейчас такой сон был.

– Я косить решил.

– Мне снилось, что я редактор сайта Стихи.ру, а Фира – мой заместитель. Я откинулся в кресле, а она сидит на столе, закинув ногу на ногу. На мне летние легкие брюки, какие я с Кубы привез, ну, ты видел их.

– Помню, да.

– Брюки тончайшие и такая же футболка с портретом Алексея Анатольевича Навального. На Фире – короткая юбочка серого цвета в тоненькую серебряную полоску. Рубашка белоснежная без рукавов расстегнута, виден бюстгальтер такой же белый-белый.

– Я триммер возьму на полчаса?

– Да. Но дослушай же, демон!

– Ладно.

– Она написала статью для начинающих поэтов и просит меня посмотреть до публикации на сайте. А сама туфелькой как бы случайно касается моего колена. Тук-тук, тук-тук.

– У тебя, конечно, встал.

– Эрекция была как у 18-летнего солдата. Ну, ты меня понимаешь?

– Понимаю, но уже плохо помню.

– И вдруг Фира пальчиком стала водить по члену туда-сюда, туда-сюда.

– Пальчиком ноги?

– Руки!

– А вы в кабинете одни?

– Абсолютно. Представь, как я напрягся, какое удовольствие, боюсь, как бы брюки не испачкать раньше времени. И тут Фира нагибается ко мне и целует в щеку, я весь трясусь, прикинь, Анатолий! А затем она присаживается на меня. У меня тело ходуном, как отбойный молоток. Можно было мной асфальт долбить. И тут я просыпаюсь от того, что подо мной ломается кровать.

– Вот эта?

– А какая еще! Фира была во сне, а трясло меня в реальности. На, посмотри.

Андрей Дмитриевич встал, Панченко заглянул – кровать действительно подломана.

– Не критично.

– Конечно, не критично. Но сам факт! Ломаю мебель от любви.

– Прикол, ага.

– Черствое у тебя сердце, да и фантазии, похоже, ноль.

– Я возьму триммер на полчаса?

– Да забирай хоть навсегда.

Анатолий Павлинович ушел косить, разозлившийся на равнодушно-го друга Сахаров отправился умываться, прокручивая в голове ошеломившее его видение.

Андрея я знал много лет, но особенно близки мы никогда не были. Не понимаю даже почему. Тем не менее я всегда с интересом слушал его рассказы про их отношения с загадочной Фирой из Москвы. Теперь, когда она должна была приехать на его юбилей, интерес мой как писателя, разумеется, еще больше возрос.

В моей же палатке так и спала неизвестная девушка. Палатка, напомню, у меня армейская, места много, я прекрасно выспался, а около восьми часов утра стал готовить завтрак. Про молоденькую соседку я даже не думал, потому что был уверен, что это одна из кирпичей, чья-то внучка городская заплутала в темноте и свалилась от усталости. Мы бы заприметили, сидя во дворе у Иисуса ночью, чужую компанию. Один его пес Тимофей за километр чует незваных гостей. Но их не было.

Когда тушенка была размазана ровным слоем на шесть кусков хлеба, а листья смородины настоялись в походном чайнике, вышла незнакомка. Я ошибся, ей было за тридцать.

– Здравствуйте. Как на новом месте спится? – как можно дружелюбнее поинтересовался я.

– Простите за вторжение, я сейчас уйду, только найду рюкзак, он где-то недалеко в лесу должен быть.

Она пошла на опушку, по дороге, закручивая волосы в пучок, или как это у женщин называется, когда все на макушке на заколку заделано. На ней была майка без рукавов желтого цвета и джинсовые шорты до колен, кроссовки. Среднего роста, среднего сложения, без признаков ожирения, но не тощая. На внешность немецкая певица Сандра из моих школьных лет, бывшая солистка девчачьей группы «Арабеска». Ну не Фира же, подумал я, рано для Фиры.

– На поляне нашла, так вчера устала, что, увидев палатку, бросила и рюкзак, и фонарик. Ой, и маску посеяла. Но я переболела коронавирусом зимой.

– Присаживайтесь.

– Спасибо. Меня Фира зовут. Фира Иванова, имя редкое, зато фамилия распространенная.

– Саша.

– А по отчеству?

– Не такой уж я старик. Мне 47 лет.

– Вкусные бутерброды! Йошкар-Ола? Лучшая в мире тушенка.

Вот это неожиданный поворот, думал я, прихлебывая из модной эмалированной кружки.

– Почему же вы в июне приехали?

– Пришла! Двадцать километров пешком. Нет, деньги у меня есть, но пришлось пешком.

– Он ждет вас в августе.

– Кто?

– Андрей Дмитриевич.

– Вы его знаете?

– Много лет. Когда он еще Захаровым был.

– Так, значит, это Павлиново за полем?

– Естественно.

– Вот и славно, Александр.

– Вы не ответили, Эсфирь.

– Не надо, пожалуйста. Фира я.

– Хорошо, Фира.

– Да я бы с радостью на юбилей Андрюши приехала, но у мужа трехлетний контракт в Израиле наметился, в середине июля поедем иудейские древности изучать на месте. Вот я и решила повидаться с другом по переписке до отъезда. Раз уж вы в курсе нашей переписки.

– Ну как в курсе. В общих чертах. Мы же товарищи, Андрей Дмитриевич корректно и крайне уважительно говорил о вас. Про вашу виртуальную дружбу на почве любви к поэзии.

– Он хороший человек.

– Очень.

– Муж только бесится. Догнал меня. Я в Нижнем Новгороде три дня в гостинице жила, красивый город, я влюбилась в его кремль и набережные! Так вот, Борис Николаевич, муж мой, примчался в отель, умолял вернуться в Москву и напел черт знает что про опасность деревенских мужиков. Поругались. Я на такси рванула в Павлиново, он на такси за мной.

– Вот это боевик!

– За двадцать километров, ну, вы знаете, наверное, заправка, так я с таксистом расплатилась и бегом в лес. Супруг орал, звал меня, звонил без конца, но я вырубил айфон. Сначала посмотрела ориентиры по навигатору, разумеется, а потом вырубил. И вот я у цели. Как говорила моя бабушка, все Фиры и Веры дуры без меры.

Она улыбалась. Мне показалось, что она была оглушительно счастлива.

– Моя девичья фамилия Бах, ручей по-немецки, – продолжала Фира, перебирая вещи в рюкзаке. – Вот я и журчу по жизни. Работаю на удаленке корректором. Ошибки за писателями подчищаю, запятые, это называется у нас отлавливанием блох. Вы не писатель?

– Нет, – соврал я, не моргнув, и вообще не осознав сразу, что за чем-то соврал.

– Вообще-то я несколько лет в школе проработала учителем литературы. Но устала от детей, да и от педагогов тоже. Как вы думаете, Андрюша обрадуется мне?

– Разумеется. Только он ждал вас в августе. К празднику. Он очень серьезно готовится, честно говоря. Грандиозное мероприятие задумал. Мы тоже с товарищами планируем его удивить второго августа.

– Но первой удивлю я! – и Фира беззаботно рассмеялась.

– Боюсь, что он расстроится. Знаете что, давайте-ка отложим немного ваш визит, подумаем, как все обставить, ведь наш общий друг очень ранимый человек. Вы знаете, что он ранимый?

– Никогда не думала об этом.

– А я знаю. Отложите рюкзак, отложите.

– Ну хорошо. Кстати, а где у вас туалет?

– Пописать на поляне можно, тут кроме меня практически никого не бывает. Жара, влага травмам только на пользу.

– А, пардон, покакать?

– Можно в лес. Обычно я хожу в сортир Андрея Дмитриевича, на дворе у него прекрасное сооружение, стопка журналов «Иностранная литература»...

– Прекрасно. Свалиться как снег на голову и первым делом запереться в туалете. Извини, Андрюша, иначе наделаю тебе прямо на крыльце.

– Вам срочно нужно или потерпите?

– Потерплю.

Подошла коза. Фира потрепала ее.

– Надо будет сфотографироваться с красивым животным, но не хочу сейчас включать айфон, муж замучает.

– Я думал, что вы брюнетка.

– Не все еврейки черноволосые. Шатенка, да. Интересно, какой меня представляет Андрюша. Носатой, волосатой, с небритыми ногами?

– Не знаю.

– Вдруг я ему не понравлюсь.

– А вы хотите ему понравиться?

– Я женщина.

– Понравитесь, не волнуйтесь.

– И бани у вас нет.

– В деревне в каждом дворе баня, на этот счет вообще не переживайте. А пока с дороги можно в озере искупаться. К десяти утра солнце будет печь невыносимо.

– А я и не подумала про купальник! Все Фиры и Веры дуры без меры.

– Там никого нет. Иисусята в обед купаются.

- Кто?
- Дети Иисуса.

Фира удивленно подняла брови, но ничего не сказала. Я же не успел объяснить, в сторону палатки шел Википедик.

– Прячьтесь! – крикнул я и затолкал женщину на дальнее спальное место. Потом направился навстречу Николаю, чтобы не дать обнаружить Фиру.

- Санечек, привет!
- Здорово, Колян!
- Я за тобой.
- Что случилось?

– Представляешь, приехал на такси какой-то мужик чокнутый, то кричит, то плачет, то угрожает. Панченко с Сахаровым с ним полчаса уже грызутся.

- А что мужику надо?
- Жену ищет.
- У нас?

– У Андрея Дмитриевича, если конкретно. Говорит, что он ее укрывает в своем доме.

- Что за бред.

– Вот именно! Мужик нервный, наши парни тоже разозлились. Пойдем, мало ли что.

- А таксист уехал?

– Нет, в теньке валяется. Ему наплевать на все, ему еще обратно везти безумного дядю.

- Только палатку закрою.
- От кого?
- Привычка.

Пока мы шли по поляне, я несколько раз оборачивался. Фира не выходила, она наверняка слышала наш разговор.

- Умница, – вырвалось у меня нечаянно.
- Кто? – тут же отозвался Википедик.

– Коза. Траву щиплет, а еду не трогает. У меня там чай, все такое.

Википедик пожал плечами и не высказал мнения относительно умной козы.

– Матросовы с моей подачи решили мини-пигов разводить, я в Википедии все прочитал, должны прижиться.

- Коля, Коля...

– Опа, кажется, Панченко завалил мужика, в челюсть ему зарядил!

Я бросился бежать, всезнайка поспешил за мной. Но драки не случилось. Пока бежали, муж Фиры сел в такси и уехал. Панченко был вне себя и кружил около палисадника сахаровского дома. Он был потный, злой, ругался матом, и Андрей Дмитриевич окатил его из черпака водой. Анатолий Павлинович сел на скамейку, затаился и замолчал.

– Вот, Саня, какие бывают в жизни удивительные события, – сказал в мою сторону Сахаров. – Детектив, йошкин кот.

Он был настолько интеллигентным, что никогда не употреблял нецензурных слов. Даже в армии, говорит, и я ему верю. Однажды мы втроем помогли его маме избавиться от старой мебели, выносить надо было с девятого этажа, и не все помещалось в лифт. Когда мы с Сахаровым (тогда еще Захаровым, конечно) не удержали громоздкий холодильник, и он упал на Панченко, придавив ему левую ступню, то Анатолий Павлинович от нестерпимой боли заорал «да...!». Мама

Андрея наблюдала картину с лестничной клетки и в момент дикого вопля в ужасе закрыла лицо руками и зарыдала. Ей стало дурно, и пришлось вызвать скорую помощь. Врачу она призналась, что упала в обморок только оттого, что в шоке, что ее сын дружит с матерщинником. Нога несчастного Панченко ее совершенно не заинтересовала.

6

Не дойдя трех шагов до палатки, я наступил на довольно крупную кучку. Неужели Фира? Нет, коза. Пришлось снять кроссовки и помыть их водой из канистры. За водой я хожу на колодец в деревню, беру обычно по две на день. Можно было бы и больше, но в жару жидкость – кому я объясняю! – быстро нагревается. Лучше лишний раз дойти до Анатолия Павлиновича за ледяной.

– Приезжал ваш муж.

– Я догадалась.

Она передела желтую футболку. Теперь на ней была черная майка с надписью KING LEO и оттиском физиономии Льва Толстого. Граф карикатурно хмурился между грудей и в шутку грозил пальцем.

– Как отреагировал Андрей?

– Он в растерянности. По-моему, вам стоит проверить почтовый ящик, наверняка Сахаров написал вам.

– Написал.

– И что пишет?

– Что в шоке от визита Бориса Николаевича, опасается, что тот вернется с полицией.

– Логично.

– Да я уже позвонила мужу, сказала, чтоб ждал меня в отеле, что собираюсь домой. Испортил мне поездку, засранец. Пришлось пригрозить разводом, пусть катится один в Израиль.

– Как же Андрей Дмитриевич?

– Зайду, разумеется. Однако настроения нет совершенно. Старый идиот!

– Давайте сходим на озеро.

– Я без купальника.

– Шорты на месте. По колено постоим в воде, оно целебное, между прочим, – вновь соврал я, вновь сам того не ожидая. – В нем древняя энергия мордвы, если верить преданию.

– Что за чепуха.

– Пойдемте, хуже не будет.

В лесу в тени деревьев было легче дышать. Фира напевала то одну, то другую песню, негромко и раздраженно. Я понимал, что она думает о ревнивом муже.

Hey, Jude! Don't make it bad!

Я подпел, потому что тоже люблю «битлов», хотя не так восторженно, как в детстве, когда батя крутил контрабандные пластинки и учил меня танцевать рок-н-ролл. Тщетно, увы.

Take a sad song and make it better.
Remember, to let her into your heart,
Then you can start to make it better...

На берегу озера я скинул джинсы и рубашку, подтянул плавки и зашел в воду по колена. Фира встала рядом.

– Господи, как хорошо, – сказала она, и на ее лице я снова увидел улыбку.

Метрах в тридцати от нас, левее отмели, появилась из воды голова. Потом исчезла и снова появилась, но уже гораздо ближе. Я без очков плохо вижу, не разобрал с первого раза, кто ныряет. Вскоре голова была уже в десяти метрах от нас.

– Кто это, Александр?

Голова, молча, торчала из воды. Я напряг зрение, прикрыл глаза ладонью.

– Иисус.

Голова скрылась под водой.

– Вы издеваетесь? – возмутилась Фира. – Кто это!

– Иисус. Наш, павлиновский.

– И дети у него есть?

– Двое.

– И жена?

– Естественно.

– Мария Магдалина?

– Елена Петровна.

– А Сатаны в деревне нет случайно?

– Я же не виноват, что Диму прозвали Иисусом.

Тем временем, сосед вышел на берег. Он был мокрый и голый. Волосы, заправленные в хвост, доходили ему до поясицы. Иисус потряс головой, как это делают собаки, выбравшись на сушу.

– Пипец, – негромко сказала Фира и толкнула меня в бок.

Иисус ловко встал на руки и стал двигаться вниз головой в нашу сторону. Иногда он делал круг на месте, и тогда мошонка мелко тряслась, смущая женщину.

– Скажите ему, чтобы трусы надел, – прошипела она мне и потянула за руку. Мы выскочили на траву, она легла на полотенце. Ничего не оставалось делать, как пойти к приятелю, чтобы сгладить ситуацию.

– Иисус! Остановись, пожалуйста. Ну что за цирковое представление. Девушку испугал.

Он сделал еще три шага, затем упал на землю, быстро встал и бегом убежал прочь. Я видел, как вдали он подобрал и нацепил штаны и также бегом направился в лес по тропе, напрямую ведущей к деревяшкам.

– Можно вопрос?

– Да, Александр.

– Почему вы не пишете стихи?

– Не умею. Но очень люблю поэзию.

– Странно.

– Нет, само собой, в подростковом возрасте я пыталась, потом поняла, что не смогу как Цветаева, Ахматова, даже как Ахмадулина, и бросила. А вы пишете?

– В армии парням в альбомах сочинял всякую чепуху юношескую. Дальше не пошло.

– Кто вы по профессии?

– Сложный вопрос. Бездельник, если честно. Пользуюсь тем, что оставили бабушка с дедушкой, разные тетки. Сдаю квартиры, в общем. У меня три в найме, одна для меня. Лето в деревне.

– В палатке у вас уютно.

– Вы знаете, Фира, я плохой турист. Дрова еще наколоть могу, ужин приготовить, но вот баню походную соорудить нормально никогда не смогу.

– Так их в деревне полно, правильно?

– Правильно.

– А жена у вас есть? Дети?

– Дочка. Я в разводе. Привык жить один. Но дочку люблю, вижу регулярно. Не подумайте, в этом плане я всем отцам отец.

– Я ничего такого не думаю. Вроде ваш чокнутый нудист не возвращается. Отвернитесь, Александр, я хочу искупаться, соль щиплет все тело.

Я отвернулся и даже отошел на двадцать шагов ближе к лесу. Крупный шмель атаковал мою шею, я зачертыхался и невольно краем глаза увидел выходящую из воды Фиру. Бросились в глаза волосы на лобке. Старая школа, олд скул, с удовольствием отметил я и тактично отвернулся.

И вот мы подошли к палатке. Фира отломил горбушку батона.

– Надо идти к Сахарову, познакомиться и попрощаться одновременно. Глупо выходит, но как уж выходит.

– Хорошо.

– Что хорошо? Идемте вдвоем.

– Андрей Дмитриевич вас десять с лишним лет ждет, зачем я буду вам мешать.

– Перестаньте! Я не к любовнику приехала, элементарная вежливость. Привет – пока.

– Бойтесь, что он может не так отреагировать? Зря. Он очень вежливый мужчина и никогда не позволит лишнего.

– Я про лишнее даже не думаю. Александр, проводите меня и возвращайтесь, раз вам так угодно. Мне казалось, что вам со мной интересно.

Я переоделся, взял пустую канистру, и мы медленно, сохраняя прохладу искупавшихся тел, отправились к мыловарам.

– Вообще-то я вам солгал, Фира. Я в некотором роде писатель.

– Я так и подумала.

– Вы так неожиданно появились.

– В каком издательстве публикуетесь? Я с ЭКСМО сотрудничаю.

– Нет-нет, я не такой писатель.

– А какой?

– Я пишу для друзей. Печатаю на свои деньги маленькие книжечки.

– Самодетельность.

– Самиздат.

– Как называются ваши произведения?

– «Пельмень», «Шептун», «Говнюк»...

– Ну и названия. Для провинциальной самодетельности дерзко.

– Я с юмором стараюсь, но, по-моему, его даже мои малочисленные близкие друзья не понимают. Поэтому не посылаю никуда. Разве что иногда в журнал «Нижний Новгород».

– Берут?

– Ага. 4 или 5 рассказов напечатали.

– Подарите что-нибудь из своего на память?

– У меня нет ни одного экземпляра, все раздарил, к сожалению.

– А в электронном виде? Последний, например, рассказ.

– «Отсоси у Виктора».

Она остановилась и строго заглянула мне в глаза.

– Это тоже название. Неудачное.

– Ах, название.

- Могу скинуть, если дадите свое мыло.
- Позже. По-моему, это Сахаров. Он?
- Нет, это Панченко, наш старший товарищ. Андрей – высокий черноволосый красавец.

Мы подошли к дому Анатолия Павлиновича. Хозяин стоял и пил из горлышка.

- Саня, клюковки глоточек! Из погребца только вынул.
- Я не отказался.
- Здравствуйте, я к Сахарову. Не подскажете, где его найти можно?
- Здравствуйте, подскажу. Он упаковкой занимается. Вы мылом интересуетесь?
- Как все цивилизованные люди, в меру.
- Тогда, милости просим в наш миниатюрный мыловаренный заводик.

Я еще глотнул вкуснейшей настойки Панченко и, решив, что сегодня непременно случится что-то из ряда вон, поторопился за Фирой.

Увидев нас троих, Андрей Дмитриевич, поправил очки, потом стал нервно кивать головой, уронил ножницы и тихо сказал:

- Фира, йошкин кот.

7

Пока Сахаров с Ивановой гуляли по деревне под предлогом купить вина в сельпо, мы с Панченко лежали в его доме. Жара не проникала в помещения, так как хозяин благоразумно на все окна приделал ставни.

– Я на Кубань в отпуск ездил когда-то, я про ставни все знаю, а наши дураки ленятся, Санечек, у нас деревня дураков, как из телевизора вылезли.

Через час Андрей Дмитриевич вернулся с сумкой вина, водки и пива для Википедика, инвалид ничего крепче себе не позволял. На 16.00 Сахаров назначил вечеринку без повода. Панченко пошел помогать другу с приготовлением мяса и прочего, Фиру они не пустили к кухне как дорогого гостя и отправили ко мне – в прохладу дома Анатолия Павлиновича.

- Скучаете?
- Немного.
- Разговор с Андреем не сложился?
- Сама не пойму. Умный мужик он, я всегда это чувствовала, но какой-то уж больно пришибленный, все время практически молчит, а начнет говорить, так спотыкается, заикается, сморкается, чихает.
- Шокирован вашим визитом, Фира. Я представляю, что у него на душе.
- Ок. Будем считать, что я шокирована не меньше. Я лягу на диван?
- Конечно.
- В деревнях мне больше всего нравится, как на кровати подушки теремком складывают и накидки на них накидывают.
- Вы пьющая?
- Не поняла.
- Выпить хотите? У Панченко прохладная клюквенная настойка имеется. Мне одному при вас неудобно употреблять ее.
- Ах, в этом смысле. Вообще-то я не пью, но ради такого события, пожалуй, стопочку махну.

К 16.00 мы махнули с Фирой четыре поллитровки.

- Я хочу в туалет, Сашка! В настоящий. В дырку.

Она меня доводила до слез все три часа, я давным-давно забыл, что можно так безудержно хохотать. Определенно, Фира – персонаж, думал я, персонаж для моих рассказов.

– Жалко, что в баньке не попарюсь, – сказала она, вернувшись в дом, при этом изящно (как-то литературно возвышенно даже) икнув.

– Баньку? Да легко.

– Только больше не выпиваем. У меня в семье трезвость – норма жизни.

– Борис Николаевич зашитый, небось?

– В самую точку попал, Сашка. Bravo. В самую пятую точку.

И мы снова гоготали и утирали слезы смеха. Потом я позвонил Википедиду.

– Колян, затопи баньку, будь другом. А ты догадливый! Да, все правильно, наша московская барыня желает попариться. В купальнике, разумеется, если найдем у кого в аренду взять. А может, и без. Мухой, Коля!

Столы накрыли на улице, на дороге между домами, как будто у нас планировалась не дружеская попойка, а свадьба. В четыре за столами сидели Фира, Сахаров, Панченко, я, Иисус с женой и двумя подростками, Матросов. Википедик занимался баней, его мама сказалась большой («Жара изводит, давление»).

Дальнейшие события из-за перебора клюквы я помню смутно. Со слов товарищей, картина вообще складывалась противоречивая. На 30-градусном солнце всех развезло и расплющило, даже Википедик надрался, а иисусята, которым и пить-то закон еще не позволяет, украли два пузыря водки и скрылись в лесу. То есть трезвых на нашем празднике не было. Свидетельства загулявших оказались набором противоречивых фактов, или даже скорее предположений. Я могу отвечать только за свои воспоминания.

В какой-то момент, уже спала жара, Панченко принес аккордеон и понеслись частушки. Естественно, что все бросились вприсядку, выскочили женщины, Фира и Иисусиха, дети, только я и Сахаров не плясали. Я не умею, а Андрей Дмитриевич, возможно, и лихой танцор, бог его знает, но в тот вечер даже алкоголь его не бодрил, он так и сидел обмякший, вялый, с потухшим взором и старался не смотреть на любимую девушку. Когда Фира забралась на стол, ее за голые колени принялся хватать Википедик. Она лягала его в танце, а он кричал: «В баню! В баню, Вера!»

– Я Фира, а не Вера, – хохотала Иванова, – а ты Википидр!

– В баню, умоляю, голенькими!

– Ви-ки-пидр!

Фира была в ударе.

Из колодца вода льется
Да по стенкам сочится.
Хоть и плохо нам живется,
А ... хочется!

Боже, какой эффект произвела Фира, когда скинула с себя футболку, швырнула бюстгальтер в физиономию Сахарова, когда она, как стриптизерша, стянула шорты и побежала к дому Коляна. Верный жене Матросов все понял и рванул на велосипеде домой, другие обезумевшие мужики бросились было за Ивановой, но тут проявил характер наш

тряпка Андрей Дмитриевич. Он схватил лавку и начал ею отгонять односельчан. Панченко отбросил аккордеон на землю и схватил со стола сковородку с остатками сала. Тщедушный Википедик прятался за спиной Анатолия Павлиновича и визжал подсвинком. Исусиха за волосы тащила мужа домой, ибо Дима тоже скинул с себя шорты. Дети, как я уже писал выше, под это дело сперли бухло и сиганули на радостях в лес. Мне надо было принять ту или иную сторону, но я не мог в силу неимоверного опьянения. Ни драться не мог, ни словом подбодрить, а главное, я никак не мог понять, на чьей стороне мне следует выступить. Тем временем троица побросала «оружие», и началась драка на кулаках, но так как все были в зюю, то вскоре они сцепились, как дворовые собаки во время случки, и покатались кубарем к мосту, к реке. Все разом стихло. Никого на территории деревяшек.

Я взял со стола полторашку самогона, выставленного Панченко, и поковылял кое-как в баню. Еще ворона так мерзко каркала и мешалась под ногами...

Дальнейшее описываю исключительно с разрешения Фиры и лишь для того, чтобы читателю подсказать, что чрезмерное употребление алкоголя разрушает семьи.

Утро. Обнаженная Фира лежит в палатке на спине. Конечности в разные стороны – морская звезда, если смотреть сверху. Между ног лежит моя голая туша, мертвая от пьянства.

В лоб ударила теплая струя. Я открыл один глаз. Запах мочи проник в нос. Струя через минуту прекратила поливать мою голову, я облизнул губы («Солененькая») и приподнялся. Фира спала. Я поцеловал ее и перевернулся на спину.

– Вот оно, мое счастье.

У меня в Москве есть друг, которому выпивать нельзя ни при каких обстоятельствах. Недержание. По трезвянке – никогда, по синьке – всегда. Как-то он ночевал у меня, мы запили, узнав о смерти Егора Летова, и легли спать на один диван. Утром я проснулся от холода под собой: кореш надудонил лужу, а то и две.

– Это холодная вызывает неприятные чувства, а теплая моча, Сань, поверь мне, это божий дар, это самые ранние неосознанные воспоминания детства. Попробуй.

– Намеренно опорожниться в кровати?

– Можно просто тазик теплой воды вылить. Поверь, это счастье. Детское, бессознательное, ласковое, как мама, которую младенец еще не знает как личность. Просто доверяет. Ты мне доверяешь?

Теперь конечно.

Разводилась Фира со своим ревнивым мужем скандально. В конце концов я снял квартиру в Москве и устроился на работу к тому самому другу-мочеведу. В 2022 году мы расписались, а потом сразу же закодировались от алкоголя и даже от табака.

P.S.

Под Новый год Панченко дважды вынимал Сахарова из петли. Он написал мне по мылу, чтобы я навсегда забыл дорогу в Павлиново.

Дарина КОПЫТОВА

Родилась в 2000 году в Липецке. Студентка Литературного института имени А. М. Горького (мастерская Андрея Геласимова).

Рассказы публиковались в первом томе сборника «Ковчег Лит» издательства «Городец» (2020), всероссийского литературного журнала «ЛиФФт» (2021). Живет в Королёве.

ПИМЕН

В 1380 году Митяй – ставленник Дмитрия Ивановича – отправляется в Константинополь для поставления его в сан главного митрополита. На пути в Царьград Митяй внезапно умирает. Свита Митяя, посоветовавшись, решает не возвращаться в Москву без митрополита, а избрать из сопровождавших Митяя клириков другого кандидата. После бурных дебатов избирают архимандрита Пимена. Он находит на корабле ризу Митяя с ценными незаполненными бумагами, излагает в них якобы волю князя поставить митрополитом его – Пимена – и отправляет одну из бумаг в Константинополь, дабы встретили его с почётом. Остаётся малость: узаконить титул в Царьграде и стать митрополитом всея Руси.

Осень 1381-го. Новгородская ладья причалила к пристани Коломны. Митрополит Киевской и Великой Руси – Пимен-Грек – вышел в окружении своих людей на палубу и огляделся. Народ коломенский с земли обступил прибывшее судно. Пимен ухмыльнулся: он знал, что любуются не судном, а самим Пименом. Бриллиантовый крест, нашитый на белом клобуке митрополита, сверкал на солнце.

Перед отплытием Пимена Нил отправил князю Дмитрию Ивановичу письмо, в котором предписывал принять Пимена в его новой должности. Теперь новоявленный митрополит собирался навестить Коломенскую епархию, чтобы заиметь себе нового епископа. Пимену нужно было заручиться поддержкой каждого города, лежавшего на пути в Москву: тыл митрополита перед встречей с князем должен быть прочным.

Пимен подозвал к себе советника из клирошан.

– Трёх стражей – со мной. И грамоту Нила подай.

– Владыко, епископов уже некуда размещать... Судно забито...

– Нет, возьмем еще одного. Высадите Феодосия, странный взгляд у него, мятежный.

– Он тяжело болен – подхватил что-то... Ноги гниют.

– Дурными мыслями он болен! Высадить с корабля! И еще: пока меня не будет – запастись припасами.

– Исполним, владыко.

Пимен и стражи сошли по мосткам на берег. Пимен шел гордо, вальяжно. Вокруг него, охая, расходился люд. Бабы шептались, мужики недоверчиво косились на Пимена, не пропуская ни одного жеста чужака. Дети лезли родителям на спины, чтобы разглядеть бриллиантовый клубок и дорогие одежды. Вдруг кто-то выкрикнул:

– Митрополит!..

Толпа на мгновение затихла, но тут же встрепенулась и хлынула к Пимену: от такого могло и деньжат перепасть. Несколько мужиков засучили рукава, но, увидев вблизи булавы стражников, отступили и спрятали руки за спины. Женщины начали кланяться митрополиту до земли.

Митрополит шел по пристани и наслаждался, запрокинув голову. В Оке отражалось уставшее небо, солнце морило его. Приятно пахло речной водой и пряными лепешками.

Пимен увидел, как женщина с хрустом свернула курице шею.

Лицо Пимена скривилось в муке. Он вспомнил, как набросился на спящего Митяя и принялся душить. Митяй судорожно пытался оттащить руки Пимена, вырывался.

Вдруг Митяй перестал сопротивляться. Взгляд его стал детским. Пимен удивленно замер. В глазах Митяя он увидел прощение.

Пимен, придя в себя, свернул Митяю шею. Но взгляда не мог забыть.

– Владыка...

Антип схватил митрополита за руку. Воспоминание Пимена прервалось тотчас. Он поднял голову. Метрах в двадцати от них наперерез вышло несколько вооруженных людей, явно не местных. Антип узнал их по дорогим военным облачениям.

– Московские... Князя люди... – шепнул он митрополиту. Пимен похолодел.

Антип отдал приказ страже, и Пимена затолкнули в толпу пляшущих женщин. Стражи и Пимен пробирались через коломенский народ. У митрополита зарябило в глазах от цветастых одежд, заложило уши от веселого гомона. Не долетела птичка до дома... Пимен стянул с головы сверкающий клубок.

Запахло грязной животиной. На ходу скидывая с себя златотканую фелонь, Пимен проталкивался через веселившихся кормчих. Когда стража и Пимен вырвались из толпы, Пимен схватил Антипа за грудки:

– Отвлеки их, – процедил Пимен. У бледного Антипа дрожали губы.

Пимен дал Антипу пощечину – исполняй! – и рванулся в сторону.

Пимен побежал к городским хлевам, стоящим недалеко от пристани. За спиной гудел народ, в ушах стоял звон. Пимен юркнул в один из деревянных покосившихся срубов. От неожиданности вздрогнул: перед его лицом чавкала сеном телка. Пимен облокотился спиной о стену сруба и затаил дыхание. Тело задрожало, но Пимен укротил его, дав себе пощечину. С улицы слышался гогот коломчан. Вокруг Пимена метались встревоженные куры.

– Где же ты, митрополитюшко всяя наш? – послышалось со двора. – Выходи, архимандритюшко...

Пимен припал к щели между бревнами: пять воевод князя, протиснувшись сквозь коломенский люд, рыскали по двору, заглядывая в хлева. В одном из людей Пимен узнал Ивана Григорьева, сына Чурилова, прозванного Драницей. Боярин был прозван так за особую жестокость,

которую тот учинял при дворе князя. Он не оставит Пимена живым... Пимен побледнел, ноги подкосились. Оглянулся: бежать некуда.

– Лови самозванца!

– Митрополитом стать захотел? За Митря ответишь!

– Вор!

– Лови предателя!

Пимен заметил, что одна из куриц убежала в дальнюю часть хлева. Митрополит проследил за ней. Назад не вернулась, будто исчезла. Пимен выглянул за толстый коровий зад: в глубине сруба что-то было.

Митрополит на корточках прополз мимо тяжело вздыхающей коровы. В стене сруба сквозь дыру сияло утреннее солнце. Пимен, весь в грязи и сене, протиснулся через нее. Одежды его зацепились за острые края щели – Пимен вывалился и упал лицом в траву.

Митрополит, чертыхаясь, поднял голову. И глухо вскрикнул.

Стоял вечер. Солнце исчезло. Густой туман обволакивал верхушки лысых покосившихся деревьев. Грязное небо освещало склон, уходивший к мутной темной реке. Не было слышно ни люда, ни птиц. В холодном воздухе застыла тишина.

Пимен снова хотел закричать, но не смог. Закашлялся, схватился за горло. Его кашель долетел до реки и растворился в глухом молчании. Пимен, холодея от ужаса, нащупал дыру сруба, из которой выпал. Развернулся и заглянул внутрь: пусто. Ни коровы, ни куриц. На земле лежало старое полусгнившее сено.

Дверь в сруб открыта. В ней – тоже никого. Пимен попятился. Оглянулся на реку: она текла медленно, тяжело. Черные воды ее, до этого бывшие голубыми, впадали сами в себя и себя же поглощали. Пимен не видел конца реки.

«Туда не пойду», – подумал он. На четвереньках, опасаясь Драницы и его людей, Пимен, двигаясь у стены сруба, подполз к его входу. Митрополит задрожал: вокруг не было ни души. Исчезли все домики, служившие торговому люду для хранения снастей и скота. Пропали возы и бочонки, стоявшие по краям дороги. Никого. Вокруг чернел лес.

«Матерь Божья!» – Пимен осел. Его заколотило в лихорадке. Понял, что здесь оставаться нельзя. Митрополит, озираясь, встал с холодной травы. Медленно, припадая каждые несколько метров к деревьям, Пимен шел по направлению к пристани. Вскоре он дошел. И обмяк. Вместо пристани перед ним расстился пустой, заросший берег. К нему прилиwała черная вода. Над ней плыло серое небо. Пимен вспомнил смех девок, крики торговцев. Тишина. Река безмолвна: волны ее, словно змеи, облизывали землю.

Пимен завыл, упал на землю и начал рвать замерзшими руками траву. Заплакал, свернувшись и поджав под себя ноги. Но увидел вдруг движение между деревьев. Вскочил.

– Выходи, выходи! Драница, я убью тебя!

Разъяренный отчаянием Пимен с воплем побежал в лес. Ветки били его по лицу. Пимен плакал и несся вперед, выставив руки. Запутавшись, он остановился, огляделся, тяжело дыша. Черный лес обступил его. Пимен, размазав кровь по лицу, присмотрелся. За дальним деревом перемещалось что-то прозрачное, еле уловимое. Пимен схватил с земли палку можжевельника. Дрожа, медленно подошел к дереву.

– Выходи, с-сволочь...

Митрополит прищурился. Перед ним из-за дерева выплыла прозрачная, тонкая фигура. Пимен разглядел голое иссушенное тело, мрачное

острое лицо и худые ступни, не касавшиеся земли, а плывущие по ней. С голых голубоватых бедер свисал пояс от рясы.

«Монах...»

Фигура подплыла и наклонилась к Пимену. Митрополит отступил, можжевельник выпал из рук. Монах дыхнул на митрополита. Щеки Пимена заиндевели. Призрак завыл и схватил голубоватой рукой крест митрополита, свисавший с его шеи. Пимен закричал и бросился бежать. Лес обступал его сзади, ветки рвали одежду. Пимен обернулся: за ним летели десятки прозрачных тел. Он, скидывая на ходу рясу, не останавливался. Увидел сбоку от себя свет и кинулся к нему наперерез.

Пимен выпал из черного леса, отполз и попятился. Он был на опушке. Цветов на ней не было, та же сухая трава. Небо серело. В нем начали проскальзывать белесые искры.

Пошел дождь: тишина нарушена. Пимен осмотрелся. Вдали, недалеко от леса лежали руины разрушенного монастыря. Пимен, обхватив себя руками, в мокром подряснике пошел к нему. Стуча зубами, он иногда оборачивался: вдалеке стояли они. Призраки. Монахи провожали Пимена, но дальше леса не двигались. Один – тот, что сорвал с Пимена крест, – подплыл ближе всех, но остановился у тонкой ели. Обхватив дерево одной рукой, другой он тянулся к Пимену. Митрополит остановился. Вгляделся в зыбкую фигуру монаха, колыхавшуюся на ветру. И пошел дальше, стараясь больше не смотреть назад.

Когда Пимен дошел до разваленного монастыря, дождь закончился. Митрополит оглядел руины. Большие острые камни были развалены и поросли травой. Кусок проломленной крыши покрывал собой лишь маленькую сохранившуюся келью без двери: в ней не было ничего, кроме стен. Пимен услышал вдруг глубоко внутри нее плач ребенка. Сердце его чуть не оборвалось. Митрополит начал взбираться по камням внутрь, дрожащие руки его соскальзывали. Забравшись, он погрузился в темноту кельи.

– Кто?..

Тишина.

Пимен пошарил рукой по полу. Нашупал обломок наподобие огнива и сыроватую лучину. Чиркнул ими друг об друга. Зажглось с третьей попытки.

Митрополит, вытянув руку, прошел вглубь кельи. Лучина осветила ребенка, сидевшего у разломанной двери. Уткнувшегося лицом в колени. Плечи его дрожали. Пимен хотел сказать что-то, но захрипел. Мальчик обернулся. Лицо его показалось Пимену знакомым.

Пимен положил лучину на камни.

– Кто ты?

Мальчик вдруг кинулся к Пимену и, обняв, уткнулся заплаканным лицом в его мокрый подрясник. Пимен замер. Ребенок заплакал сильнее. Пимен неловко погладил мальчика по спине.

– Почему плачешь?..

Мальчик лишь зарылся головой в грудь Пимена.

– Кто тебя обидел?..

Молчание.

– Не бойся.

Молчание.

– Ну же?

– Ты, – прошептал мальчик и заревел.

– Я? – Пимен нервно засмеялся, погладил мальчика по голове. – Что ж это я тебе сделал?

– Ты убил меня.

Пимен замер. За спиной свистел ветер. Пимен ощутил, как задувает за шиворот.

– Когда я вырос, на корабле.

Молчание.

– Мама мне говорила, когда я вырасту большим и здоровым... Что буду жить долго. Но ты убил меня. Я больше никогда не увижу маму, и ты скоро от меня уйдешь... Прости! Я не хотел быть митрополитом! Прости меня, прости! – маленький Митяй прижался к Пимену и заплакал, разрывая подрясник худыми ручками.

* * *

Они сидели у черной реки. В ней иногда поблескивали молнии, но маленький Митяй не давал Пимену окунуться:

– Она сделает тебе больно, не ходи.

Пимен мрачно кивал мальчику, глядя его по волосам.

Мальчик рассказал, что место, где текла черная река, где в лесах обитали души монахов, было рубежом мира. Здесь обитали души умерших, но не попавших в рай и ад. Застрявшие здесь навсегда.

Убив Митяя, Пимен присвоил себе его жизнь. Душа его теперь навсегда была заключена здесь: вне жизни, вне времени и вне смерти.

Мальчик прижимался к Митяю и рассказывал, как мама учила его вязать лапти... Но Пимен не слушал. Он мутным взглядом смотрел на реку. Она бурлила и опрокидывалась черными языками о берег. Волны ее отражались в черных глазах мальчика.

Небо заволокло тяжелыми, тлетворными тучами. Из него в реку начали вылетать огненные искры. Река питалась ими: в волнах ее дребезжали и проглатывались молнии. Одна из них отскочила и вошла в землю рядом с мальчиком. Тот съежился от страха и завизжал, прижав к себе руку митрополита.

Пимен поднялся с земли.

– Не уходи!.. – мальчик, плача, цеплялся за рваный подрясник.

– Все будет хорошо, – Пимена отстранил от себя мальчика. – Ты встретишься с мамой...

Пимен глядел в черные глаза маленького Митяя. Развернулся к реке и побежал. Мальчик кинулся за ним, но Пимен уже нырнул в черные вздымавшиеся волны. Мальчик остался стоять на берегу, держа в руках белый обрывок ткани.

* * *

Пимен, отхаркивая воду, приподнялся. Вокруг в суматохе бегали курицы, в спину тяжело дышала корова.

За дверью сруба визжали женщины, доносились крики и лязганье оружий. Послышалось бульканье: кому-то перерезали горло. Глухой удар тела о землю.

– Где же ты, митрополитюшко вся наша? – стальной голос Драницы разрывал всеобщий крик.

Пимен поднялся. Прошептал за упокой.

И, раскрыв дверь, вышел.

Сергей УТКИН

Родился в 1987 года в городе Шарья Костромской области. Учился в Санкт-Петербурге, в Балтийском государственном техническом университете «Военмех» имени Д. Ф. Устинова по специальности «ракетные транспортные системы».

Публиковался в журналах «Нижний Новгород», «Нева» и других журналах и коллективных сборниках поэзии и прозы.

Участвовал в X Форуме молодых писателей в Липках. Лауреат конкурса малой прозы «Белая скрижаль» (номинация «Хочу сказать», 2014), премии «Козьма в Пустыньке» (номинация «Афоризмы», 2014).

Живёт в Костроме.

КОТЁНОК КАК НИКОГДА

Осень была грязной. Здесь, в провинциальном городке в Центральной России, она была особенно характерна, привычна, неизбежна и оттого тяжело переносима. В те мокрые, полные павшей листвы, дни я вернулся в эти места из Петербурга с рабочим заданием: интервьюировал местных жителей. По условиям этой довольно нескудной работы, нужно было собрать данные у обозначенного числа опрошенных. У меня немного знакомых в городке, потому в поисках отвечающих я заходил в учреждения, вроде пожарной части и больницы.

Под вечер, вечер тёмный и ненастный, я заглянул в церковь. Священник оказался человеком приветливым и внимательным. Он охотно отвечал на вопросы анкеты. Позже мы продолжили разговор на темы, которые с ним и полагается обсуждать: о вере, о душе.

Я не знал (и не знаю до сих пор), что этот человек слышал обо мне, с чьих слов. Беседа была небесполезной. В ходе её я рассказал эпизод из своего детства.

Было мне одиннадцать лет, когда семья наша переехала в этот городок из соседнего района. Собаку взять не удалось, и она осталась в покинутом нами месте. С собой из животных мы привезли кошку с её котёнком. Мы переехали поздним летом, в августе, а уже ранней осенью кошку сбила машина возле нашего нового дома. Котёнок, чёрный и пушистый, был слаб и мал. Мы вроде бы неплохо к нему относились. Но по весне следующего года он уронил банку с землёй и посаженной в неё арбузной семечкой: я надеялся вырастить растение на балконе. Во гневе, испуге я бил котёнка, в том числе по голове. Малыш стал ходить, пошатываясь. Вроде бы оклемался, но вскоре

умер. Я помню его остекленевшие широко открытые глаза. Мы хоронили его с сестрой. После я оплакивал, по своей детской привычке, животное.

Я рассказал эту историю священнику, чтобы объяснить, почему я не люблю сентиментальности такого рода, чувственности и вспылчивости. Раскаяния запоздалого, позднего, иногда по смертного. Мой собеседник сказал в привычной для духовенства манере, что, видите ли, тогда у меня была чистая душа, что и ценно, и хорошо.

А мне хорошо не было. И греха-то подобного на мне больше не числилось: не бил братьев наших меньших. Да и людей, в общем, не бил. Пережил, видел, знал. Многое и многих. Но перед людьми раскаяния не было: люди его не стоили. Для них оно было лишь способом манипуляции. И верно опыт говорит, что шлюха останется шлюхой, а подлец – подлецом. А вот котёнок, беззащитный и слабый, не останется. Он кончился. Его больше нет. И не будет. Никогда.

Я вышел на улицу. Редкие прохожие были под стать осени: слякотны и черны. Мысли их, оглашаемые разговором, казались такими же.

Осень получалась грязной.

ГАДОСТЬ И СТАРИК

Чем развлечь пожилого человека? Чем отвлечь его от тяжести наступившего одиночества? Многие годы утешают стариков телевизоры.

Вот и у пенсионера, ветерана, бывшего в весьма преклонных годах, когда я жил в одной из комнат его квартиры, как в съёмном жильё, говорящий и показывающий электронный друг проживал в зале.

Я с хозяином квартиры общался крайне редко и немного. Дочь его и внук навещали деда иногда, радуя старика, волнуя. Человек он, как и свойственно людям его поколения, а может быть, людям вообще, был равнодушный, резко откликающийся на действительность. Видимо, былая действительность, былое, оставило ему думы, да и современность, видимая и знакомая ему, их добавляла.

Ходил этот одряхлевший человек уже по-стариковски шаркая ступнями. Обычно именно по этому звуку подошв тапок я замечал начавшиеся передвижения его по квартире. В ней, как известно, маршрутов и дорог немного.

Обычно я уходил на занятия утром, а возвращался вечером, потому дневные дела описываемого героя мне неизвестны. Вечером же старик проводил время в компании телевизора, что само по себе логично и нормально. Логика немного терялась в следующих сценах и эпизодах.

Когда шум громко говорившего телевизора смолкал, раздавался голос беседовавшего по телефону старика, жаловавшегося обидчиво и гневно своему приятелю: «Весь день какая-то гадость!» Так браковал зритель телепрограммы. Отвергал их, поняв решительно (судя по тону) и бесповоротно никчёмность телеканалов.

Но на следующий день телевизор в квартире кричал не тише. Да и старик был непреклонен в осуждении увиденного. Эта сцена прощания и вечного возвращения к телевизору была частой.

С тех пор прошло полтора десятилетия. Может быть, с ними в вечность прошёл и тот старик. Старик, вероятно, ушёл. А гадость осталась. С кем она теперь встречается с глазу на глаз?

Марина СОЛОВЬЕВА

Родилась в Горьком. Окончила Горьковский медицинский институт и всю жизнь работает врачом – дерматовенерологом, онкологом, лазерным хирургом.

Автор романа «Усохни, перхоть, или Школа, которой больше нет» (Нижний Новгород: издательство «Книги», 2021). награждена медалью «Федор Достоевский 200 лет».

Живет в Нижнем Новгороде.

АНЕСТЕЗИЯ

Мне пятьдесят пять, уже пятьдесят пять. Вчера было двадцать, а сегодня пятьдесят пять. Вот так, жизнь прожита, все основные ошибки сделаны, цели достигнуты. Мне не семьдесят, не восемьдесят, а только пятьдесят пять, и пусть нелепо говорить, что все еще впереди, но почему-то именно сейчас появилась необходимость наслаждаться каждой секундой, загадывать невероятные вещи и ждать их исполнения, строить планы и слушать прежде всего себя, а не своих домочадцев, упорно считающих, что свой самый лучший отпуск я могу провести исключительно в саду и в окружении внуков.

Неожиданно для себя, да и для всех окружающих я улетела отдыхать во Францию, подчинившись наконец своим внутренним желаниям и мечтам, лихо махнув рукой на финансовую отягощающую часть моих замыслов...

Я сидела на берегу Средиземного моря – на пляже Ниццы, перебирала руками крупную гальку, любовалась закатом, дышала воздухом, пропитанным солью, и кидала в синюю гладь мелкие камушки. Блаженное состояние покоя накрывало, море убаюкивало. Заканчивался третий день моего восхитительного пребывания на Лазурном берегу, и я, находясь в утомленной расслабленности, лениво размышляла о планах на завтрашний день. С английским у меня, как у большинства соотечественников моего поколения, было неважно, но я нашла по интернету отличного гида-переводчика и благодаря его активному участию в моем отдыхе с удовольствием изучала местные достопримечательности, наслаждаясь утонченностью местных красот, курортной неспешностью и потрясающей средиземноморской едой, которая полностью отвечала всем запросам моего здорового образа жизни.

Звонок мобильного телефона вернул меня в реальность, и на свое «алло» я услышала голос, от которого по коже побежали мурашки. Этот

голос я не слышала много лет, но узнала по первым звукам, потому что забыть его было невозможно.

– Петька, ты? – спросила я чуть дрогнувшим полусшепотом, а по спине заскользила капелька пота. – Откуда?

– Анька! Я, собственной персоной! – его бархатный голос, как когда-то очень давно, убаюкивал и совращал с первых звуков. Сразу нахлынули воспоминания, наполнив меня сумасшедшим запахом сирени, горячими объятьями, бесконечными разговорами, ночными гуляньями до рассвета и выяснениями, кто кого больше любит. – Узнал случайно, что ты в Ницце, и телефончик наши люди тут же скинули. Это судьба! Я себе не прощу, если не увидимся! Я в Испании, в Сантандере. Как уехал сюда лет двадцать назад на специализацию, так тут и живу и, между прочим, уже три года как один. Я один и ты одна, улавливаешь? Приезжай, это всего 12 часов на автобусе! Встречу, все покажу, везде проведу! Давай, Анька, не дрейфь, раскупоривай мысль скорее!

У меня ничего не раскупоривалось, мысли слетелись в одну большую кучу и никак не хотели разложиться по полочкам.

– Я ни бельмеса не говорю ни по-английски, ни по-французски, ни по-испански, как я поеду? Ну, допустим, билет мне купят... – бормотала я в ответ, слабо сопротивляясь.

– А я встречу! Прямо на автостанции! Йо-хо-хо! – закричал в трубку Петька голосом пирата.

Я прикрыла глаза, не в состоянии сопротивляться всплывающим картинкам из прошлого. Петька... Он тут же возник перед моими глазами с развевающейся длинной пшеничной шевелюрой и коньячным загаром дикого моря. Он и правда всегда выглядел как будто только что сошел с пиратского фрегата: обветренные губы, соль на волосах, запах кедровой смолы...

Он был дитя воды и ветра, лодок и парусов. Мы познакомились в Крыму, в студенческом походе, и он поразил тогда невероятной внутренней свободой и уверенностью в себе. Он сразу выделил меня из всех, взял за руку и больше не отпускал...

– Приеду, возьму билеты и приеду, – я приняла решение неожиданно быстро. В конце концов, необдуманные поступки украшают жизнь, а вся моя поездка изначально была большой авантюрой. Почему бы мне не продолжить двигаться в том же русле, к тому же обратный билет в Москву только через неделю? Может быть, вся моя поездка была предназначена для этой встречи с Петькой, и как веревочка ни вейся, случится то, что обязательно должно случиться.

Весь следующий день я решила посвятить шопингу. Мысли нужно было разложить по местам, чувства отправить на время проветриваться, обиды стараться не вспоминать, а если не получается, то засунуть в самый дальний угол, ну и вообще, к встрече нужно подготовиться. Лучшего лекарства, чем шопинг, для восстановления гармонии и баланса между душой и телом я не знала. И еще, я хотела выглядеть на все сто, так, чтобы он увидел меня и снова погиб, только теперь уже навсегда. Воображение быстренько стало рисовать отрывки из нашей будущей совместной и обязательно счастливой жизни, нервозность куда-то ушла, ничто не травмировало мою психику муками относительно правильности принятого решения, настроение было великолепным. Все-таки богатые фантазии – еще один неиссякаемый источник удовольствия!

Я помню свое потрясение, когда впервые услышала, как он поет. Костер, палатки, горы, съедобный воздух, сияющие жизнью глаза Петьки и его песни под гитару... Сплошная романтика! У меня как у человека с хорошим музыкальным слухом начинало сжиматься сердце от нерезального тембра его голоса и от точного попадания в ноты. Его песни напоминали невесомые акварельные наброски, необычные, притягивающие и трогающие душу. Одновременно с этим в них была какая-то шершавая терпкая нота, напоминающая несладкий пряный имбирный чай. Его песни, пробивающие до мозга костей и взрывающие душу, я могла слушать бесконечно. Это было как прогулки по осеннему прохладному лесу, как свежий ветер после сильной жары, как переливающиеся на солнце семицветная радуга над полем подсолнухов.

Я бродила по бутикам и местным лавчонкам, тщательно подбирая гардероб, соответствующий состоянию моей души. Мне хотелось соединить комфорт для автобуса с гламурной женщиной-мечтой для Петьки. Мне хотелось представить себя ему независимой и самодостаточной, не потерявшей своего шарма, имеющей на все свою точку зрения и свои милые привычки. Пусть видит, что я не цепляюсь за прошлое, так как достигла всех своих целей в настоящем. И никакой небрежности в одежде, что бы не было никаких ассоциаций с беспорядком в душе... А дальше будь как будет.

Я выбрала симпатичный бордовый сарафан с большими, вышитыми стразами, карманами и белую дизайнерскую рубашку, открывающую руки в нужных местах. К ним я добавила ажурные серьги с жемчужинками в центре, большую кремовую сумку и шляпку такого же цвета, украшенную милыми бордовыми цветочками. Шляпка была слегка тесновата в объеме, но уж слишком здорово гармонировала с сумкой. Ради такого убойного сочетания можно и потерпеть. Нас, русских женщин, умеющих останавливать коней на скаку, такая мелочь остановить не может. В одном из бутиков рука потянулась к бордовым босоножкам с каблуками-убийцами. Они были настолько хороши, что я не могла и не стала с собой спорить и противостоять желанию приобрести их немедленно. На всякий случай, из чувства самосохранения, некстати вспомнив про свои «пятьдесят плюс», я купила белые кеды на толстой подошве. «Пусть будет легкая одежда, пусть будет легкая надежда!» – пробормотала я себе под нос и увидела доброжелательную понимающую улыбку продавщицы, которая тут же быстрым движением вытащила откуда-то из глубин магазина роскошный шарф-парео, повторяющий цвет моего сарафана и «убийственных» босоножек с белыми разводами в тон кедам. На чисто русском языке она предложила мне его примерить как дополнение к уже приобретенной обуви. За ее улыбку, за родной язык, за понимание и просто за необыкновенную атмосферу солнечного утра я забрала шарф без раздумий и впала в состояние абсолютного счастья от всего происходящего со мной.

Больше никаких сомнений, никаких лишних волнений, только удовольствие от предвкушения встречи. «Частенько именно от него, от предвкушения, получаешь больше удовольствия, чем от самого удовольствия», – предательски мелькнуло в голове, мелькнуло и исчезло, а я решительно вошла в отдел женского белья. Мысль о том, что одеваться надо так, чтобы было не стыдно раздеваться, чередовалась с мыслью о недопустимых глупостях, которые бесконечно лезли в мою голову. В конце концов, чтобы быть уж совсем честной с самой собой, я полностью осознала, что нахожусь уже в том возрасте, когда глупо-

сти творят продуманно, и отметилась покупкой роскошного ажурного бюстгальтера цвета топленого молока. Уже сидя в автобусе, я поняла, что бюстгальтер жестковат, «кусается» и слегка царапается в области застежки, но это была такая ерунда по сравнению с предстоящей встречей, призванной встряхнуть и изменить всю мою жизнь. Автобус разгонял скорость. Где-то в прекрасном испанском городке меня ждал Петька с потрясающей программой, которая точно не даст мне соскучиться. За окнами проплывали лавандовые поля и виноградники, хрустально-прозрачные небольшие речки, оливковые рощи и крохотные деревушки, затерявшиеся среди лугов с сочной зеленой травой. Я прикрыла глаза и погрузилась в воспоминания.

Петька был студентом пятого курса медицинского института из далекого Иркутска, я – первокурсницей консерватории из Москвы. Все его рассказы были об анестезиологии и анестезиологах, о мечтах, связанных с этой профессией. Я не очень соображала в медицинских вопросах и даже осмелилась уточнить у Петьки, тот ли это доктор, который в моем понимании делает пациенту снотворный укол перед операцией, чем вызвала шквал негодования с его стороны.

– Ты ничего не понимаешь! Если анестезиолог хороший, то во время операции пациент ничего не чувствует, ну совсем ничего. Это самая важная профессия на мой взгляд. Разве смог бы хирург оперировать, если бы не было рядом анестезиолога? Это плохую операцию можно переделать, а плохой наркоз никогда! А что такое реанимация, знаешь? Это грань между двумя мирами! Это место, где с того света возвращают. А кто это делает? Бог, конечно, но делает это он руками врача-анестезиолога-реаниматолога.

К концу похода я уже могла описать разницу между коротким рауш-наркозом и интубационным, умела даже рассказать про аппарат искусственного кровообращения и его использовании на отключенном сердце.

Звонок телефона вырвал меня из сна, видимо, я все-таки успела задремать под мерное покачивание автобуса. За окном опустился глубокий синий бархат сумерек и начали мелькать огоньки.

– Дрыхнешь? – поинтересовался Петька. – А ты помнишь, что просыпаться лучше всего, когда рядом анестезиолог?

– Я даже помню, что из всего многообразия сладкого ты больше всего любишь сны! Сладкие сны!

– Слушай, а почему мы с тобой все-таки расстались? Ведь все было так здорово. Только не говори, что ты меня к кому-нибудь приревновала, что я дышал пациентке «рот в рот», а ты не простила!

– Ага, дышал, а с других мест помаду стереть забыл! – пошутила в ответ я и засмеялась.

– Чего-то не припоминаю такого! – и я представила, как Петька озабоченно почесал свою длинноволосую голову.

– Ну ты же сам всегда говорил, что хороший наркоз – это анестезия души и резекция памяти! – веселилась я. – Ты столько лет в профессии; видимо, сказывается. Слушай, а вдруг я тебя не узнаю?

– Узнаешь, не переживай, я мало изменился! Но если хочешь, я разведу рядом с собой сигнальный костер! Йо-хо-хо! – парировал Петька и вырубился вместе с моим телефоном. Зарядка бессовестно закончилась, а вместе с ней и наш диалог.

Я откинулась на сидении и вытянула ноги. Почему же мы тогда расстались? Первое время Петька прилетал в Москву, используя для этого

любой повод. Мы проговаривали по телефону половину наших стипендий. Но он не мог перевестись в Москву, а я не могла Москву оставить. Мы вроде бы бежали в одной упряжке, но нас все больше тянуло в разные стороны. Наши цели не пересекались и не соприкасались. Мы как будто медленно, но верно двигались к разным полюсам. Он совсем не понимал моего увлечения классической музыкой, а меня в какой-то момент перестали цеплять его восторженные рассказы об анестезиологии.

В начале девяностых я с оркестром консерватории волей случая попала в Братск и тут же сообщила об этом Петьке. У него были какие-то сложности по работе, и он предложил мне самой прилететь в Иркутск. Ограничение времени, финансов, нервы, потраченные на покупку билетов, объяснения и сложности с руководством взвинтили меня до предела. Но, несмотря на все препятствия, я прилетела, всего на четыре часа, но прилетела. А Петька не смог. У него была сложная, непредвиденно затянувшаяся операция, и он не успел. Я просидела в аэропорту все четыре часа до обратного рейса, не мигая глядя на входную дверь в ожидании, а Петька не приехал. Я плохо помню обратную дорогу. Кажется, я заболела и слегла с высокой температурой. Я даже обрадовалась, что можно было не ходить на работу. В сложившейся ситуации это был бесспорный плюс. Из минусов – я поняла, что начала потихонечку умирать, и мне было сложно понять, что перевешивало в тот момент.

После возвращения в Москву Петька еще какое-то время звонил мне, пытался объясниться. Но я была обижена и никак не могла его простить. В голове крутилась мысль, что мы легко прощаем, пока любим. Конечно, я его любила, но все равно не прощала. А еще я очень боялась, что все эти его звонки исключительно из чувства долга или жалости ко мне. В последнем разговоре Петька сообщил, что уезжает на стажировку в Испанию. А через месяц наша семья переехала на новую квартиру. Писем я с тех пор, естественно, не получала, нового адреса Петьки тоже не знала. Я страдала, долго жила воспоминаниями, пыталась его искать, но безрезультатно. Больше я своего рыцаря Айвенго, капитана Грея и поющего пирата не видела и не слышала. До вчерашнего дня. А сегодня я уже мчусь к нему навстречу в новой красивой шляпе, стягивающей голову жестким обручем, терплю кусачий бюстгальтер, придающий груди идеальную форму, и постоянно поправляю макияж, призванный добавить свежести моему лицу. Да, еще забыла про каблуки-убийцы, мое главное оружие, бьющее наповал, которые пока преспокойно возлежали рядом со мной в ожидании своего звездного часа. Куда меня несет, зачем, нужно ли ворошить прошлое и искать приключения на свою пятую точку?

Но тут, оборвав эти непрекращающиеся размышления, автобус выплюнул меня в темную южную ночь. Водитель, предупрежденный, что я ни слова не понимаю по-английски, активно жестикулировал и всем своим видом показывал, что именно сейчас мне надо выходить. Я оказалась на остановке в темноте, в непонятном месте, без телефона, при полном отсутствии даже намека на наличие рядом автостанции. Я с ужасом провожала взглядом огни автобуса, которые становились все меньше и меньше, пока совсем не исчезли. Из ниоткуда пришла фраза, где-то давно услышанная и осевшая в голове: «“Вот тебе и приключения”, – подумала задница. – “Вот тебе и задница!” – подумали приключения».

Я присела на лавочку, посмотрела на часы и поняла, что приехала на два часа раньше запланированного времени. Непонятно только, куда приехала. Главное, не думать, что это самое плохое, что могло со мной случиться, а то пренебрежительно будет еще хуже, проверено на собственном опыте. «Пипец, лютый пипец наступает! Но нет, я же не потерялась! – говорила я себе. – Просто кто-то переместил автостанцию в новое место! И это такой квест, не для слаботервных, конечно, – найти нужную автостанцию в Испании ночью».

Дул теплый осторожный ветерок, такой легкий, как дыхание. Шелестели листвою высокие кусты. Было полное ощущение языческого восприятия природы, как живого существа, как тогда, в Крыму у моря... Мы с Петькой все время были вместе. Мы то не могли наговориться, то вели долгие безмолвные диалоги под плеск волн. Где-то я прочитала, что если с человеком комфортно молчать, то это твой человек. С Петькой было комфортно. Он был легким в общении и очень доступным. Наши отношения были тоже без пятиэтажных конструкций, простыми и понятными. Петька всегда искрился, как бокал шампанского, он увлекал, завораживал, тащил за собой. Такой пришелец из мира мечты, сравнивающий работу врача с экстремальными видами спорта, балансирующими на грани жизни и смерти, и с серьезным видом утверждающий, что жить в принципе вредно...

Голосистая толпа тинейджеров нарушила тишину и мой временный робкий покой. Полный «пипец» никак не хотел меня оставлять и демонстрировал безграничные варианты своего развития. Парни двигались в мою сторону, размахивая руками и что-то бурно обсуждая на своем языке. Внутри неприятно екнуло, я напряглась и стала глубоко дышать. «Не выделяй адреналин сама, пусть его лучше выделяют другие!» – вспомнила я любимую Петькину фразу и тут же увидела вдали спасительный силуэт полицейского. Он стоял, широко расставив ноги и выпрямив спину. От него веяло надежностью и уверенностью. Мне сразу полегчало. По крайней мере, есть куда бежать, если что. Между тем к молодым парням присоединились, непонятно откуда взявшиеся говорливые женщины с боевой раскраской, в которых я легко опознала ночных бабочек, возвращающихся с работы. На остановке становилось все оживленнее. Они все вместе хохотали, что-то обсуждали, толкались и, к моей радости, совсем не обращали внимания на скромно сидящую в уголке тетку в шляпе, замотанную широким шарфом и чувствующую себя полной идиоткой. Я бросила быстрый взгляд на полицейского. Он был на месте. «Наша милиция нас бережет! И не наша – тоже!» – с удовольствием продекламировала я про себя, а в душе появилась робкая надежда все это пережить и выжить.

Утро было прелестно новизной и свежестью. Солнце быстро вставало и активно разогревало все вокруг. Первым это почувствовал мой макияж, который потихонечку начал плавиться, превращаться в непонятные катышки и медленно сползать с лица. Волосы под тесным головным убором примялись настолько, что приняли форму черепа, и мне пришлось снова спрятаться под ненавистной шляпой от этой ужасной вспотевшей прилизанности, от палящего солнца, от себя и от всех окружающих. Бюстгальтер царапался с утроенной силой. Через какое-то время мне захотелось снять не только одежду, но и кожу. Есть, пить и все остальное тоже хотелось. Меня по-прежнему никто не искал, и нужно было что-то срочно предпринимать. Понимая, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, я отправилась

за помощью к полицейскому, мобилизовав все свои скудные знания иностранных языков. Он был моей надеждой и опорой всю ночь, кому как не ему спасать и возвращать дальше к жизни заблудшую овечку. «Эх, где наша не пропадала!» – сказала я себе и вежливо поздоровалась с полицейским сначала по-английски, потом по-немецки, потом по-русски. Тишина в ответ выглядела несколько странной. Полицейский не реагировал и даже не повернул в мою сторону головы. «На посту стоит, при исполнении, нельзя ему разговаривать!» – подумала я и обошла его с другой стороны.

– Hola! – выдала я единственное слово, известное мне из испанского лексикона, вежливо улыбнулась, подняла глаза и замерла на месте. Полицейский не двигался. Он и не мог двигаться. Это был хорошо сделанный в человеческий рост памятник какому-то мужику. Да-да, просто памятник, благодаря которому я смогла не сойти с ума и пережить эту нелегкую ночь. Я просто села там, где только что стояла, а мой дикий хохот со слезами, которые не лились, а брызгали по сторонам, огласил испанские окрестности. Истерика никогда не была особенностью моего темперамента, просто у моего спокойствия, наверное, закончился срок хранения.

– Я могу вам чем-то помочь? – эти слова вмиг привели меня в чувство. Передо мной стояла молодая девушка в спортивной одежде. «О спорт, ты жизнь!» – сразу пронеслось в голове, и в одно мгновение высохли слезы. Какое счастье, что маршрут ее утренней пробежки проходил как раз в том месте, где я рыдала у ног памятника. Почему она сразу поняла, что я русская, осталось для меня загадкой. Скорее всего, меня выдали шляпа и каблуки-предатели. Нет, не так, каблуки-спасатели. Я готова была эту девчонку обнимать, целовать, вокруг нее танцевать, и лишь страх напугать ее остановил меня. Ее русская речь звучала в моих ушах самой лучшей музыкой.

– Я дико устала и готова продать душу и все остальное дьяволу за туалет, чашку кофе и кусок хлеба, – выдала я, собравшись с мыслями.

– С дьяволами здесь напряженка, – девушка широко улыбнулась, – а все остальное можно найти на автостанции. Это совсем недалеко, за углом, от силы метров двести.

Через пять минут я была на той самой автостанции-потеряшке. Появилась уверенность, что мой ночной квест близок к завершению. Посетив испанский туалет, я поняла, что хотела бы там остаться на какое-то время пожить. Потом я подошла к зеркалу, сняла шляпу, потрогала странгуляционную борозду, оставленную ею и проходящую через центр лба, вытерла остатки размазанной туши, безуспешно попробовала реанимировать прическу. Лицо выглядело как будто после боя. Жить опять расхотелось, даже в этом роскошном туалете, а шляпа снова заняла свое место, прикрывая все издержки долгого пути и непростой ночи.

Я вошла в просторный полупустой зал автостанции, держа в руках два огромных стакана капучино. Хотелось съесть что-нибудь посущественнее, но ничего такого, что соответствовало бы моей системе правильного питания, я не нашла. Петьки в зале не было, сигнального костра тоже, поэтому я не стала делать походку от бедра и держать спину. Каблуки неестественным образом изгибали мои и без того отекшие ноги, ремешки врезались в кожу, оставляя глубокие следы, как будто я покупала эту обувь в состоянии транса и мерила ее на ногу продавщицы.

Я проковыляла к креслам, стоящим в самом дальнем конце, прямо напротив входной двери, и заняла самую удобную наблюдательную позицию. Рядом сидел только немолодой пузатый лысый мужик и с удовольствием жевал сочный бургер, источавший невероятный и запрещенный для меня запах котлеты и горячей булки. Я покосилась на его дрожащий в такт жеванию живот, прикрытый майкой с влажными пятнами пота, в очередной раз подумала о пользе здорового питания, передвинулась подальше и стала неспешно пить свой кофе. С каждым глотком в меня возвращалась жизнь. Добравшись до второго стакана, я уже не понимала, я пью кофе или кофе пьет меня. А Петьки все не было. Я не сводила глаз с входной двери и понимала, что когда-то это все со мной уже происходило. Дежавю вкрадчиво заползло в душу, царапая все на своем пути острыми коготками. Петька не появлялся. Может, он меня ищет в другом месте, ведь мой автобус прибыл уже давным-давно? Изо всех сил я старалась не киснуть и придумать ему оправдания, но получалось, честно говоря, не очень. Дядька доел свой заморский бутерброд и начал ерзать на сиденье, кряхтя и сотрясая весь ряд скрепленных кресел, страшно раздражая меня своим присутствием. Я пересела на следующий ряд позади него и теперь могла любоваться на его побитый молью затылок. Мой организм начал потихоньку поскуливать головной болью и ноющими ногами, лоб под шляпой неистово чесался, злобный бюстгальтер-бультерьер на спине уже, наверное, прокусил дырку.

Я прикрыла на секунду глаза и, наверно, даже задремала.

...Где-то в тумане настойчиво раздавался телефонный звонок. И вдруг я услышала Петькин голос, такой хорошо знакомый, родной голос, с узнаваемой легкой хрипотцой, с горловым звуком на протяжных гласных и слегка шелестящий на шипящих, такой соблазняющий и будоражащий одновременно. Магия его голоса пробежала сразу по всем нервным окончаниям и миг пригвоздила меня к креслу. Голос раздавался совсем рядом со мной, как-то слишком рядом. Я медленно, как будто боясь его спугнуть, повернула голову и не сразу поняла, как такое может быть, что сидящий передо мной толстый и потный дядька с остатками седых нечёсаных волос по краю загорелой лысины, разговаривает по телефону голосом моего Петьки.

Мыслительный процесс запустился не сразу. Осознание ситуации стало полным только через несколько минут. Я сидела, не в состоянии пошевелиться. Во мне все сопротивлялось пониманию этой действительности. Я закрыла глаза и стала глубоко дышать, считая про себя до десяти. Один, два... предатель, ну разве можно со мной так поступать, он не имеет право быть моим Петькой, это дон Педро какой-то, расстроил больше, чем утренний памятник ... три, четыре, пять... он меня тоже не узнал, хоть мы сидим тут уже второй долбаный час, — значит, тоже ждет ту Анечку тридцатипятилетней давности... Шесть, семь... может, постучать ему в спину и сказать детским голоском, что задалась уже, когда он меня наконец узнает... он повернется ко мне, и я сразу увижу все его разочарование, потому что он не успеет и не сможет его скрыть... «У нас в плане посещение Королевского морского клуба, Дворца фестивалей и ночные купания в Атлантическом океане!» — вещал кому-то потный дядька Петькиным шелестящим голосом необыкновенного тембра... восемь, девять... я на секунду представила ночные купания с этим чужим пузатым дядькой, и решение бежать пришло сразу после десятого выдоха.

Я уверенно зашла в туалет, сняла одновременно каблуки, лифчик, шляпу и чуть не умерла от удовольствия. Потом я умылась вместе с головой и волосами, сделала удобный высокий пучок, надела темные солнечные очки и кеды. Покупка обратного билета в кассе прошла без сучка и задоринки. Слово «Ницца» и мой решительно выставленный один палец были поняты в кассе без промедления.

Я ничего не чувствовала, ну совсем ничего. Анестезия была полная – всех моих органов и систем. Наверное, Петька хороший специалист в своем деле, настоящий врач-анестезиолог. Мне не было больно, и я отчетливо понимала, что мне нечего делать в этом богом забытом испанском городке рядом со старым чужим дядькой. Было одно-единственное желание: побыстрее отсюда слинять и никогда больше не возвращаться. Хотелось бежать не только от нового Петьки, но и от себя, от реальности настоящего, которая угрожала вытеснить мое прекрасное прошлое и посягнуть на священный уголок памяти, доступный только нам двоим.

«Ну вот и все!» – мелькнуло в голове итогом. На мгновение я задумалась, метнулась в кафе и купила себе толстый двойной бургер с котлетой и сыром. Вот теперь точно все, и уже через каких-то пять минут я начала свой путь возвращения из прошлого к нормальной жизни.

АЛЛЕРГИЯ

Она сидела напротив меня в столовой санатория и уже четвертый день, активно жестикулируя руками, развлекала своими милыми рассказами за завтраком, обедом и ужином. Мою соседку по столику звали Людмила Станиславовна, но она сразу обозначила, что обращение по имени-отчеству ее раздражает и добавляет лет. Приемлет она исключительно имя, желательно какое-нибудь производное от Люси с ударением на любой слог по моему желанию. Ей было лет пятьдесят, может, больше, но выглядела она свежо и молодо. Миловидные черты лица, большие, слегка навывкате серые глаза, светлые вьющиеся волосы и нос с небольшой изящной горбинкой очень гармонировали с ее манерой ведения разговора. Людмила Станиславовна постоянно что-то рассказывала, причем делала это непременно громко, несколько манерно закидывая голову. При этом она привычно и умело успевала фиксировать впечатление, которое производила на окружающих. От нее я узнавала все последние сплетни про местный персонал, разные тонкости про процедуры, про клуб с вечерними танцами, про самые легкие и дешевые пути попадания в этот санаторий, про взгляды на политику, религию и медицину не только ее самой, но и ее мужа, подружек и еще каких-то важных персон, на близкое знакомство с которыми она активно намекала, но при этом их имена не раскрывала. Она была вся такая яркая, активная и очень благополучная.

Честно говоря, я не очень люблю вот такие беседы ни о чем со случайными знакомыми и обычно в них участия не принимаю. Разговор, как правило, получается односторонним и по мере убывания сил у собеседника, постепенно угасает. В этот раз не угасал уже четвертый день. Я восхищалась ее самодостаточностью. Она задавала вопросы и сама же на них отвечала. Моя соседка по столику щебетала без умолку, и казалось, что для нее совсем не важно, что я уже давно перестала, даже из приличия, вставлять слова, кивать и бросать взгляды в ее сторону. Похоже, что ей нужны были только мои свободные уши, которым, увы, было некуда деться. А может, и они были не нужны. Просто требовалось произносить монологи и бросать кому-то реплики для собственного самовыражения. Этим кем-то и оказалась я.

Под приятное журчание ее голоса с периодическими эмоциональными всплесками я продолжала неторопливо ковырять салат, стараясь думать о чем-то своем. Вдруг соседка запнулась на полуслове, как-то протяжно вздохнула и замерла. От непривычной паузы я подняла глаза от своей тарелки и посмотрела на Людмилу Станиславовну. Она изменилась в лице и напряженно всматривалась куда-то за моей спиной. Я не выдержала и повернулась, следуя за ее взглядом. К нам приближалась молодая симпатичная женщина с мальчиком лет девяти. Они на ходу перебрасывались только им понятными фразами и заговорщически

смеялись. Мне показалось, что, проходя мимо нашего столика, мальчик на какую-то долю секунды задержал взгляд на нас и слишком поспешно отвернулся, что-то снова весело рассказывая матери. Они уже давно скрылись в дверях, а Людмила Станиславовна по-прежнему смотрела им вслед, целиком и полностью уйдя в себя, машинально продолжая крутить в руке выданный на ужин мандарин.

— Когда дочь уехала жить в Штаты, — негромко начала свой рассказ Люси, чуть дрогнувшим голосом, обращаясь именно ко мне, а не ко всей столовой, как было раньше, — такая тоска на нас с мужем накатила. Мы как будто потеряли смысл жизни, стержень внутренний не выдержал и переломился. Сначала была робкая надежда, что это ненадолго. Потом надежда растаяла вместе с мечтами о внуках и большой счастливой семье. Каждый день стал похож на другой, такой бесконечный День сурка. Я видела, что муж медленно, но верно погружается в депрессию. Нет, вроде бы ничего серьезного не происходило. Не было ни истерик, ни транквилизаторов, ни отсутствия аппетита. Он был внимателен и вежлив. Просто как-то слишком вежлив и назойливо внимателен. А еще чаще, чем обычно, он зависал на своей волне в одной ему понятной задумчивости с остановившимся взглядом, направленным в стену.

Нужно было что-то делать. Для начала я скупил все билеты на концерты и театральные постановки на ближайшие полгода. Мне казалось, что это нас отвлечет и теперь мы уж точно отведем душу. Через пару месяцев муж сообщил, что его душе не нравится то, куда ее водят, и продолжать эти хождения отказался. Тогда мы ударились в путешествия и проехали от Калининграда до Байкала, но и это не изменило нашу жизнь к лучшему. Печаль затягивала его все сильнее. Просто какое-то грязное болото бездонной печали. Вроде бы ничего особенного не происходило, но у меня было полное ощущение, что кольцо безнадёги сужается вокруг нас все плотнее. Тогда я увлеклась готовкой. Если мы не хотим никуда ходить по вечерам, то будем проводить это время дома и с удовольствием. Каждый мой ужин стал произведением искусства.

Вино к ужину я поручила выбирать мужу. Ему понравилась его новая зона ответственности, и у нас даже появилась такая ежевечерняя игра. Он спрашивал: «Что может быть прекрасней вкусной еды?» «Ее приготовление!» — весело отвечала я. «Ты разочаровательна», — веселился муж. «Ты никакой как все», — вторила я. — «Вперед и спейся!» — и он с видом волшебника доставал необыкновенную бутылку из чудесной коллекции давнего бородатого года и произносил слова кого-то из великих о том, что жизнь слишком коротка, чтобы пить плохие вина. Короче, он увлекся всем этим. Слишком увлекся. К ужину с вином плавное добавился обед. Когда мы дошли до завтрака с шампанским, я поняла, что нужно срочно что-то делать.

И мы завели кота. Или кот завел нас. Наша жизнь сосредоточилась вокруг него. Теперь мы кормили и поили в основном кота, обсуждали, кого он больше любит, кому громче мурчит, кого лучше греет. С котом нам повезло, он оказался замечательным, был всегда рядом и позволял сколько угодно гладить свой меховой живот. Жизнь стала потихоньку налаживаться. Кот вошел в нашу жизнь как полноправный член семьи, снял напряжение и беспокойство наших душ. По крайней мере, мне так казалось...

Я хорошо помню то утро, когда муж растолкал меня и сообщил, что нам нужен ребенок. Он говорил, что мы еще молодые и у нас обязательно все получится. Он тараторил быстро-быстро, как будто боялся, что я буду возражать. Я не возражала. Следующий год мы как сумасшедшие пытались

завести ребенка, сначала сами, потом с помощью врачей. Ничего не получилось. Тогда мы решили, что дети приходят в семью разными путями. Так встал вопрос об усыновлении. Мы погрузились в эту тему с новым азартом. Мы проходили какие-то бесконечные школы приемных родителей, ездили по стране в поисках ребенка и почти прописались в детских домах.

Леньку я увидела не сразу. Он стоял в стороне от остальных детей и смотрел на нас открыто и безмятежно. Во мне как будто что-то щелкнуло, и я повернула голову в сторону мужа, буквально споткнувшись о его взгляд. Да, да, да, решение было принято нами мгновенно, единогласно и без долгих обсуждений. Леньке было пять лет. Темноволосый, вихрастый, улыбчивый, беззлобный, он производил впечатление домашнего ребенка. Где-то еще болталась его непутевая мать, лишенная родительских прав, но нас заверили, что с ней проблем не будет. Между Ленькой и мужем сразу установилась какая-то неуловимая связь. Он не сводил глаз с будущего отца и внимательно слушал каждое его слово. А папа таял. Каждый наш приезд был шагом к обоюдному счастью.

Наступил момент, когда мы впервые привезли Леньку к нам в гости. Это было как раз перед Новым годом. Елка, мандарины, сладости, подарки – все было готово. От всего этого изобилия ребенок беспомощно крутил головой и улыбался. Глядя на него, муж сиял. Ленька сразу стал называть нас мамой и папой. В доме пахло пирогами, уютом и впервые за долгие годы спокойствием.

«Как это едят?» – Ленька стоял передо мной и крутил в руке пузатый мандарин. У меня даже горло перехватило от нахлынувших эмоций. «Попробуй, это очень вкусно. Мы обязательно тебя всему научим. Все-все, ведь мы теперь твои мама и папа», – говорила я, старательно очищая мандарин.

Ленька был в восторге и от мандаринов, и от пирогов, и от всей моей готовки. Они с папой сначала пытались мне помогать и пробовали очень вкусно порезать колбасу, а потом под общий хохот заявили, что у них гораздо лучше получается все это вкусно съесть. Вечер закончился безумными забегами и играми с котом. Так они и уснули вместе, почти в обнимку, Ленька и кот.

А ночью началось какое-то безумие. Ребенок исчезал себя до крови. Он весь покрывался красными волдырями и бегал с криками по комнате. Таблетки от аллергии облегчения не приносили. Мы обтирали Леньку водой, водкой, мазали каким-то кремом, махали на него полотенцами. Лучше не становилось. Казалось, что эта ночь ада никогда не закончится. Ребенок уснул только под утро. Знакомый врач, внимательно выслушав наш рассказ, сказал, что от кота нужно срочно избавляться.

Легко сказать, «избавляться». Как? Куда? Существо, которое мы обожали, которое буквально вытаскило нас в сложный период жизни. Леньку мы взяли повторно к себе через неделю. Квартира к этому моменту по совету доктора была отдраена до блеска, включая стены и мебель. Мы по несколько раз прошли тряпками каждый квадратный сантиметр, где мог притаиться затерявшийся клочок шерсти. Ничего не понимающий кот был изолирован в ванной комнате, однако, никакого облегчения это не принесло. Кот орал, а Ленька продолжал чесаться.

Тогда я попросила свою подругу взять кота на выходные. Вечером она позвонила и сообщила, что кот лежит за батареей, не ест, не пьет и не выходит. На следующий день ситуация не изменилась. Мы отвезли Леньку в детский дом и помчались за котом. От нашего предательства кот отходил неделю. Мы делали еще пару попыток и привозили ребенка. Ленька капризничал, бегал кругами и, как специально, задевал кота.

Нам нужно было делать выбор и принимать решение, но никто из нас не мог взять на себя ответственность за него. Мы не могли думать и говорить ни о чем другом. Ребенок или кот? Звучит ужасно, просто дикость какая-то. Но у ребенка есть шансы на хороших родителей, а для кота это означает смерть. И кот с нами уже очень давно, он как член семьи, а ребенок как будто еще и не появился в нашей жизни, и мы к нему еще не привыкли, и он к нам еще не успел привыкнуть. Кот или ребенок? С котом все ясно и спокойно, он не подведет. А чего ждать от ребенка, особенно в переходный возраст, неизвестно. Все дети из детских домов рано или поздно начинают искать своих биологических родителей. И впереди всегда пугающая неизвестность. А может быть, на Земле есть другой замечательный ребенок, у которого нет аллергии на котов и нам нужно просто получше поискать?

Я где-то слышала, что, когда эмоции не могут перехлестнуть через край, они сдвигают крышу. От перенапряжения моя крыша свое место покинула. Внутри зрела мысль, что мы не справимся и что для ребенка лучше, если у него будут молодые родители. Кот приползал и мурчал на груди, как будто чувствовал, что решается его судьба. И так каждую ночь. Мы совсем перестали спать. Наши ночи превратились в бесконечные дебаты с соплями, слезами, взаимными обвинениями и примирениями. Под утро мы засыпали совершенно обессиленные, с губительной пустотой внутри, а потом наступало пробуждение, и все те же мысли возвращались вновь и роились в голове, как пчелы, кусая и взрывая мозг.

В тот последний Ленькин приезд я окончательно поняла, что шансов на совместное проживание у нас нет. Провожая его, я со слезами на глазах сказала, что больше мы не увидимся, так как нас отправляют в длительную командировку на Крайний Север. Ленька очень внимательно посмотрел на меня своими грустными серьезными глазами, обнял, вытер ладошкой мои слезы и очень по-взрослому сказал: «Не нужно расстраиваться, просто аист снова ошибся и принес меня не к той маме. Уже во второй раз».

Я думала, что муж от всего этого умрет. Он не умер, он просто ушел к другой женщине. Сказал, что впервые полюбил по-настоящему. У него теперь другая жизнь, другая семья, другой ребенок и даже кот другой.

А Ленька... Я его больше никогда не видела. Он очень похож на того паренька, который только что прошел мимо нас со своей мамой. Я почти уверена, что это он, вырос только. Значит, аист наконец-то сделал правильный выбор...

Люси замолчала, съезжилась, мне показалось – даже уменьшилась в размерах. Она задержалась за столиком, отвернувшись к окну, а я вышла на улицу, захватив с собой мандарины, оставшиеся на столе после ужина.

Мальчишки строили из снега крепость и готовились играть в снежки.

– Эй, пацаны, хотите подкрепиться? – крикнула я и предложила им фрукты.

– Мне нельзя, у меня аллергия, еще с детства, – Ленька был единственным, кто не двинулся в мою сторону.

– На кошек? – на автомате вырвалось у меня.

– Почему на кошек? На мандарины! – мальчик посмотрел на меня, и на его лице появилась искренняя легкая безмятежная улыбка.

Эвелина АЗАЕВА

Родилась в 1970 году в Алма-Ате, окончила журфак Казахского государственного университета. С 1991 года жила в Новосибирске. Работала собкором «Комсомольской правды» в Сибири. С 1998 года живет в Канаде, корреспондент «КП» в этой стране. 14 лет издавала газету «“Комсомольская правда” в Канаде». С 2018 года издает газету на английском языке.

Автор двух сборников рассказов, вышедших в Канаде. Печаталась в журналах «Нева», «Дружба народов», «Аврора» и других. Дипломант международного литературного конкурса «Мгинские мосты» (Санкт-Петербург, 2021). Член Союза писателей России. Живет в Торонто.

ЗА ЧТО Я ЛЮБЛЮ МАНЕЧКУ

Манечка – моя подруга. Мы с ней очень разные – внутренне и внешне. Я худая и высокая, а Маня – маленькая и полненькая. Я большую часть времени серьезна и сдержанна, Маня – эмоциональна и темпераментна.

В женщине всегда должна быть какая-то загадка. Манина загадка состоит в том, что я, после двенадцати лет дружбы с ней, до сих пор не знаю, кто она по национальности. Нет, не то чтобы это было для меня важно. Просто Маня постоянно посылает противоречивые сигналы. Это интригует.

Манечка иммигрировала в Канаду через Израиль. На шее она носит крупную золотую звезду Давида. Точнее, она носит ее на пышной груди и постоянно поправляет пальцем с длинным наманикюренным ногтем. Характеризуя плохого человека, Маня говорит:

– Фима – редкий мудака. Чтоб он был здоров.

Учитывая все это, время от времени я поздравляла подругу то с Песахом, то с еврейским Новым годом, узнавая из русскоязычных газет, когда наступят эти торжества.

Но в еврейках она у меня пробыла недолго. Сейчас расскажу почему.

Маняша – натура простодушная и увлекающаяся. Она долго искала себя в новой стране проживания (не просиживая, впрочем, без дела, а убирая чужие дома и продавая пончики в популярной сети кафе). Так вот, искала-искала себя и увлеклась эзотерикой. Но ей мало было осчастливить чудесами себя, она хотела еще и осчастливить человечество – обучать других, как жить.

Я убеждала ее, что эзотерика, магия – это ересь и в иудаизме, и в христианстве и не надо заглядывать в потустороннее, но Маня не сдавалась. Дело в том, что она нашла в интернете какую-то профессоршу

из Фрунзе с выразительной фамилией Адникова и такой же адской, ведьминской внешностью и с упоением читала ее книги, стала адептом и желала поделиться знаниями с миром. Правда, не бескорыстно. Потому что и сама она за книги Адниковой и ее уроки по скайпу выложила круглую сумму. И вообще, Маня – она же не Махатма Ганди, чтобы за так нести свет человечеству. Чтобы преподавать, она должна бросить работу. А жить на что-то надо – у Мани с мужем ребенок...

Маня ушла в эзотерику с головой и, как я слышала, начала обучение народа.

– Вот о чем ты думаешь, то с тобой и будет! – доказывала она мне по телефону. – Я учу людей думать о позитиве, моделировать будущее.

Я плохо отношусь к этой распространившейся в последние пару десятилетий мысли – «о чем думаешь, то и произойдет». Пусть каждый вспомнит, о чем он мечтал, как представлял будущее, и сравнит с сегодняшним днем. Я все детство и юность мечтала стать балериной и ходила в балетную школу, а потом стала филологом. Думала, выйду замуж за одноклассника Алешку Кваскова, пять школьных лет об этом мечтала, визуализировала, а вышла за канадца. Живу теперь в Калгари, работаю риелтором, и где теперь балет, а где я...

Я читала книжку Адниковой. Точнее, просмотрела. Бред сивой кобылы. Компиляция самых разных учений и чего-то вычитанного в научных журналах, что, чувствовалось, автор сама не понимала. Переказать не то что книжку, а даже пару абзацев было невозможно. Это были нанизанные друг на дружку «умные слова»: «нейролингвистическое программирование», «биорегуляция», «синхронное сознание». Но Маню было не переубедить. Она бросила все и открыла курсы Адниковой. Та с удовольствием приезжала за деньги Мани из Фрунзе в Канаду, проводила семинары и заодно продавала собственноручно сделанные «чудодейственные» кремы.

– Этот бальзам – от геморроя и мешков под глазами! – пихала она мне один бутылек ценой в сто тридцать долларов.

– Одновременно? – поражалась я. Мне казалось, геморрой и глаза так далеки друг от друга...

– Да-да! Всем помогает! – снова пихала мне снадобье Адникова.

– Но у меня нет ни мешков под глазами, ни геморроя.

– Бальзам хорош и для лица.

Кончилось Манино увлечение тогда, когда ее неоднократно обманули, причем Адникова приняла в обмане самое деятельное участие. Но все же это только подтолкнуло Маню к выходу из «тонкого мира» в мир реальный.

А настоящей причиной стали... черти.

– Наташка, они меня трясут! – вопила мне в трубку Маня ранним февральским утром, когда я только открыла глаза.

– Кто?

– Черти! Ночью... О-о-ой, я боюсь... – и Манечка заплакала.

– Допрыгалась. А я тебе говорила. Толком расскажи.

– Легла я спать, а ночью кровать как давай ходить ходуном... Ты не представляешь! Наташенька, она реально крутилась! И я на ней! Я так испугалась, что стала читать «Отче наш»...

Я удивилась.

– Ты же иудейка...

– Бог один, я считаю. И Христа я очень уважаю. Всегда, когда мне страшно, читаю «Отче наш».

– Странно.

– Я, когда с Николаева уезжала, даже в храм ходила, свечку поставила.

Маня всегда говорит «с Николаева», «с Одессы», «с Киева». Образования у нее нет. Она вышла замуж в 18 лет и эмигрировала с мужем в Израиль. Так что не успела... Приехав, сразу начала работать, а потом уже поздно было учиться, наступила вторая эмиграция и новые заботы.

Я успокоила ее, строго-настрого велев заканчивать с эзотерикой. И Маня закончила и пошла учиться на парикмахера. Заодно объяснила мне, что она на самом деле осетинка и умеет печь осетинские пироги.

Я заходила, ела. Вкусно. Но, по-моему, пироги – из магазина.

Да какая разница, кто Маня по национальности? Главное, что это свой в доску человек. Пока мы ели осетинский пирог, по русскому телевидению – единственному, которое Маня признает, – начали показывать кадры из «Тени исчезают в полдень»: уральскую природу. За кадром звучал голос Ободзинского:

Гляжу в озёра синие,
В полях ромашки рву,
Зову тебя Россиюю,
Единственной зову.
Не знаю счастья большего,
Чем жить одной судьбой,
Грустить с тобой, земля моя,
И праздновать с тобой.

Маняша заплакала. Она размазывала тушь по пухлым щекам и смотрела на меня своими осетинскими глазами.

– Наташка! Как я люблю Россию! Вот не довелось мне там жить, родилась и выросла в Николаеве, но родиной своей считаю Россию! И папа мой, осетин, тоже родиной считал Россию, хоть и прожил всю жизнь на Украине. Царство ему небесное. И мама у меня коммунистка...

Ободзинский обволакивает нас влажным своим теплым голосом, и мы уже ревим обе.

– Нет страны лучше, чем Россия! – выкрикивает сквозь слезы Маня.

– Еще бы, – подтверждаю.

– Ну, Канада тоже ниче, но душа моя в России.

– А что не поедешь, как говорят русофобы. Я не могу, Демон ребенка не даст вывезти, а ты чего?

Демоном я иногда называю своего мужа Десмонда. Очень уж слова созвучные.

– У нас нет российского гражданства. Мы из Советского Союза уезжали в Израиль. У нас все отобрали – гражданство, квартиру. Вроде, говорят, как-то можно восстановить, но наш Борюсик вырос за границей, он по-русски понимает, а отвечает по-английски. Не говоря уж, не умеет по-русски читать и писать... Мы ж приехали и впахивали, некогда было ребенка учить... Хорошо хоть устная речь сохранилась.

Маня шмыгает носом.

– Я сама две эмиграции пережила, не хочу сына вот так же, с корнем вырвать из страны...

– Молодые быстро адаптируются...

– Девушка у него тут. Канадка. Не поедет она в Россию, а он ее не бросит. Да и мой Виктор не поедет в Россию. Уже не то здоровье, чтобы жизнь заново начинать.

Нам с Маняшкой по 38 лет. Ее мужу – сорок пять.

– Вообще-то, тут, в Канаде, неплохо, – вытирает слезы и наливает чай в розовую, всю поизогнутую чашку Маня. – А тебе в какую посудинку?

Она распахивает кухонный шкаф и показывает галерею самых разных чашек. Коллекционирует.

Я выбираю с надписью «Самая красивая». Я и духи всегда покупаю под названием «Клиник хэппи» – «клинически счастливая». Самовнушением занимаюсь. Подсознательно.

– Тут неплохо, правда? – продолжает Маня. – Работать, правда, приходится, с утра до вечера, ну и ладно, чтобы не заржавели... Охо-хо, – хохочет, – не дай себе засохнуть!

Маня быстро переходит от слез к смеху и наоборот. Китайский доктор сказал, что это у нее от недостатка йода в организме. А мне очень нравится эта ее детская непосредственность. Будьте как дети, сказал Христос.

Манька – чисто ребенок. Я не могу порассуждать с ней о грамматике и лингвистике или посравнивать прозу Бунина и Куприна, но мне это и нравится. С Маней легко, тепло и безопасно. В эмиграции такие ощущения особенно начинаешь ценить.

То, что она не ребенок, становится понятно, когда она матерится. Маню возмущает любая несправедливость. До глубины души. Она сотрясает весь ее довольно-таки нехилый организм. Подруга иногда звонит мне и кричит:

– Ты видела этих ублюдков-правосеков? Пидарасы, дети сатаны! – ну и так далее. Она орет во всю глотку – так, что мой сын выходит из комнаты и спрашивает, что происходит. Он слышит крик из телефонной трубки. Я же слушаю Маню с чувством большого морального удовлетворения и даже готова на бурные и продолжительные аплодисменты. Потому что согласна.

– Гаденьши гребаные! У них матери есть? Людей жгут!!! Да их самих надо на кол, на Лобное место, на дыбу, нет – четвертовать!

– Бандеровцы на лесопилках людей распиливали, – вспоминаю.

Это Маню неожиданно смущает.

– Да?... Ну, мы так не будем... Не знаю я уже, что делать. Но как-то же эту войну надо остановить! Мы же советские люди! Мы воевали вместе! Наташенька, ну как они так могут, а? Зеленкой ветеранам в лицо! Подонки! Им осталось еще у детей конфеты отобрать, и все, достигнут дна.

Маня плачет.

Она вообще часто плачет. Наверное, устает. Увидит в интернете какого-нибудь избитого хозяином в Индии слона или замученную обезьяну – и плачет. Старушку с протянутой рукой – плачет.

Если бы могла, она бы помогла всем. Маня откликается на все благотворительные акции. Мешками тащит свою одежду и обувь в хорошем состоянии для пересылки на Донбасс. Было наводнение в Сербии – собрала вещи со всех знакомых и тоже принесла к пункту пересылки.

Я слушаю ее всхлипывания и понимаю, что она изорвала себе сердце. «Во многом знании много печали». Детям нельзя показывать насилье, это подрывает их психику, вот и Машке – нельзя. Но она никого не спрашивает и смотрит. Репортажи о том, что происходит на Украине.

– Маш, не смотри больше телевизор, а? Или смотри только комедии.

Маня моментально меняется в настроении. Хихикает:

– Эротика.

Смеемся обе.

– Слушай, мой нашел какую-то свою однокурсницу в интернете и завел с ней шашни, – заговорщицки говорит Маня. – А я знаю пароль к его странице в Фейсбуке и все читаю. Ой, там уссышься...

Смех серебром рассыпается в трубке.

– Она в Питере живет, художница, вся такая-растакая, интеллигентия. Спрашивает его, кем он тут, в Канаде, работает. Ну а мой не хочет признаваться, что водителем грузовика, пишет: «У меня компания по дальним перевозкам». Попросил меня его сфотографировать во фраке, чтобы ей показать. Ну, я сфотала. Импозантный такой стоит, в белой рубашке, во фраке, а внизу – семейные трусы. Только она этого не увидит, я его от пояса и выше снимала...

Маня хохочет, как нашкодившая девчонка.

– Как ты это позволяешь? А если уведет?

– Она далеко, в Питере. И вообще, кому он нужен. У него зубы вставные, начальная стадия диабета и мужское достоинство на полшестого.

В следующий раз мы встречаемся с Маней, чтобы сходить в японский ресторан. Вижу у Мани – губы странные. Синие и запавшие.

– Я решила накачать себе губы, – объясняет. – Лабутенов нет, пусть хоть губы будут.

Слово «губы» она произносит с украинским «г» – глухим. Теперь представьте себе такой монолог с этим «г»:

– Доктор вкачал мне в губы что надо. А они вдруг начали проваливаться. Я не поняла почему. Я прихожу к нему и спрашиваю: «Где мои губы? Я вам столько денег отдала, где губы?»

Я не выдерживаю и покатываюсь со смеху. Она не обижается.

Мы болтаем о всяком-разном. Маня слушает меня с большим уважением и бесконечно верит. Она быстро перенимает мою точку зрения на то на се, и это умиляет. Кроткие люди редко встречаются, а поскольку во мне этой черты нет и близко, в Мане она меня просто восхищает. Хочется прижать ее к себе, поцеловать в затылок и сказать: «Какая же ты милая!»

На Маню нашел хохотунчик.

– А мой-то влюбился в однокурсницу по самые уши... Пишет ей: «Целую твои лепесточки», представляешь?

Я вытаращиваю глаза. Маня кивает, показывая, что я правильно догадалась.

– И постоянно проверяет, дошла ли она вечером с работы до дому. Пишет: «Я посчитал разницу во времени, ты уже должна вернуться, а ты не вернулась, я волновался».

– По-моему, это уже too much...

– Да кому он нужен...

– Не скажи, вдруг та фифа захочет в Канаду...

– Не захочет. Он ее спрашивал. Она ответила, что ни за что. Она любит Питер и не хочет в Канаду. Да кому Витька нужен? Мы с ним двадцать лет вместе. Работа у него тяжелая, скучная, пусть развлекается. На расстоянии.

Потом Маня надолго пропала из виду. Обе мы были заняты, и вдруг она звонит. Я даже не поняла сперва, кто это. В трубке раздавался рев.

– Наташка! Он ушел! Виктор! Да, к этой, из Питера. Уехал к ней и сказал, что не вернется!

Час я слушаю сбивчивый рассказ, перемешанный с воем. Выясняется, что в один вовсе не прекрасный день муж, который со вставной

челюстью и диабетом, заявил, что ему очень стыдно и неприятно это говорить, но он вынужден признаться, что безумно влюблен в однокурсницу и хочет с ней жить в России. Маня взывала, сын перестал с отцом разговаривать – все безрезультатно. Виктор купил себе белые штаны и уехал к возлюбленной.

– Может, еще вернется?

– Наташенька, не думаю, – уже немного успокоившись, говорила Маня. – Я его понимаю... Мы жили уже по инерции. Вроде и никакой любви уже не было. Давно. Так, родственники. А в молодости он меня очень любил – подлавливал на каждом углу, поклялся обязательно меня добиться. И добился. И вот это все прошло. Я его понимаю... Сама виновата. Располнела. А та, крысочка, на каблуках. Снимки ему посылала в красивом белье... А я-то, дура, уши развесила.

– А я тебе говорила, – начала было я и споткнулась. Надо быть последней сволочью, чтобы ворчать теперь.

– Нет, ну ты понимаешь... Он правда влюбился, и мне было жаль рушить ему эту сказку. Он летал. А он же мне не только муж, а будто уже брат или сын. И я хотела, чтобы он получил немножко счастья... Я же не думала, что он полетит через океан.

Она замолчала, а потом будто заново осознала свою потерю и закричала:

– Наташка, мы были двадцать лет вместе, в двух эмиграциях! Мы поддерживали друг друга, утешали, а теперь все коту под хвост!

Она рыдала.

Я не знала, чем утешить, и говорила: «Да не бойся... Сейчас та баба узнает, что он не владелец компании, а шофер, и не захочет с ним связываться... Это ж мезальянс. Да, он тоже учился на художника, но когда это было... Эмиграция его потоптала. Он сейчас Ван Гога от Матисса не отличит. Тебе все равно, а ей – культурный шок. О чем он с ней будет говорить? О ценах на топливо? О том, сколько в каких компаниях платят за милоу? И ты говоришь, у него на полшестого... Зачем он ей такой?»

– Это на меня на полшестого! – провыла Маня. – А на нее, может, работает..

Я скорбно замолчала.

* * *

Прошел год. Виктор не вернулся. Писал Мане по интернету покаянные письма. Но, говорил, любит Людмилу и ничего не может с собой поделывать. Дал Мане код от своего счета в банке чтобы она выплачивала ссуду за дом. Дом оставил полностью ей. Просил у сына прощения и понимания. Интересовался Маниным здоровьем. Прислал со знакомым, который часто летает из Калгари в Питер по делам, подарки. Мане – золотые сережки, сыну – куртку с надписью «Россия». В общем, вел себя как порядочный человек.

Маня притихла, тосковала. Но ругать Виктора мне не позволяла. «Ну не любит он меня, что, сдохнуть ему, что ли?» – устало огрызалась.

Одно время она начала усиленно следить за собой: покрасила волосы, маленько пособлюдала диету, правда, быстро сдавшись, делала себе невероятный дорогой маникюр в салоне. Ей рисовали на ногтях и бабочек, и лилии, и разбитое сердце. Разве что осетинских пирогов не рисовали. А на плече она сделала татуировку – змейку.

– Портрет нашей разлучницы! – говорила. – Витька столько мне о ней рассказывает, что я ее уже сама люблю.

Смеялась, конечно. Пыталась держать хвост пистолетом.

И еще, несмотря на то что Виктор дал код от счета, ей пришлось больше работать. Во-первых, деньги быстро уходили, а он же больше не ездил по калифорниям и аризонам, так что счет только таял, не пополнялся, а во-вторых, ей было неудобно, что он остался в одних белых штанах в стране, которую давно покинул и в которой долго не мог найти работу. Шофером не хотел – стеснялся новой жены, а ни на что другое не брали. Выпал он из российской жизни, да и гражданства не было. Мане было стыдно его «обирать».

В итоге Виктор и его пассия решили ехать в Канаду. Не в Манин дом, а купить другой. Благо у Виктора хорошая кредитная история и ему без проблем дадут ссуду в банке.

– Что и требовалось доказать! – рывкнула я Мане. – Зазноба твоего Вити хотела в Канаду, но ломалась.

Маня промолчала. Ей была обидна мысль, что Витя любит Людмилу, а та его использует. Маня не хотела в это верить. Ей хотелось, чтобы у него все было хорошо. И вообще, если он приедет, с ним иногда можно будет видеться.

Она соскучилась.

* * *

А потом Маня влюбилась. В молодого кубинца. Они познакомились на кубинском курорте. Я подозреваю, что он был одним из тех парней, что зарабатывают сексуальным обслуживанием туристок из Канады. Но Маня настаивала, что он хороший ...

Она влюбилась так, что жила от встречи до встречи с ним. В интернете. А интернет на Кубе дорог. Так что удавалось в лучшем случае поговорить раз в неделю. Маня худела для него, делала ботокс, покупала наряды – чтобы выглядеть в скайпе привлекательной. Она говорила, что у них необыкновенная духовная связь, что их души – родственники во Вселенной и что это не она придумала, а он ей сказал.

Я смотрела на фото этого хлыща и сомневалась, что он знает выражение «духовная связь».

Маня то планировала выйти за него замуж и уехать на Кубу, благо сыну уже 18 лет, то бегала по адвокатам, пытаясь узнать, как перевезти кубинца в Канаду. То переживала, что мать парня не даст ему на ней жениться.

Я все думала: зачем 22-летний парень пишет тетке, которая ему почти в матери годится? Зачем морочит голову? И ответ лежал на поверхности. Чтобы переехать в Канаду, как мечтают многие кубинцы, живущие в ужасающей нищете. Или чтобы получать от Мани посылки. Чтобы приезжала и привозила чемоданы подарков.

Маня именно этим и занималась. Ехала на Кубу груженная как мул. Летала только кубинскими авиалиниями – они позволяют больше багажа брать. Брала два чемодана по 23 кг каждый, на себя надевала по две-три майки (чтобы потом подарить родственникам возлюбленного), украшения (для них же), и только в носу кольца не было.

Мы часами с ней болтались по канадским комиссионкам, покупая вполне хорошие вещи, некоторые даже с этикетками, по бросовым ценам, за сущие копейки. То есть центы. Все на подарок Эстебану.

Потом Маня что-то поняла. Что – я не спрашивала. Видела, что ей неприятно будет это говорить. В общем, закончились и самба, и румба. Но Маня не винила Эстебана.

– Ты же знаешь, какая у них бедность. Разве можно осуждать нищего за то, что он хитрит, чтобы получить новую рубашку? Он хороший мальчик, просто жизнь у них такая...

Я согласилась. Я и сама очень хорошо отношусь к кубинцам. Умные, благодарные, гордые, смелые. Любят русских. А Эстебаново ремесло... Пусть американцам будет за него стыдно.

* * *

Прошло два года. Маня успокоилась и больше никого не ищет. Сын у нее неожиданно женился. Рано для Канады. Обычно тут годам к тридцати женятся. И Маня ждет внучку. Радуетя.

Сноху очень любит и балует. Называет доченькой, и та в благодарность учит русский язык.

Однажды, увидев русский алфавит, Мелани ткнула пальцем в букву «с» и радостно крикнула: «Сука!» Я удивилась, а Маня залилась смехом.

– Это мы с ней фильмы российские смотрим, а там все «сука» да «сука». Ну я ей и объяснила, что это означает самку собаки. А тут, в алфавите, видишь, у буквы «с»” нарисована собака. Вот Мелани и подумала, что «сука».

Когда они сидят за столом, Мелани жметя к полной и теплой Мане, как зеленый росток к крепкому родному дереву. И Маня делает мне большие счастливые глаза: видишь?

А недавно я узнала, что Маня... дружит с соперницей. Просто Виктор пригласил Маню и сына к себе на день рождения. И встретила бывшую семью хозяина дома Людмила.

– Я увидела, что она волнуется, глаз на меня не поднимает. Бегает вокруг, суетится, угощает... Мне стало ее жалко, – говорит Маня. – И я тогда пошла за ней на кухню, обняла ее и поцеловала. Сказала, что не обижаюсь. Мне показалось, у нее выступили слезы на глазах. А Виктора я, конечно, люблю. И потому хочу, чтобы он был счастлив. Что хорошего он видел в жизни? Две эмиграции вместе пережили...

Сергей ЗЕЛЬДИН

Родился в 1962 году в станице Ярославской Краснодарского края. Работал стеклодувом, инкассатором, бизнесменом. Публиковался в журналах «Волга», «Новый берег», «Крещатик», «Дружба народов» и других. Живет в Житомире, Украина.

КОНЕЦ КИНО

Наконец, час «эм», или, другими словами, час «икс», о котором так долго говорили ютубовцы, настал.

В одно прекрасное утро Сергей Леонидович, выйдя из подъезда, чтобы сходить в «Железнодорожник» за плавленными сырками, увидел высоко в небе густо и дымно прочерченные траектории летящих ракет.

Судя по направлению, ракеты летели с северо-востока куда-то на вост-зюйд-вест.

«Не может быть!» – подумал Сергей Леонидович, опускаясь на скамейку, так как ноги отказались его держать. Вспомнилось глупое детское: «Пипец подкрался незаметно, хоть виден был издалека».

В окнах кухонь забелели ошарашенные лица соседей, с треском распахивались заклеенные рамы, слышался тихий ропот. Дети, совершенно очарованные полосатым небом, стояли, задрав головенки.

Вся жизнь пронеслась перед внутренним взором Сергея Леонидовича. Но сначала он, по вполне понятным причинам, подумал о сыне Володьке, невестке Вере и внучонке Кристиане в Дании. Затем подумал о жене Галине, пошедшей на маникюр, о теще в Коростышеве, о двоюродной сестре в Краснодарском крае, о дяде Саше и тете Рае в Ленинграде, то есть в Петербурге, а уже потом перед его внутренним взором замелькала его жизнь в виде обрывочных воспоминаний и туманных картин.

Странно, что жизнь проносилась перед Сергеем Леонидовичем не в хронологическом порядке: детство – отрочество – старость и так далее, а вразнобой, россыпью.

Так, сначала ему вспомнилось, как в учебке он прокалывал иголкой дни в календарике, дожидаясь такого недостижимого «микродембеля», и какая тоска брала его, когда он видел, что до весны по-прежнему далеко. Самые употребимые слова в химвате были: «тоска», «вешайся» и «все в соплях», почему-то через букву «н» – «в сопнях».

Сразу вслед за этим привиделось Сергею Леонидовичу, что он живет в станице с дедушкой и бабушкой. Он смотрит в окно, а за окном метет

снег. В сенях жалобно, по-бабьи, вскрикивает дверь, и в горницу входят огромные люди в кожухах и папахах, а потом долго играют с дедушкой в «дурня», а на столе лежит гора семечек, и все, не отрываясь от карт, их лузгают, а потом, наигравшись, выпивают самогонки под моченый арбуз, а арбуз из бочки, а бочка в кладовой... На чердаке банный дух от пучков зверобоя... Курица бежит с отрубленной головой... Майкоп, Армавир... «Ты мой миткалевый!» – говорит бабушка...

Вслед за этим вспомнилось Сергею Леонидовичу, как однажды на зимних каникулах в пятом классе, когда они жили уже на Украине, он поехал на турпоезде по маршруту: Киев – Чернигов – Брянск – Москва – Житомир и как он потерял этот турпоезд в Киеве и, вернувшись с Крещатика, бегал по перронам, и какое отчаяние его охватывало, а ранние сумерки все сгущались, и поезда все уходили, пока, плача, он не подбежал к милиционеру, и тот не отвел его на запасный путь, куда переставили турпоезд, и он тут же тронулся.

Потом, непонятно почему, память Сергея Леонидовича переключилась на последние события его жизни, как он недавно хоронил друга детства, умершего от ковида, и как он не испытывал особой скорби и много и с аппетитом ел на поминках, понятно, что от нервов, но все же это было скотством. А раньше он тяжело переносил похороны и даже пил таблетки от сердца. Вспомнил, как кто-то сказал на перекуре: «По крайней мере, у Витька есть могила», – как будто предчувствуя сегодняшнее. Но вообще-то эта фраза давно уже стала популярной и часто произносилась на похоронах, как когда-то: «Бог дал, Бог взял» или «Земля ему пухом».

Затем...

Впрочем, сколько бы ни перечислять всех воспоминаний Сергея Леонидовича, все равно это заняло совсем немного времени, пусть не секунду, как когда летишь с балкона или тонешь на зимней рыбалке, но тоже быстро.

Да и ничего тут оригинального или своеобразного не было, и, наверное, со многими в эти минуты происходило то же самое, и вообще во многих книгах мировой литературы с героями это часто случается, например в «Снегах Килиманджаро».

Сергей Леонидович, забыв о плавленых сырках, вернулся домой и набрал жену.

Телефон не работал.

– Все, – сказал Сергей Леонидович, – кина больше не будет.

ДЕПЕР

Когда Геннадия Руслановича друзья спросили: «Ты куда пропал, Гендос?» – он ответил:

– Блин, пацаны, такой депер был, что не передать! – и махнул полтишок.

«Депером» на их жаргоне была депрессия.

У всех в наше время бывают депрессии, если только не слабоумный.

Хотя в наше время и слабоумным несладко, с тех пор как позакрывали дурдома и они, вместо того чтобы принять таблеточку клозапина в комплексе с укольчиком rispеридона и забыться в грезах, бегают по улицам и цепляются, чтобы все говорили по-украински .

Так что депер случается со всеми, и потому особенно приятно, что именно в этот раз он был не у вас, а у товарища.

У Геннадия Руслановича депер в этот раз был ни большой, ни маленький, а такой, средний. По крайней мере, ему не представлялось с мазохической ясностью, что он режет себе вену на руке, да не поперек, как это делают симулянты, а, как положено, вдоль. Также он не смаковал последние секунды после самоповешения и не фантазировал на тему похорон, которые в наш коронавирусный век напоминают похороны Стендаля. За гробом классика шли трое: Тургенев, Мериме и неизвестный. Но все равно Геннадий Русланович мрачно пролежал на диване все выходные, отвернувшись к спинке, и то и дело куря на кухне, хотя уже почти собрался бросить.

Растравляя душу воспоминаниями, он бормотал про себя: «Хренова доля!» – чувствуя, как подергиваются глаза слезами, а в груди болит, как в юности от растоптанной любви.

Он перебирал всю свою жизнь и не находил ни одного мгновения, когда бы не напортачил или не был мудаком.

«Я был, – думал Геннадий Русланович, – плохим сыном, плохим мужем, сволочным отцом и опять хреновым сыном для старой мамки! Зачем, зачем я не ездил на дачу поливать грядки и только обещал остеклить балкон? Моральный уродец! О х-хосподи-и!..» – и он крепко сжимал глаза, чтобы не видеть картин, нарисованных ему услужливой памятью, чувствуя, как катится слеза, холодя щеку и увлажняя подушку.

Жена позвала жрать, и Геннадий Русланович сходил на кухню, но жрал без всякого аппетита, без водки и, хмурый, надутый, вернулся на диван скорби.

Вспоминалось ему, как не поступил он в политех, чтобы только сделать назло отцу, который вскоре разбился на машине, да так всю жизнь и проходил дураком без высшего образования, хотя самые

тупорылые троечники пооканчивали если не политех, то хотя бы военное училище.

Вспоминалось ему также, каким мудилой сержантом он был в армии, нахватавшись в учебке самого плохого, присущего дедовщине.

И как потом, уже после армии, однажды не кинулся в драку, будучи грязно оскорбленным при девушке, зассав получить по рылу.

А также как изменял жене, хорошей, доброй и ни разу не попавшейся на аналогичном.

Как лупил маленького Андрюху. А тот в восьмом классе записался на каратэ и, когда он опять полез по пьяни, встал в какую-то «позу кобры» и заверещал: «Шо хочешь?.. Шо хочешь?..» – и Геннадий Русланович зассал получить по рылу и пошел лег проспать.

Геннадий Русланович дошел до того, что начал уже цепляться к мелочам, вспоминая, как мычал с остальным стадом: «Ю-щен-ка!.. Ю-щен-ка!.. – участвуя в погублении страны. Как старается теперь говорить в магазине и на почте по-украински, хотя не любит мовы и никогда, кроме как на уроке, на ней не говорил.

Как...

Ну, было еще много разных «как», и Геннадий Русланович все выходные провалялся в депере как выжатый лимон.

Но на третий день за окном выпал блестящий беленький снежок, вышло солнышко, природа стала очень красивой, и Геннадий Русланович, погнав в гастроном за хлебом, с особой лихостью, усмехаясь, сказал жлобихе-продавщице:

– Вы бачылы, яка зыма? Казка!

Сидя в маршрутке по дороге на работу, он уже совершенно забыл о своем депере и даже не мог представить, что так переживал из-за такой ерунды, как своя жизнь.

ТРАМВАЙ

На Вршовицкой многие хозяйки сошли и пошли на Гавелский рынок.

Вошли две молочницы с корзинами, покрытыми нечистыми салфетками и щуплый господинчик.

Бабы стали на задней площадке и завели разговор о торговых оборотах, потом смеялись, что полицейский инспектор Жила конфисковал у какой-то Геленки крынку сметаны якобы для экспертизы:

– О, эти экспертизы серьезное дело! – смеялись молочницы. – У пана инспектора семеро детей!

Щуплый господинчик уселся впереди и стал с видом крайнего внимания смотреть в окно. Звонок прозвенел, трамвай тронулся.

За окном не спеша разворачивалась панорама пражских улиц, площадей и памятников многочисленным Францам Иосифам и Иосифам Фердинандам.

Звонок звенел, люди входили и выходили. Пока доехали до Градчан, общее мнение сложилось такое, что хоть Англия и побила буров, да у самой морда в крови и что Балканы, этот пороховой погреб, себя еще покажет.

На улице Длоугой всеобщий интерес вызвали крики, ругань и трели полицейского свистка.

На полном ходу заднюю площадку, разметав молочниц с их крынками и горшками, взяли штурмом два новых пассажира.

Первым, тяжело отдуваясь и бормоча проклятия, ввалился какой-то солидный господин в сюртуке, перепачканном мелом. А за ним лихо вскочил на подножку кругломордый босяк лет двадцати трех.

Не успев войти в трамвай таким скандальным способом, босяк тут же высунулся с площадки наружу и стал кричать что-то оскорбительное. При этом он далеко выставлял из дверей свой зад в обтрепанных, как у комика Ржечека, штанах, и к этому заду приставлял пучок петушьих перьев, явно выдранных из полицейской каски:

– Поцелуй меня в фалду! – орал он во все горло. – Кукареку! – швырнул напоследок в невидимого преследователя перьями, плюнул и закончил энергически: – Проклятые шпики! Башибузуки! Сатрапы шенбруннского паши!

Трамвай выразил молчаливое согласие.

– Приветствую! – сказал черноусый босниец.

После этого, очень довольный собой, обтрепанный субъект плюхнулся на скамейку рядом с господинчиком, продолжавшим смотреть в окно с видом слабоумного глухонемого.

Его приятель сел напротив. Некоторое время новые пассажиры спорили с кондуктором, пристало ли жрецам Аполлона платить за проезд,

потом горячо обсудили какую-то Боженку, причем пожилой называл ее душкой и милым дитятей, а молодой – шкурой. Потом приятели ненадолго замолчали, видимо, исчерпав темы для разговора.

Но вскоре молодец в дырявых портах, непоседливый как воробей, толкнул своего друга, которого он называл то Франкенштейном, то Будейовицким Маньяком, то просто Франтой, кивнул на своего соседа и, деликатно коснувшись своей нечистой лапой его маленькой ручки в свежайшей желтой перчатке, медово спросил:

– Имею ли я честь лицезреть перед собой пана Бржетислава Кокошку, содержателя подпольного абортария на улице Пресвятой Троицы?

Господинчик мучительно вздрогнул и с тревогой уставился на говорившего. Несколько мгновений он явственно старался перенестись в этот грубый мир откуда-то издалека, возможно, с Луны:

– О нет... – пробормотал он, запинаясь. – Я... я вовсе не пан Кокошка.

– Кто же вы, по-вашему? – гневно вскричал голодранец. – Шулер Нимиц? Конокрад Говенка? Русский царь Николай Александрович? Не вздумайте со мною крутить! – и он бешено завращал глазами. – У меня разговор короткий!

– Я... не царь Говенка... – с сомнением пробормотал господинчик. – Я... доктор Франц Кафка из страхового общества «Ассикурациони Дженерали»...

– Ай! Чтоб меня! – подскочил босяк на месте как бы от испуга. – Доктор! Такой молодой и уже доктор страхования! – он толкнул коленкой своего приятеля. – Ты когда-нибудь слышал что-либо подобное, Франта?

– Врет, небось, – флегматично заметил Франта. – Какой-нибудь сутенер со Златой Улочки или депутат от младочехов.

Господинчик, имевший наглость назвать себя доктором, отвернулся к окну. Щека его нервически подергивалась, на глаза навернулись слезы.

Бродяга, которого Будейовицкий Маньяк Франта называл то «остолопским вруном», то «бездомным аферистом Гашеком», то просто Яреком, вдруг расхохотался и хлопнул доктора Кафку по плечу:

– Брось, друг! – сказал он. – Это же шутка! Я сам доктор грязнописания!

Доктор Франц Кафка, уже успевший вернуться обратно на Луну, пропустил извинения мимо ушей.

Хулиган же Гашек перепорхнул на соседнюю скамейку, строил глазки и втирал очки хорошенькой барышне, севшей в трамвай у Крумлова моста.

– Бываете в «Бендловке»? – галантно осведомлялся бездомный аферист Ярек. – Приходите сегодня плясать танго, а потом я куплю вам рюмку контушовки! Я получил в газете «Нова Омладина» сорок крон аванса и теперь валяюсь в золоте, как свинья в грязи! Я как Ротшильд!

Похмельный Фанта мрачно икнул:

– Не забудьте, пан Ротшильд, что мы должны пани Швейцеровой за квартиру за два месяца.

– Проклятый пьяница! – вдруг вскричал Гашек, тыча пальцем в окно. – Академия вшивых художеств! Из-за тебя мы проехали остановку! Что скажет пан редактор «Скотоводческого обозрения»? Стой! Стой! – заорал он и, опрокинув какую-то даму с колпаком для лампы и таща за собой покорного Франту, соскочил с трамвая.

Они так ловко прыгнули на мостовую, что сшибли с ног прыщавого юнца с тревожными глазами и папкой под мышкой. Папка упала

на булыжники мостовой, оттуда веером рассыпались листы бумаги с бледными пейзажами.

– Oh mein Gott! – слабо вскрикнул юный художник.

– Du idiot!* – взревел безбожный лгун Гашек, перейдя на немецкий. – Какого черта претесь вы со своей художественной галереей туда, где есть я? Фамилия! Имя! – гаркнул он, демонически сверкая глазами, одной рукой ухватив юнца за шкурку, а другой толкая криво усмехавшегося Франту в бок. – В какой гимназии учились? Частенько, чай, попадали в кондуит?

– Ги... Ги... Гитлер! – испуганно пролаял юный мазилка. – Адольф! Смею доложить, окончил четыре класса реальной школы! Час... частенько попадал!

Гашек помог Адольфу собрать рассыпанные картинки и похлопал того по плечу:

– Одну беру на память. Мне этот мостик очень нравится. Он напомнил мне давно минувшую юность у Домажлиц в Мерклине. Сегодня подарю его своей невесте Боженке. Это такое чистое создание! Желтый билет у нее всегда в полном порядке, это вам скажет любой в кафе «У мертвеца»! Надеюсь, вы не в претензии? – вскричал Гашек, опять завращав глазами. – И учтите, Гитлер, что вам крупно повезло, что вы так легко отделались! У меня разговор короткий! – он молниеносно отвернул лацкан обтерханного пиджачка, где и правда сверкнул какой-то спортивный значок. – Ать-два, и в участок! А там – каторга, дыба, аутодафе! Вы меня понимаете?

– П-п-п-понимаю!.. – плаксиво сказал юный олух Гитлер. – Простите, господин старший инспектор, больше такого никогда не повторится! Но он говорил это в пустоту. Гашек с другом уже исчезли за углом.

* Ты идиот! (нем.)

Ильдар АБУЗЯРОВ

Родился в 1975 году в Горьком. Окончил исторический факультет Нижегородского государственного университета. Параллельно учился в Московском исламском колледже. Работал сторожем, грузчиком, журналистом, управляющим цеха оконных блоков, коммерческим директором журнала «Октябрь».

Публиковался в литературных журналах и альманахах. Автор книг «Осень джиннов», «Курбан-роман», «Хуш», «Агробление по-олбански», «Мутабор». Произведения переведены на немецкий, чешский, шведский языки. Лауреат Новой Пушкинской премии (2011) и премии имени Валентина Катаева (2012).

Живет в Москве.

КОРАБЛЬ ТЕСЕЯ

Черно-белый роман

Фрагменты

Пролог. Промежуток перехода**1**

Все что мне осталось – это смотреть на людей в метро. Каждый день я спускаюсь в переход между двумя станциями, чтобы смотреть на них, вдохновляться и писать их имена на тонкой рисовой бумаге. Я сажусь в длинном тусклом переходе и вывожу буквы. Отныне я буду сидеть здесь и писать каждый день подобно тому, как художники пишут свои полотна на пленэре. Только я пишу не картины, а имена – на китайском, арабском, японском, хинди, древнеегипетском. Кто на каком пожелает...

Пусть здесь душно и неудобно, я буду писать, я буду стараться сосредоточиться, стараться выводить маленькие или размашистые буквы на салфетках, как я называю прозрачную рисовую бумагу.

Каждая салфетка, если ее развернуть, размером с плитку керамогранита, которой обложены стены перехода. Они напоминают надгробные плиты с эпитафиями, каждой мелькнувшей в моей жизни душе.

Как там надгробный стих на могиле Китса: «Здесь лежит тот, чье имя начертано на воде». Написание иероглифов дождевой водой на асфальте или краской на водной глади – та еще медитация. Вода впитывает в себя

все, в том числе время и имена. Йейтс, Элиот, Фрост. Впрочем, мне гораздо больше нравится эпитафия, что начертана на могиле Уайльда: «Все мы сидим в сточной канаве, но некоторые из нас смотрят на звезды». Или на могиле Коперника: «Остановивший Солнце – двинувший Землю».

Солнце – звезда, что рисует лучами иероглифы в небе и на земле. Но в моей жизни была звезда и поближе: это ты, Мелисса. И потому я буду чертить твоё имя, буду писать его на салфетках, которых набрал в уличных кафе, или в клетках тетрадок, которых купил на распродаже после того, как отзвенел первый звонок, да и второй, и третий звонки уже отзвенели.

И тогда, словно ты зритель в зале, уже неприлично метаться и стонать. А можно только принять правила игры, вжаться, будто это кресло взлетающего лайнера, в сиденье и покорно склонить свою голову и гордость перед представлением, которое проходит без тебя и, в общем-то, если быть до конца честным, не для тебя.

«Наконец счастлив» – вот идеальная эпитафия! – воскликнул как-то в ответ на мои рассуждения Алистер. – И заметь, написана она на могиле физика и математика, что лишний раз подтверждает, что ученые точнее, лаконичнее, логичнее и как следствие умнее вас, гуманоидов.

Сам Алистер – физик и математик. И это он привел меня на кладбище и прирастил бродить меж могил и читать эпитафии. Он же научил меня каллиграфии и рассказал мне о памятнике, который хотел бы видеть на своей могиле. А еще он приучил меня лежать на чужих могилах и смотреть на звезды глазами мертвых.

2

«Представление» – вы заметили? – я сказал «представление». Будто я хочу снять с себя всякую ответственность, уклониться от действия и остаться лишь наблюдателем. Будто я хочу жить так чтобы целыми днями только и делать, что посещать театр или даже театры и созерцать. Будто я хочу жить и после смерти. Будто я хочу жить и после третьего звонка и все так же обладать пятью чувствами. Видеть, слышать, обонять, осязать, чувствовать вкус.

Я вытягиваю руку и касаюсь пятью пальцами чуть шершавой поверхности плитки, на которой было начертано твоё имя, стёртое со временем ветром, смытое от людских глаз водой. Про эту надпись знаем только я и духи.

Чтобы в подземке у меня была связь с духами, я почтительно снимаю шапку и кладу её возле себя – на пол. Так я прошу о покровительстве, попутно прикидываясь попрошайкой. Иногда прохожие кидают деньги. Они думают, что я слабоумный, перебирающий пустые бумажки, что я здесь ради денег. Некоторые ещё считают меня местной достопримечательностью, городским сумасшедшим, бормочущим под нос непонятные слова и странные заклинания. Но на самом деле я не слабоумный. Я кидаю шапку как отмазку от «фараонов». Чтобы залетные менты-фараоны-бандиты не думали, что я тут развил особо прибыльный иероглифический бизнес, и не отвели меня за шкуру в налоговую или в свой участок.

Да, на этот случай рядом со мной лежит моя гитара, и время от времени, если милиция рядом и есть опасность, я делаю вид, что я уличный музыкант-трубадур, который уже собирается покинуть переход. А с уличных музыкантов, с этих юродивых бедолаг – поэтов и бродяг –

какой может быть спрос? Нам бы, художникам, себя прокормить! Если шапка лежит, значит, я ничем не торгую. Наоборот, подают и продают мне. Иногда подходят торговцы и предлагают свой товар – ручки с тройным стержнем и супер-пуперчернилами и карандаши с оборотками, со стирающими ластиками на другом конце. «Старатели со стирателями» – так их здесь называют в шутку. Этими стирателями от старателей я уничтожаю неудавшиеся иероглифы.

3

Удавшиеся иероглифы я отдаю людям за сумму, которую им не жалко за свой заказ. Иностранные туристы или загулявшие бизнесмены жертвуют крупные купюры. Наркоманы или студентки – яблоко или печенье. Бродяги предлагают налить .

Десять процентов – вот мой доход и прибыль. Будто я какая ходячая церковь, живущая на подаяния. Впрочем, так оно и есть – я живу на подаяния. Я подсчитал, что за день писанины мне накидывают в шапку в среднем тысячи три-четыре рублей. Третью забирает милиция на горячий чай с пирожками в соседнем киоске. Половину оставшегося присваивает «Крыша подземки». Их у меня собирает за «арендованное место» безрукий-безногий Радий на инвалидной коляске.

Арендованное у кого? Воздуха? Пустоты? Улицы? Космоса? Звучит-то как: «Крыша подземки»! Пожалуй, так стоило бы назвать поэму, напиши я ее однажды. Но это вряд ли. В день я пишу не больше одной песни-стиха и с сотни три имен. Выходит, каждая моя строка стоит около десяти рублей. Меня это и печалит, и радует.

Печалит то, что мой труд так мало оплачиваем; радует, что я еще вообще хоть что-то стою. Когда я радуюсь, я выдавливаю из себя строку, словно пасту с мелиссой из тюбика на щетку.

Помимо гитары я ношу с собой ящичек с красками и кистями, с щеткой и гуталином. Я еще ни разу никому не начищал обувь, но однажды мне, возможно, и это предстоит, если только мои иероглифы вдруг перестанут пользоваться спросом и ничего не останется как замазать белую поверхность гуталином.

Ящик и гитара – мои щит и меч, мой котомка и посох. Для арлекина и трубадура вроде меня – это незаменимые неземные вещи. Ящик мне служит еще стулом или столом, когда я исполняю песни или пишу имена. Я сажусь на него и, как чистильщик обуви, втираю чернила в гладкую поверхность, натираю, шлифую, стараясь белую пустую поверхность превратить в замаранную. В поверхность хоть с каким-то смыслом и именем.

Когда никто ко мне не обращается, я для тренировки и медитации пишу твое имя. Потому что я сижу здесь не ради себя, а ради тебя, Мелисса.

Я знаю: однажды наступит такой день, и ты пройдешь мимо меня по переходу. Просто не может не пройти по теории вероятности. Ведь когда-нибудь ты приедешь в центр – погулять с новым возлюбленным или со старыми подругами. Наверняка тебя будет тянуть в место, где мы провели столько месяцев.

4

В длительном периоде все побочные эффекты – внешность и статус – разрушатся. Потому что переход – промежуточное положение между

одним состоянием и другим. И здесь, как нигде, понимаешь, что все мимолетно, все преходяще. В итоге будет жить только текст. Главное, оставаться идеалистом и верить. Вся наша жизнь – только переход из одного состояния в другое. Промежуток между первым, вторым и третьим...

Как сказал Гадамер, автор – случайный элемент, который рано или поздно отпадет. Рассыплется в прах. И потому не стоит в первую очередь думать о животе своем.

Хотя, почему бы и не подумать. Когда я хочу есть, я хожу в столовую номер один. Собранных денег хватает, чтобы заказать простое первое, второе, третье...

Живу я в маленькой отдельной каморке в центре города, с маленькой кухонькой, отделенной от комнаты картонкой и буфетом. В дворничкой, которую мне позволили арендовать у города, когда я только приехал сюда и устроился работать в услужение Великому Питеру – в ЖЭК или ТСЖ. Меня даже прописали сюда, а теперь не могут выписать и выкинуть по закону, потому что другого жилья у меня нет. На самом деле надо мной сжалилась начальница ЖЭКа – сердобольная женщина. Это она, а не Питер, прониклась ко мне симпатией и за энную сумму уступила каморку «папы Карло», как я ее называю.

Можно сказать, мне повезло, потому что плачу за коммуналку совсем недорого. У меня есть один знакомый, который такие же деньги платит посуточно за койко-место в хостеле. Причем в том же самом доме и даже в том же самом подъезде...

Работает знакомый аниматором. А проще говоря, в костюме зебры, или льва, или петуха раздает флаеры на Невском. Точнее, рекламные буклеты закусочной КФС, фирменного магазина «Зенит» или приглашительные в салон «Розовая пони». В народе за эти наряды его прозвали Сфинксом. И платят ему за них что-то около тысячи в день. Из них рублей 600–700 он отдает за койку-место в хостеле. Если платить» заранее за весь месяц сразу», то «можно сговориться и на пятьсот». А в не сезон на все «четыреста». Хотя я так и не понял, когда в Питере наступает «не сезон», если здесь круглый год дожди, слякоть, туманы и полно туристов.

Иногда Макс-Сфинксу удается подработать на детском празднике. Ему даже переодеваться не нужно. Он бросает флаеры в урну и в том же костюме, что выдают ему каждое утро, идет в какое-нибудь кафе в центре на «день рождения – праздник детства». Или едет на окраину в садик или двор – на утренник-песенник изображать «бременского музыканта».

– Дети – самые прекрасные зрители, – утверждает Макс, – ты бы видел их глаза. Они реально верят, что я кентавр, когда я появляюсь в костюме лошади без головы.

– А в костюме петуха и с головой барана? – подначиваю я Сфинкса, потому что знаю, как ему не по душе его кличка.

– Не, такого не бывает, – отнекивается он. – Потому что в фирме мне выдают только один костюм на день.

После рассказа Сфинкса я думаю о детях, теряющих чистоту и непосредственность восприятия. И веру в чудо. Давно ли прозвенел их первый звонок? А последний звонок? А третий перед началом спектакля, когда поднимается занавес? А тот звонок, после которого все маски сброшены? Давно ли нарядные детишки – мальчики в первых своих костюмах и белых рубашках и девочки с косичками-хвостиками

и большими бантами – пошли в лакированных туфельках в школу, познакомились, встали на линейку, заняли парты, выучились, выпустились, занавес опустился, свет погас, оркестранты ударили по струнам, и вот он я – в переходе метро. Пишу их взрослые имена...

– Я для себя решил однажды, что глупо уходить со второго акта. Пьесу нужно досмотреть до конца, – ответил как-то безрукий-безногий попрошайка Радий на мое замечание, что лучше таким паразитам, как мы, и вовсе не жить на белом свете.

– Даже если спектакль окажется дрянь?

– Если дрянь, тем более, – махнул он рукой на приклеенные к стене бумажку с телефонами. – Вокруг столько интересного.

«Группа грузчиков поможет с мебелью. Интим не предлагать».

– И чем тебя привлекло это объявление? – поддел я Радия в обычной манере. – Хочешь подзаработать на допуслугах?

– Угадал, а еще чтоб у меня были руки и ноги и я мог нести тяжесть на своих плечах!

– Мне хоть не ври! Тебе удобно наблюдать за пьесой из твоего «кресла-качалки», – указал я смотрящему за переходом на его инвалидную коляску, – неплохо устроился.

– А тебе-то че трудного? – ухмыльнулся Радий. – Тоже мне, возомнил себя поэтом-грузчиком, встал в позу, как шкаф.

Радий был прав. Еще со школы, с первых заученных стихов, я научился вставать в позу: Бодлер, Верлен, Рембо... Проклятые поэты, неистовые романтики. Да, иногда я думаю, что я какой-нибудь «отверженный». Я сравниваю себя с бедолагой Рембо, с этим уличным певцом, вкусившим страданий и боли поболее моих, и мне от этого сравнения становится легче. У отверженных, изгнанных, обреченных, проклятых своя гордость. Отчуждение творчества от жизни. Экзистенциальная трагедия. Декаданс.

5

В столовой я продолжаю наблюдать за людьми: за веселыми, вечно смеющимися подростками, за школьниками и студентами, за стариками, с трудом сгибающимися колени, за озабоченными жизнью и сумками мамашами, за влюбленными, устроившими в Питер свой любовный тур. Как бы мне хотелось написать их портреты. Но я не художник, я могу написать лишь имена, которые, впрочем, тоже пользуются спросом.

Иногда я задаю себе вопрос: почему люди так хотят, чтобы их имена были написаны еще на каком-нибудь, непонятным им языке доморощенным каллиграфом, вроде меня?

Они все равно не знают букв и иероглифов, не умеют читать. Но они готовы платить деньги, чтобы получить свое имя на абракадабрском. Я думаю, это как с фотокарточками. Хочется запечатлеться еще в одном измерении. Еще в одной стране. Смотрите: я был в Барселоне или Палермо. Я тоже здесь был. Смотрите: за моей спиной Миланский собор. А вот и Тадж Махал. Какой смысл фотографироваться на фоне городов, которые тебе не по карману и в которых ты проездом? Или на фоне картин, которые написал не ты?

Наверное, в нас так проявляется жажда бытия или ген грамматики. Иначе откуда у людей такое уважение к написанному? А еще наше желание казаться, а не быть. Казаться чем-то большим, чем есть на самом деле. Пусть не большим, хотя бы загадочным.

Да и мы со Сфинксом по сути такие же. показушники В столовой номер 1, мы заказываем почти одно и то же, чтобы не вылезти за рамки бюджета в двести рублей. Но стоит рядом показаться симпатичной мордашке, как ослиный хвост пистолетом.

Я смотрю, как Сфинкс раскрывает пасть осла и закидывает в него большой бургер.

– Какие же мы с тобой все-таки ничтожества, – говорю я ему.

– Чего это? – перемалывает он челюстями бургер. Кажется, его ослиные зубы работают как жернова. Аппетит у него отменный.

– Да вот, просто пришло в голову, что мы ничтожества и что больше всего мы думаем о еде. Причем о такой паршивой еде, которую приличные люди не то что есть, даже думать о ней не могут. Иначе их тут же вырвет.

– Все люди думают о еде в той или иной мере. И бедные, и богатые. Потому что человек всего лишь биологическая машина, которой нужно топливо. Более совершенная, чем робот, машина. Но все же робот. И его можно запрограммировать как угодно, внушить что угодно.

Я молчу, думая, что мы действительно биологическая машина. И про то, что однажды, когда мы износимся, у нас для сохранения энергии отключатся сначала воспроизводительная функция, а потом и двигательная.

– Знаешь что? – Сфинкс наклоняется ко мне почти вплотную. – Я вот хожу по Питеру в обличье осла и иногда думаю, что я и есть осел. Даже повадки ослиные стал перенимать – смех там и все такое.

– А как же Кентавр? – вопрошаю я. – Мы же решили, что ты Кентавр.

Однажды я подсунил Сфинксу «Кентавр» Апдайка. Книга, которую я купил в букинисте «Искатель». Знаковое для меня место и слово. Я уже тогда ходил и чего-то искал. А рядом с «Искателем» кафе «Вольф и Беранже», в которое заехал Пушкин, прежде чем отправиться на дуэль. Пожрал, перекусил, а потом бац: пуля пробивает мочевого пузыря, моча попадает в кровь. Перитонит, заражение крови и адские боли. А если бы он не выпил тогда воды, был бы выше всего мирского...

– Да, решили, что Кентавр, – соглашается Сфинкс. – Только, кроме нас, меня так никто не воспринимает. Не хотят слушать, что я говорю. А Кентавр все же был учителем. Учителем! А я осел, и точка.

– Вот потому, что нас никто не слушает и не воспринимает всерьез, я и ощущаю себя ничтожеством.

6

Она говорила мне: ты ничтожество, ты не потянешь отношения со мной и не вытянешь семью. Ты бестолковый и растрачиваешь свою жизнь зря. У тебя не хватит усидчивости, не хватит работоспособности. Ты потакаешь своим слабостям.

И потому я каждое утро встаю и спускаюсь в метро и работаю как одержимый. Я вывожу один и тот же иероглиф или один харф множество раз. Нахожу его в телефоне и перерисовываю, доводя до совершенства.

Так я тренируюсь. Неистовство охватывает меня. Я выбиваюсь из сил. Но я дал обет. Обет трудолюбия и усердия. И потому я пишу из последних сил на этих тонких бумажках.

Потом я пытаюсь сложить из букв твоё имя, Мелисса. Если салфетки заканчиваются, я вывожу имя «Мелисса» на обрывках бесплатных газет, на рекламках, которые раздаются в переходах, на длинных чеках, которые нахожу у мусорки.

С обратной стороны чеки чистые. Рыба семга – 800 грамм. Рис Жасмин – 75 рублей. Крабовые палочки, лапы каракатицы... И корявая роспись покупателя. Будто это они, каракатицы, писали здесь каракули, выплескивая свои черные чернила.

Половину из написанных мною имен и текстов я потом сам же не могу разобрать, еще часть теряю или раздаю как милостыню торговкам семечек под кульки. Но я совершенствуюсь. Совершенствую свое мастерство каллиграфа.

Главное, каждый день работать. Алистер уверял, что если написать имя в совершенстве, то носитель этого имени обязательно предстанет перед тобой. Предстанет, даже если ему придется для этого восстать из мертвых.

В другой умной книжке было написано про правило 10 тысячи часов. Мол, чтобы стать профессионалом, нужно потратить такое количество времени. Нехитрым способом я посчитал, что это 10 лет работы по 10 часов в день. Но мне нужно быстрее.

Поэтому теперь я заставляю себя каждое утро вставать. Теперь я встаю, как другие, рано поутру и иду в метро. Я хочу быть вместе с другими людьми, я хочу быть такими же, потому что уже люблю их. Не так, как тебя, Мелисса, но все же люблю.

Пусть меня пока не берут на другую работу – кому нужен шалопай-бездельник, не добившийся в жизни толком ничего и нигде? – я все равно буду стараться. Буду «пахать за себя и за того парня».

Бар «Трибунал»

1

Оказавшись в маленькой каморке приват-комнаты, я сую в трусы девицам купюры, хотя мог бы плеснуть на их красивые тела кислоту. Так сделал какой-то сумасшедший с картиной Рембрандта. Здесь не кислота. Здесь текила. Соль и лайм.

Там, в ночном клубе «Трибунал», я впервые и увидел ее – Мелиссу. Да, я увидел тебя. В белом подвенечном платье ты спустилась по крутой винтовой лестнице, поддерживая рукой фату, словно подбитый летчик на одном крыле. Спустилась в самое пекло ночного клуба по прикрепленной, казалось, к небесам винтовой лестнице и сразу напомнила мне ангела-пилота, спустившегося к пилону – стриптизерскому шесту. А потом то ли обувь была тесна, то ли воротник душил... меня охватило сильное волнение.

И я подумал: вот она, апогея разврата. Сейчас она, девушка моей мечты, изобразит самый соблазнительный стриптиз. И уже начал шарить по карманам в поисках мятых купюр, чтобы быть первым у этого отполированного олицетворения невинности.

И словно чувствуя мою готовность отдать последнее, невеста направилась прямо к моему столику. И я вблизи увидел заплаканное, с подтеками туши, нежное лицо, – видимо, ее обидел клиент, с которым она провела час в приват-комнате, а может, хозяин заведения – он же ее сутенер.

– Садись сюда, – сделал я призывный жест ладонью, хлопая по кожаному диванчик и сам не веря, неужели этот ангел сейчас заговорит со мной.

Она села и тут же будто перестала обращать на меня внимание. Я предложил ей выпить, она отказалась. Я спросил, как ее зовут, она ответила, что это неважно.

– А что важно? – спросил я, перекрикивая гвалт и шум.

– Сложно сказать, но верю, что в нас есть что-то более своё, чем собственное имя.

– Ну, это вряд ли, – я чувствовал, что запинаясь, – ...имя – единственное, что у нас есть своего, не наносного...

– Стоит человека пару недель называть по-другому, и все привыкнут и забудут имя, данное ему родителями, – парировала она, – он и сам скоро привыкнет к прозвищу.

– Но не забудет... ибо, когда его окликали в раннем детстве, он еще не различал предметы и не делил мир на внешнее и свое... Да и внешнее скорее походило на пятна без какого-либо смысла и обозначений.

– Тогда Ми... – протянула она руку как бы здороваясь и представляясь. Хотя сквозь шум внутри и снаружи перепонок я толком не слышал, но отчетливо уловил, что оно начиналось на М, как метро. Зафиксировал себе в сознание эту букву, возвышающуюся на неоновой ножке-столбе над входом в подземелье, в яме, в которой мы все оказались...

А еще я подумал, что имя у нее какое-то полусказочное. Как Ангелика или Вероника. Из тех, что любят брать проститутки, скрывая свои простые Аня и Маша.

– Почему так? – спросила М, глядя мимо меня, у кого-то, кто словно бы сидел за моей спиной. – Почему человек бывает настолько унижен, что бежит даже от своего имени? Меняет свое имя на другое...

2

Думаю, в этот момент, там за моим плечом, видела своих родителей. Я даже на миг обернулся, чтобы понять, как они выглядят.

Так бывает, когда тебе ни с того ни с сего улыбнется вдруг в трамвае самая симпатичная девушка, а ты оборачиваешься, не веря в себя и ища того, кому могла так улыбнуться удача. Вопрос адресовался мне, но я был настолько пьян, что не смог сообразить до конца, сбежавшая ли она со своей свадьбы невеста или стриптизерша, отработавшая сеанс приват-танца в закрытой кабинке.

– Что ты здесь делаешь? – спросила она резко, не дождавшись ответа, хотя это был мой вопрос.

– Отдыхаю, – вздохнул я так тяжело будто нес тяжелый камень в гору, отчего от моего признания повеяло абсурдом, – отдыхаю вопреки всему.

– Я понимаю, – улыбнулась М, приняв меня, должно быть за какого-нибудь богача, – если все время отдыхать, то и отдых становится в тягость.

Я снова глубоко вздохнул. Вздохнул, потому что мне вроде и было что сказать ей, а вроде и не было. Я чувствовал себя рыбой, выброшенной на берег. Тварью, оказавшейся в цугцванге. Несостоявшаяся любовь, несостоявшаяся мать, невеста-жена-женщина, – и несостоявшийся мужчина. Оба полностью разочарованы и подавлены. Выброшенные на обочину, изгнанные из социума с единственным багажом – всеобщим презрением, сидят в самом центре нижнего круга ада.

– Это место мне кажется преисподней, – продолжил я подброшенную кем-то тему, – потому что там, на втором этаже, кафе с большими витражами напоминает мне рай.

– Я была на втором этаже, – скривилась в язвительной ухмылке М, – там сейчас свадьба.

– Случаем не ваша?

– Кто знает, может быть – может быть...

– Вас, что, спрятали тут от жениха за выкуп? – настаивал я.

– Скорее от женихов я спряталась сама, – она улыбнулась в первый раз за вечер.

– Как Пенелопа?

– Как Пенелопа.

Иногда так бывает, особенно в джазе, где темы подбрасывают, как детей под двери. Или под плуг на борозду. И ты сидишь и слушаешь жалобный плач саксофона. И слышишь в нем рождение новой жизни, новых чувств и эмоций.

Но за саксофоном вступает контрабас – бум-бум-бум, – будто топот бычьих ног. Или такой звук, будто о дверь головой бьется обманутый жених. А потом уже и пианино, как убегающие женские шажки, – первая любовь, первый страх, первый побег...

3

С другой стороны, я слышал о таких случаях. Я иногда читал книги, и как-то мне в руки попался сборник рассказов Мэнсфилд. А я люблю именно рассказы, чтобы не заморачиваться, не уходить с головой в роман, как в плавание. И вот передо мной книжка с короткой аннотацией и краткой биографией автора. Там-то я и вычитал, как Мэнсфилд убежала от своего мужа после первой брачной ночи. Или даже с самой брачной ночи – к оркестровому музыканту.

Я жутко завидовал парню, с которым сбежала Мэнсфилд. Это же как надо было запасть на простого музыканта из оркестра, что играл на свадьбах?

– Ерунда, – как-то заметит мне на это Алистер. – Я знал одного поэта, который выбросился из окна в день собственной свадьбы. Потому что счастливей момента в жизни у него уже не будет.

– Круто, – восхитился я, хотя история с музыкантом из оркестровой ямы мне нравилась больше. Я ведь тоже в какой-то степени музыкант.

Вот я стою перед девушкой, которую принимаю за чужую невесту. Но с той же долей вероятности она может быть и стриптизершей-куртизанкой, чтобы не сказать проституткой, вышедшей из приват-кабинки, где ее только что лапал, а может, и имел ужасно толстый некрасивый торгаш, а может, и какой-нибудь плешивый, пропахший нафталином старикан-банкир.

Все эти кабинки, в которые уединялись клиенты с понравившимися танцовщицами, напоминали мне встроенные в стену камин, жаровни ада. Я специально придумывал себе как можно более жаркие картинки.

– Зачем ты выбрала такой путь? – спросил я, обращаясь ко второй возможной ипостаси девушки.

– От отчаяния, – ответила она, – у меня никчемная сестра и больная мать на руках, которых надо кормить, а самой еще снимать квартиру.

И опять было непонятно, говорит ли она про замужество или про работу. Но я сам виноват, что задал такой размытый вопрос. А спросить в лоб показалось не деликатным.

– А еще я учусь в аспирантуре и пишу диссертацию, – продолжила девушка все так же меланхолично.

Еще раньше я заметил небольшие морщинки под отчаянно нежными глазами. А значит, она старше двадцати. Может быть, двадцать один или двадцать два.

– Да, и работаю, – перехватила она, мои дальнейшие расспросы, – потому что стипендия у нас маленькая.

4

И опять было непонятно, вышла она замуж или работала стриптизершей. А может, спросить ее в лоб про проституцию? Я уже было собрался с духом, но тут мне на память пришло, как мы с ребятами, когда были еще подростками и кровь в нас кипела, поехали на старой «девятке» искать проституток. Мы катили вдоль улицы, на которой, так нам сказали старшие, теоретически должны были стоять девицы легкого поведения. Но никто там не стоял, а только порой шли себе вроде как по делам или гуляли вдоль тротуара одинокие барышни. Возможно, они возвращались из института или шли к своим бабушкам, несли пирожки. А может, все же фланировали в ожидании клиентов, как фланирует вон та красная шапочка по клубу?

Я сидел на переднем сиденье с правой стороны от водителя. И ребята подначивали меня – к действию.

– Ну, давай же, спроси у нее.

Я открыл окно и крикнул первой попавшейся тетке:

– Вы работаете?

Тетка повернулась, и оказалось, что это училка химии, классная из параллельного класса. Она вначале не поняла, о чем ее спрашивают, а потом покраснела и в мою сторону понеслись матерные ругательства и проклятия.

И от всех этих воспоминаний мне почему-то стало не по себе.

– Пойдем со мной! – предложил я девушке. – Я тебя спасу!

– Как?

– Подкину денег, и тебе не придется совмещать работу с учебой.

– А не боишься моего парня, считай, мужа?

– А кто у нас будущий муж? – хотел было побравировать я.

– Крутой бандит, он сейчас там, – указала она глазами то ли на ресторан сверху, то ли на столики ярусом выше, за которыми уединившаяся компания играла в карты.

– Предупреждать надо было.

5

Больше мы ни о чем не разговаривали. Нам не о чем было разговаривать. Мелодия закончилась, девушка смешалась с толпой и исчезла. А я еще долго не мог забыть шелк ее платья и бархат ее кожи, вздернутый по-детски носик, выразительные скулы, волнистые волосы и большие печальные глаза... Кажется, я еще долго сидел в каком-то оцепенении за-гипнотизированный этими глазами и очарованием М. А может быть, пораженный, пригвожденный к месту страхом перед ее «крутым бандитом».

Вот они, превратности судьбы и мое падение. Сейчас я бы очень хотел, чтобы она была стриптизершей-проституткой, чем чужой женой. Пусть она лучше будет проституткой, чем навсегда исчезнет из моей

жизни. И тогда каждую субботу я смогу сюда приходить и перекидываться с ней несколькими фразами. А если у меня будут деньги, даже заказать ей приватный танец в кабинке.

Я представил, как я ее спасу, выведя за руку из этого притона. Не сейчас, позже, когда разберусь, что к чему. Черт! Кого я обманываю? Мне просто хотелось переспать с ней!

Минуту назад я не сомневался, что запомнил ее лицо и что легко узнаю в толпе, среди сотен других. Одни лучезарные глаза с морщинками и высокие скулы чего стоят! Но сейчас я больше помнил ее тело и запах, а лицо будто уплывало, скрывалось от меня в тумане опьянения. Я ее забывал, терял...

Нет, конечно, уже через четверть часа я попытался ее найти и взять телефон, несколько раз обошел все заведение, не исключая мужские туалеты. И даже попробовал пробиться наверх в кафе, где игралась свадьба, но все тот же охранник остановил меня железной рукой. Я пытался сказать, что невеста моя хорошая знакомая, но было уже поздно, ибо свадьба закончилась.

– А где они? – продолжал настаивать я.

– Кто?

– Ну, невеста, жених, гости.

– Уехали на первую брачную ночь, прикинь.

– А куда? По какому адресу?

– Мне не сообщили, прикинь!

Охранник не знал. А я после одного разговора не имел права преследовать чужую невесту. Вторгаться и разрушать чужую жизнь. Даже пьяный я это понимал.

6

Много позже, думая о загадочной девушке М, я никак не мог решить для себя, что бы я предпочел. Какое из двух зол я бы выбрал. Кто, – вопрошал я в минуты отчаянья, – кто чище, проститутка Мими или сбежавшая со свадьбы невеста бандита? На кого можно положиться в тяжелую минуту?

Первые мгновения нашего знакомства, вселили в меня недоверие. Недоверие к М как к моей будущей невесте и жене и Матери наших будущих детей.

Потом между нами лежало нечто пугающее, смутное, трудноопределимое. Это была та история из прошлого, которое расплывалось на смутные пятна для меня. Того мутного прошлого, которое она прожила, которое было с ней и останется до самой смерти. И мне никогда уже его не выкорчевать, не выжечь каленым железом.

Это неверие в женщину было чрезвычайно разрушительным. Между мной и М, будто сразу, с первой минуты нашего знакомства, пролегла пропасть, темная расщелина прошлого, которая незаметно перерастала в провал будущего.

Она стояла между нами, та история в баре «Трибунал». И, хотя Мелисса позже так и не призналась мне в проституции, в работе в эскорте и танцах гоу-гоу, в глубине души я ей не верил.

Для любого мужчины самый большой страх – страх измены, страх предательства. А самая большая жертва – отказаться от своей внутренней свободы. Сам я не готов был на большие жертвы. Тем более не собирался на ней жениться.

Я рассуждал, что если она может предать влюбившегося в нее человека, мужчину, который согласился отказаться ради нее от самого дорогого, своей свободы, – то что же будет со всеми остальными? Я думал, если она подрабатывала проституцией, то что ей стоит переспать с другим. Что ей стоит переспать с кем-нибудь, чтобы получить желаемого. Да чтобы просто понравиться или завоевать чью-то симпатию. Если она позволяла трогать себя в приват-кабинке, то, значит, порог доступа к ее телу низок. Только заплати немного денег и вперед...

7

Но эти мысли, что терзали, рвали меня на куски, были прежде, до того, как Мелисса ушла. А теперь, после того как она бросила меня, стоит ночи пролить свой звездно-лунный свет, как я порой вскакиваю и бегу искать её в поглотившей бездне, в расщелине темноты. Я, наверное, действую как лунатик, потому что сам не знаю, зачем и куда двигаюсь. Я просто брожу по городу.

Порой, когда девочка-зазывала протягивает мне рекламу очередного стриптиз-клуба, например, «Бессонница» или «Лунышка», я тут же иду по указанному адресу, держа в уме, что когда-то первый раз увидел Мелиссу в подобном заведении. Я спускаюсь за ней в неведомые подвалы, затаив дыхание, как Орфей спускался к Эвридике.

Там я сижу за столиком и вглядываюсь в полуобнаженные тела девиц, пытаюсь уловить хоть часть ее тела в других телах, хоть часть ее лица в других лицах. Я всматриваюсь в бесконечных «красных шапочек», «белоснежек», «ведьм», «гномиков», «троллей», «Снежных королев» и еще черт знает кого.

Я не танцую, я просто смотрю на танцующих у пилона, у этой оси-указки моего теперешнего мира, учительниц, медсестёр, девочек-нимфоманок в школьной форме. Иногда я засовываю деньги им в трусы, чтобы сравнить их кожу с бархатной кожей Мелиссы, температуру их ледяных тел с ее теплом. С таким же успехом я мог бы гоняться за призраками в подворотнях. Впрочем, иногда я пытаюсь поймать не мельтешение лиц, а лунные блики, зайчики цветомузыки, гуляющие по полу и столику.

Я думаю, что Мелисса тоже была школьницей в фартуке и даже успела какое-то время, на практике поработать учительницей в школе. А как она заботилась обо мне, как лечила, когда я заболел! А как обжигала меня холодом, как язвила, когда хотела задеть.

Балерун кордебалета

1

В следующий раз – по-другому и быть не могло – мы встретились совершенно случайно. Толкаемые, движимые навстречу весенними потоками, под козырьком туч, у частокола дождя. Я пристроился в одной подворотне, чтобы, как бы это помягче сказать, сбить пыль с фундамента очередного шедевра архитектуры, и тут какая-то сила, сияние небес, когда все вокруг на секунду проясняется, и металлические крыши, и плафоновые фонари озаряются солнцем, заставила меня поднять голову, и я увидел проезжающий мимо сверкающий параллелепипед троллейбуса, слиток червонного золота, будто он и не троллейбус вовсе,

а фараонова ладья или колесница с золотыми поводьями. И там, за стеклами ладьи Осириса, девушка, которая, приплюснув лоб к стеклу, с жалостью смотрела на меня.

Я сразу узнал это лицо с высокими скулами и эти глаза – лицо из сна. Хотя, возможно, она смотрела и мимо меня – на камни. Не на разрушающегося человека, а на разрушающийся город. Неважно, главное, что этот взгляд, от которого таяли айсберги и высыхало мокрое солнце, я не мог перепутать ни с каким другим.

Наспех застегнув ширинку, я побежал. Мы двигались какое-то время параллельно с крутящим колесом параллелепипеда, и периодически то я смотрел на девушку, то она на меня. Троллейбус придерживали и заторы, и светофоры своими красными флажками. Меня придерживал стыд от того, что девушка видела, как я отливаю прямо на мостовую, а может, по моим конвульсивным движениям, по довольному лицу она бог знает, что вообразила в своем чистом сознании. Может быть, даже решила, что я дрочу в этой подворотне? Что я вуайерист, который подглядывает за тем, как сношаются собаки, и получает от этого удовольствие?

Черт знает, что она могла подумать. Во мне боролись стыд и страх вновь упустить ее. Настоящая внутренняя драма. Троллейбус ускорился, и мне нужно было успеть заскочить внутрь на следующей остановке.

Наверное, со стороны это выглядело комично. Еще минуту назад мочившийся человек бежит за троллейбусом, перепрыгивая ручьи и лужи, как клоун в больших ботинках. Он вскакивает на подножку, садится напротив девушки, которая видела его только со спины и в профиль, а сейчас он показывает себя целиком, анфас, и не скрывает красного с перепоя носа и выразительные синяки под глазами.

2

Но самое ужасное меня ожидало впереди. Когда я, заскочив в троллейбус, плюхнулся напротив своей избранницы, когда я отдышался, пришел в себя и уже собирался произнести фразу, придуманную на бегу, – что-то типа «я знал, что обязательно встречу тебя еще раз в этом городе», – когда я только открыл рот, то понял: моя спутница не одна.

С ней рядом сидел здоровый мужик, лысый, с накачанными бицепсами, в татуировках, у которого на блестящем и влажном лбу было написано: «Я ждал тебя, урод. Я знал, что найдется наглец, который покусится на мое сокровище. Но я раздавлю всякого, кто только посмеет взглянуть на мою красавицу с вожделением!»

И девушка, та, что сводила меня с ума одним взглядом, вдруг взяла этого парня под руку и, закрыв глаза, склонила голову к нему на плечо. Как сказал один поэт: «Повернись ко мне в профиль. В профиль черты лица обыкновенно отчетливее, устойчивее овала с его... свойствами колеса...»

А еще я понял, что М, я ещё не знал её имени, интуитивно от меня защищается. От моих еще несказанных слов и от моих неказистых манер. А может, от моего алчущего взгляда и моего навязчивого преследования.

Да, она ищет защиты у своего мужчины. Может быть, это даже не ее муж, и не ее брат, а ее сутенер. Но если сутенер, то это еще унижительнее для меня; если сутенер, то вполне приличный и симпатичный, в костюме, в дорогой обуви. С таким хоть на край света. А напротив я – грязные руки, растрепанные волосы, разъехавшаяся молния ширинки, это я заметил только сейчас, опустив взгляд, мокрые джинсы...

Увидев меня в неприглядном и растерянном виде, она к тому же на-верняка вспомнила, что это я минуту назад мочился на дом, в котором проходил первый бал Наташи Ростовой, или «Маскарад» Лермонтова, или еще какой-нибудь дом из высокой культуры и литературы, с подсвечниками, лепниной на потолках и натертым до блеска паркетным полом, на который ступать-то без бахил страшно, а тут...

Это было унижение, какого я давно не испытывал. Меня постигло сильное разочарование.

И тогда я отвернулся. Да, я отвернулся – лучшего слова не подыскать. И стал смотреть на прекрасный город, который, сев на корточки и задрвав подол, из всех прорех и щелей, поливало огромное серое небо.

3

Я спохватился, только когда они вышли на остановке, а троллейбус поехал дальше. Но, к счастью, напротив Думы над головой пассажиров раздался треск, водитель открыл переднюю дверь и отправился прилаживать на место съехавшие с проводов пантографы.

Да, она, может быть, уже сегодня наставит нам рога, дружище! – воспользовавшись заминкой я в ужасе выскочил на улицу и поспешил за ними по Итальянской, к площади Искусств. Потому что развития событий с рогами допустить было нельзя...

Но вот она, милая площадь, похожая на сицилийскую или неаполитанскую, с ее неизменными пиццерией и трагаторией. Я уже говорил, что в основе этого города – лежит много городов. В основе Итальянской улицы лежит Рим, а в основе Большой Конюшенной – Париж, канал Грибоедова – Венеция, а набережная Невы, если смотреть со стороны реки, – Лондон. И дождь своим шлейфом смахивает картинки одного города, чтобы тут же нарисовать картинки другого. Это такой фильмограф, в котором будто невидимая рука тасует кадры, стоит только поменять угол зрения.

Мелисса была в прекрасном, светло-сером, как мне показалось тогда, почти белом плаще-макинтоше с поясом и в синем берете. Она была как Ева Грин из фильма «Мечтатели». В таком берете-прикиде, должно быть, посещают Гранд-опера в Париже или Ла Скала в Милане. Но преследуемая мной пара, так вырядившись, шла все же не в Ла Скала, а в Михайловский театр, рядом с которым кабак «Бродячая собака», в котором век назад пел Вертинский, читал стихи Маяковский, плясала Плисецкая.

Да мало ли кто там пел и читал и танцевал на костях уже умерших поэтов в предчувствии музыки, еще не родившейся! Мало ли кто веселился в этом здании. Главное было то, что происходило на улице здесь и сейчас, – в тот самый момент, когда я вдруг почувствовал себя взявшей след бродячей беспородной собакой. Собакой, семенящей, понунив голову и хвост, за плывущим по другому берегу улицы лебедем. Не охотничьей, не бойцовой, а именно бродячей, которая не может подойти близко из страха быть побитой грозным спутником Мелиссы, но которая в то же время не теряет надежды на случайную подачку-ласку.

Как вскоре выяснилось, Мелисса и ее спутник спешили на оригинальную постановку «Лебединого озера». Не знаю, насколько она там оригинальная. Летом, чтобы заманить туристов, всегда пишут «оригинальное», а подсовывают самое традиционное, чтобы мещанин с длинным

рублем не был разочарован. Чтобы он знал, что посмотрел что-то оригинальное, даже купив билет на железобетонную классику.

Я не мещанин, я бы радостью пошел на балет Эйфмана по «Братьям Карамазовым», но я не мог еще раз упустить Мелиссу. Понимая, что большего шанса мне небеса могут не предоставить, я насобирал по карманам денег на билет у перекупщиков. Так сказать, контрамарку на традиционную галерку на оригинальную постановку «Лебединого озера», которая стоила, должно быть, дороже билета в ложу на «Братьев Карамазовых», если брать в кассе.

На галерку мне пришлось продираться сквозь заслоны из швейцаров в красных ливреях и женщин в черных костюмах, которые в своей униформе походили на личных референтов-телохранителей. Они делали все, чтобы отгородить меня от тела Мелиссы, отгоняя все дальше и дальше от партера и вип-лож, туда, на седьмой круг лестничного пролета. На галеру галерки, на которой сидят, скрутив спины, нищие гребцы.

4

В итоге мне удалось занять полагающееся мне место только к моменту, когда принц Зигфрид отправляется на охоту и встречается там королеву лебедей Одетту. А потом, все вы это прекрасно знаете, злой волшебник Ротбарт и его дочь Одиллия изо всех сил стараются погубить любовь принца к Одетте. И вот в эту самую минуту, когда на подмостках владетельная королева устроила настоящий бал с выбором невесты для сына и гости плясали разные «кадрилли»: русский танец, затем неаполитанский танец, затем испанский, клянусь, я сам был готов вскочить с места и принять участие в этом славном мультикультурном пати, выступить в качестве соискателя на руку какой-нибудь красотки, да и все зрители, думаю, с радостью стали бы активными участниками бала.

Однако, зачарованные зрелищем, они пока не решались. Такие изящные в своих вечерних нарядах и чопорных пиджаках и фраках, они были прикованы к креслам вплоть до антракта.

Занавес опустился, зажгли свет, и я начал искать глазами Мелиссу, но не нашел ее в этом карнавале-мельтешении. К тому же, я забыл взять программку и бинокль. Или – монокль, живи мы во времена Тулуз-Лотрека, этого обожателя водевилей и балета.

Среди этих, наслаждающихся вечером и представлением, сытых, холеных, одетых во фраки и бабочки, буржуа я вдруг почувствовал себя изгоем на этом празднике жизни, злым волшебником, что своим тряпьем и своими дурными манерами хочет разрушить счастье и любовь одной юной прекрасной четы. И в то же время, в своих простых джинсах и клетчатой рубашке навыпуск, я чувствовал себя яванским колдуном. Я вдруг отчетливо увидел свою роль в этом лицедействе.

Во второй части представления я стал придумывать постмодернистский балет. Я всегда что-нибудь сочиняю, когда смотрю или читаю чужое. И вот я придумал действительно оригинальное постмодернистское либретто, по которому яванский держатель петуха приезжает со своим бойцом в крупный европейский город. В какой-нибудь Лондон с его музеем Альберт-Виктории и Альберт-холлом.

Он важно расхаживает со своим бойцовым петухом везде, гуляет по городу, от Трафальгарской площади до квартала Челси. Он быва-

ет на знатных раундах и высокосветских приемах и везде выглядит этаким модным метросексуалом, у которого вместо маленького курдючного пуделька под мышкой задиристый боевой петух с хохолком и гигантскими шпорами.

И вот судьба случайно закидывает нашего героя на балет «Лебединое озеро» в Альберт-холле. И там на сцене он видит злого волшебника, злого колдуна, шамана в перьях, который то и дело выскакивает на сцену и что-то там себе колдует, зачем-то размахивает своими черными огромными крылами.

Для всех непосвященных действия Ротбарта – сказка, архаика, антропология, они не видят никакого смысла в колдовских обрядах, но для нашего героя, знающего о магии не понаслышке, – это не сказка, а трагическая реальность. В прошлом году колдун из соседней деревни так же заколдовал его невесту, без пяти минут жену. заколдовал из зависти и по навету, отчего его невеста быстро слегла и умерла.

5

Вот она – ирония судьбы. Наш яванец наконец находит своему петуху достойного соперника. Соперника, которому он перед всем своим племенем поклялся отомстить. Соперник, который погубил его невесту и теперь хочет заколдовать Одетту.

Недолго думая, герой вскакивает со своего места в ложе и, легко перемахнув-перепрыгнув через несколько голов, спрыгивает в партер, со своим яванским петухом.

В Альберт-холле зал устроен как в цирке, сцена там круглая, словно яйцо в поперечном разрезе. Точь-в-точь как ринг для петушиных боев в их родной деревне.

Наш герой весь такой характерный для Явы: худощавый, мускулистый, загорелый, с короткой стрижкой – ни дать ни взять танцовщик кордебалета. По пути он срывает с себя рубаху, повязывает на пояс, и теперь, с голым торсом и в потрепанных штанах, он решительно выскакивает на сцену и кидает, как перчатку, плевков в лицо колдуна. Так принято у них на Яве – харкнуть своему противнику в рожу харчей посмачнее.

А между прочим, колдун, кому в рожу прилетел плевков, не просто какой-нибудь заштатный злодей-волшебник, он суперприма «Нью-Йорк Опера», он танцовщик-миллионер, всемирно известная знаменитость, и каждое его па на сцене стоит поистине сумасшедших денег.

Но сейчас он пребывает в шоке, он не понимает, что происходит. И тут спрыгнувший с рук прямо на колдуна петух вызывает это черное чудо в перьях на бой. А колдун вопит своему импресарио, требует дать ему скорее программку, что сверить с условиями контракта.

Зрители Альберт-холла – дамы в норковых мантиях и вечерних платьях и мужчины в дорогих костюмах, короче, вся эта перхоть города и мира – воспринимают яванского бойца тоже за артиста малых и больших. Все оживляются, все в нетерпении от грядущей развязки от яркого зрелища. Они не видят никакого подвоха и аплодируют неожиданному повороту, модерновой трактовке модного современного режиссера. Вот она, наконец, началась – оригинальная постановка традиционного классического балета!

А тем временем яванский петух, выпустив шпоры, распушив крылья и хвост, нападает на Ротбарта. Чтобы защитить Одетту, – думают

заинтригованные зрители. И, в принципе, они недалеко от истины. А колдун-коршун, завидя решительно настроенного петуха, встает на колени и начинает молить о пощаде, то разводя крылья в стороны, то сжимая их на груди.

Но яванец и его петух воспринимают примирительно-просительные жесты коршуна как боевую стойку. Петух с гигантскими шпорами настроен дать бой не на жизнь, а на смерть, побиться за всех курочек-балерин в перьевых пачках. Он налетает на Ротбарта и начинает его клевать и насиловать в прямом смысле слова. Трахать-клевать-трахать-клевать-трахать-клевать! Коршун в панике убегает прочь, пытаясь спастись сам и спасти свою честь за кулисами. Запутавшись в портьере, он падает, руша часть декорации в оркестровую яму на голову флейтистам. Нырять в этот журчащий музыкальный овраг, как в сточную канаву на окраине деревни, как какая-нибудь пьянь и рвань подзаборная.

Есть! Есть победа за явным преимуществом, но праздник петушинных боев так просто не заканчивается. Черта с два! Петух не отступает! На кону вся его репутация, на кону честь семьи и всей Индонезии. Ставки слишком высоки! Как он потом вернется в свою родную деревню и расскажет, что проиграл единственный в истории международный бой?

Дирижёр, эффектно размахивавший палочкой и рукой, словно это крылья, а лацканы фрака – хвост, тоже попадает под раздачу петуху. Первая скрипка в ужасе падает в обморок, контрабасист басит, альтист летит, оркестр начинает играть вразнобой, а рабочие сцены и музыканты выбегают, чтобы прогнать яванского деревенщину восвояси на Яву.

– Пошел вон, мудака! – кричат все и гоняются за ним по сцене, размахивая швабрами и смычками от скрипок и виолончелей. Однако прогнать яванского мудака не так-то просто. Поднаторевший в тайском боксе, закаленный в кулачных боях на окраине мира, он так ловко и изящно размахивал ногами и руками, что затмевал всех прима-балерунов. Блистательными великолепными па, они же сочные удары в челюсть и нос, он сокрушает одного своего противника за другим. Затем хватает за ноги черную Одетту и белую Одилию и под шумок и хаос тащит их со сцены. Две жены лучше одной, две курочки – лучшая награда победителю.

– Мне же больно, мужлан! – визжит Одетта.

– А мне, думаете, не больно на все это смотреть? – парирует деревенщина. – Разделили весь мир на черных и белых и радуетесь!

6

А еще я думал про черное и белое в нас. Черный лебедь и белый лебедь. Белая – символ чистоты – невеста. И черный цвет, черная кожа и перья – символ грязи и саморазрушения, символ мазохизма и садизма.

Как странно, что второй раз я сталкиваюсь с Мелиссой на фоне свадебного представления! Что это? Фарс, трагикомедия, драма? Вышла ли она все же замуж, примирившись с женихом? Или этот ее спутник – сутенер? А может, я всего лишь перепутал двух девушек и та девушка в клубе и нынешняя в театре похожи, как Одиллия и Одетта?

Антонина ШАБАНОВА

Родилась в 1986 году в Душанбе, Таджикистан. Окончила Уральский госуниверситет им. А. М. Горького по специальности «журналистика». Работала журналистом в «Российской газете» и других СМИ, пресс-секретарем Свердловского областного суда, PR-менеджером, SMM-менеджером, редактором корпоративных газет, ведущей на ТВ и в YouTube, театральным критиком. В настоящее время редактор афиши сайта «Культура Екатеринбурга».

Участник Форума молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья (2021). В литературном журнале публикуется впервые.

Живет в Екатеринбурге.

ВЫХОД

Роман

Фрагменты

Говядина

– Мясо – самая главная еда. Оно очень полезно. Когда будешь в своей семье готовить, всегда готовь в первую очередь мясо. Можно обойтись без чего угодно, но без мяса нельзя обойтись. Там белок. И оно очень сытное. От него не поправляются. Ты его съедаешь немного, и наедаешься. А хлеба, например, можно съесть много и не так наестся. Или наестся, но потом быстро проголодаться. А мясо тебе даст сытности надолго, – с важным видом рассказывает мама Регине, пока они вдвоем готовят на кухне традиционный картофельный соус.

– Понятно.

– Из всего мяса самое лучшее – говядина. Она самая полезная. И повышает гемоглобин.

– Понятно, – говорит Регина и режет мясо на кусочки на деревянной дощечке.

– Когда вот так готовишь говядину с картошкой – то больше ничего не надо, – с удовольствием рассказывает мама и чистит картошку, сидя на табуретке и наклонившись над тазиком на полу.

– А овощи? Говорят, от них вообще не поправляются.

– Да, но они не сытные совсем. И дорогие. Лучше говядина с картошкой, – говорит мама.

– Понятно.

Через несколько минут Регина спрашивает:

– Мам, почему у меня не начинаются месячные?

– Не знаю, – отвечает мама, и ее лицо тотчас же становится равнодушным.

- Когда они начнутся?
- Не знаю. Рано или поздно начнутся.
- А вдруг у меня бесплодие? – говорит Регина и прекращает резать мясо в ожидании ответа.
- С чего ты взяла?
- Ну, я слышала, что у некоторых бывает бесплодие. Может, это оно у меня и есть, и поэтому месячные не начинаются.
- Вряд ли.
- Мне ведь уже пятнадцать. В классе у всех девочек давно идут месячные.
- Ну, и у тебя начнутся, – говорит мама, поднимает с пола тазик и идет с ним к раковине.
- А я правильно понимаю, что если месячных нет, то и забеременеть невозможно?

– Да, – говорит мама и моет картошку в раковине.

– Вдруг у меня никогда не будет детей?

– Регина, ты надоела. Успокойся.

Регина замолкает и продолжает резать говядину.

Пока картофельный соус варится на плите, Регина идет на колонку за водой. Две ходки. В животе урчит, но говядина тушится два часа, есть пока нечего. Затем Регина достает гладильную доску, утюг и гладит белье. В это время папа лежит на диване, мама сидит рядом – смотрят телевизор. Когда еда готова, Регина накрывает на стол. Семья ест. Пьет пустой чай. Регина наливает вторую чашку.

– Не лей больше, уже веч, – говорит мама.

– Что? – спрашивает Регина.

– Чо, глухая, что ли? Я говорю, не пей больше, уже вечер, – раздраженным голосом прикрикивает мама.

Мама забирает чашку себе.

– Хорошо, – отвечает Регина.

– Что, она опять, что ли, описалась сегодня? – спрашивает папа с невозмутимым видом.

– Ну, конечно! Пятнадцать лет девке, а она все писается в постель.

Мама смотрит на Регину. И медленно проговаривает, злобно и ехидно глядя ей в глаза:

– А с мужем в постель ты тоже будешь писаться?

Это удар ниже пояса – стрела страха, вонзенная в Регину. Регина не знает ответ на этот вопрос, но очень пугается. «Неужели и правда?» – думает Регина и молчит. Опускает голову, взгляд падает на стол. По столу проползает жирный коричневый таракан.

– Ааааа! – кричит Регина и высккивает из-за стола.

Папа прихлопывает таракана тапком.

– Истеричка! – говорит папа.

Регина начинает убирать со стола. Убирает, вытирает стол и идет делать уроки. Через полчаса дверь в детскую резко распахивается – на пороге стоит папа. Лицо его красное. Ноздри раздуты. Глаза выпучены.

– Ах ты, эгоистка! – папа громко кричит. – Лентяйка! Бездельница! Только и делаешь, что лежишь жопой кверху! Целыми днями балдеешь, а мы с матерью вкалываем до седьмого пота, а у тебя не хватает совести, чтобы нам помочь! Ни фиги не хочешь делать!

– Что случилось? – спрашивает Регина и испуганно смотрит на папу.

– Мать посуду моет, вот что! Она же отдыхала весь день! – папа продолжает кричать.

Регина вскакивает из-за стола:

– Я сейчас помою.

Регина выходит из комнаты, проходит гостиную, коридор, идет в кухню. Видит, что папа заходит в свою комнату и закрывает за собой дверь.

– Ты куда? – спрашивает Регина.

– Спать, – отвечает папа.

Регина приходит на кухню.

– Мам, дай, я сама помою.

Мама отходит от раковины. Регина начинает мыть посуду. Мама перебирает что-то в кухонном шкафу.

– Мам, папа так ругает меня, а мне обидно. Он постоянно говорит, что я эгоистка и бездельница. Ну я же вот сегодня и кушать приготовила после школы, и за водой сходила, и белье погладила, и на стол накрыла, и убрала со стола, и уроки делала – не доделала еще, конечно. Мам, а ты тоже, как папа, считаешь, что я бездельница?

Мама несколько секунд молчит. И холодно отвечает:

– Нет, Регина.

Мама молчит еще несколько секунд и вдруг повышает голос:

– Ну, что, Регина, я тебе сейчас в ножки должна кланяться за то, что ты мне посуду помыла?!

Регине кажется, что она онемела. Через несколько секунд она может произнести:

– Вот-вот, как будто я только посуду помыла...

Еще несколько секунд Регина и мама молчат – мама копошится за раскрытой дверцей шкафа, Регина домывает посуду. Регина чувствует, как поток слез упирается в плотину. Девочка молча выходит из кухни, приходит в свою комнату, ложится на кровать. Плотина обрушивается. Поток устремляется наружу.

Скоро Регина слышит, как мама тоже уходит в спальню. Регина продолжает плакать. Когда все звуки стихают, и, кажется, весь дом спит, Регина встает с кровати, осторожно выходит из комнаты и заходит на кухню. Включает свет. Берет с сушилки нож, которым резала сегодня говядину. Садится на табуретку. Смотрит на нож. Переводит взгляд на левую руку, лежащую на колене. Медленно разворачивает ее запястьем вверх. Приподнимает. Тонкие голубые венки просвечивают сквозь кожу. Регина переводит взгляд на правую руку с ножом. Приподнимает ее. Подносит правую руку к левой руке. Медленно опускает нож на запястье. На минуту мир останавливается. Кажется, ничего не происходит, ничего не видно, ничего не слышно.

Регина слегка надавливает ножом на запястье. На коже проступают капли крови. Девочка отнимает нож от руки. Резко встает. Бросает нож в раковину. Раздается металлический звук.

Через несколько секунд на пороге кухни появляется мама.

– Что ты здесь делаешь? – спрашивает мама.

Регина смотрит на маму. По лицу Регины стекают крупные капли пота. Лицо ее очень бледное. В глазах стоит ужас. Руки висят внизу и трясутся.

– Регина, ты что молчишь?

Регина не отвечает. Только смотрит куда-то сквозь маму.

– У тебя что, бессонница?

Регина молчит.

– Иди спать давай.

Регина стоит на месте. Мама берет ее за плечи, подталкивает и отводит в детскую до кровати. Регина стоит перед кроватью.

– Ложись давай, ты чего?

Регина не двигается. Мама снова берет ее за плечи, надавливает на спину и опускает на кровать.

– Ненормальная, – говорит мама, выходя из детской и закрывая за собой дверь.

Каждый день вижу

Регина с двумя девочками выходят из художественной школы и идут по зимнему тротуару. Очень холодно.

– Регинка, ты хоть когда-нибудь целовалась? – спрашивает одна девочка.

Ее кожа чересчур гладкая для пятнадцати лет, а через шубу отчетливо выступает грудь. Прыщавая Регина с плоской грудью молчит.

– Значит, нет, – говорит вторая девочка.

Она одета в ярко-желтый модный пуховик с черным лакированным поясом, в длинные изящные замшевые сапоги на каблуке. Из-под черной меховой беретки торчат косы с необычными резиночками. Регина, одетая в три кофты под тонкой дубленкой и в кондовые пошарпанные сапоги на плоской подошве, молчит. Две девочки переглядываются между собой и хихикают. Навстречу идет женщина, Регина сторонится, чтобы ее пропустить, и падает.

– Блин! – вскрикивает Регина.

Девочки помогают Регине подняться. Регина отряхивает дубленку от снега.

– Я сегодня к бабушке иду, мне в другую сторону, – говорит Регина.

Девочки прощаются. Регина поворачивает налево, другие две девочки идут прямо. Регина слышит, как отдаляется их смех. Сама идет, потупив голову. И еще раз падает.

Регина приходит домой. Родителей и сестры дома нет. Регина переодевается и, оглядываясь, идет за свой стол. Достает из тумбочки дневник, открывает и пишет:

«У меня так и не появился парень. Ну никак не везет. Наверное, потому, что я некрасивая. Я смотрю на себя в зеркало и говорю, какая я уродина. Корю себя. У меня куча болезней, особенно этот живот дурацкий, пучит все время, хожу, как беременная. Родители все время ругают меня и вдалбливают, что я дерьмо. Я все время хочу спать, никогда не высыпаюсь и не отдыхаю. Радости никакой у меня в жизни нет. Меня никто не любит – ни родители, ни парни. Ради чего и ради кого тогда мне жить?»

Из глаз Регины текут слезы. Она убирает дневник в тумбочку, прикрывает сверху тетрадами. Вытирает рукой слезы. Открывает учебник.

Вечером Регина подходит к маме и спрашивает:

– Мама, я красивая?

Регина смотрит на маму такими внимательными широко открытыми глазами, как будто от ответа на этот вопрос зависит ее жизнь.

Мама смотрит на Регину, затем опускает взгляд. Она замешкалась и несколько секунд молчит.

– Не знаю, Регина, я же тебя каждый день вижу. Когда видишь каждый день – привыкаешь, и сложно со стороны сказать.

Глаза мамы бегали, когда она говорила это. Потом мама отворачивается и достает кастрюлю из шкафа. В глазах Регины внимательность сменяется на ужас. Регина продолжает стоять и молча смотрит на мамину спину.

– Ты чего стоишь? – мама оборачивается.

– Ничего, – отвечает Регина и выходит из кухни.

Проходя гостиную, Регина видит на диване папу, который лежит и смотрит телевизор. По телевизору показывают фильм, где мама гладит дочке лицо и целует его много раз. Мама и дочка счастливо улыбаются. Еще звучит очень красивая музыка. Регина смотрит на эту сцену застывшим взглядом и заходит к себе в комнату, закрыв за собой дверь.

Выпускной

– Мам, ты мне босоножки-то купишь на выпускной? – спрашивает Регина. – Мне нечего надеть на выпускной, только старые потрепанные туфли. Босоножки в прошлом году порвались. Всем девочкам уже купили босоножки на выпускной.

Лицо мамы тут же как будто чернеет.

– Не знаю, Регина.

Регина молчит и уходит к себе в комнату готовиться к экзамену. Через минуту дверь открывается, заходит мама, подходит к столу и за спиной Регины говорит:

– Ты просто прикрой свой эгоизм. Ты даже не задумываешься о других. Ишь какая! Эгоистка!

Регина оборачивается.

– Мам, но я же не прошу у тебя много. У меня много чего нет. Купальника, например, нет, я этим летом купаться не смогу. Но я молчу. Просто выпускной – это важно, – говорит Регина, и в ее глазах светится надежда на понимание.

– Ну, вот видишь, тебе не объяснить. У тебя вообще совести нет, ты совсем оборзела. В высшей степени эгоистка! – говорит мама надрывно высоким поучительным голосом и выходит из комнаты.

Регина разворачивается к своему столу и опускается лицом в учебник.

На следующий день после экзамена Регина с подружкой выходят из школы.

– Ты такая молодец, Регина, все экзамены на пятерки сдала! У меня две четверки, – говорит подружка.

– Даа, я так хотела порадовать родителей. Целыми днями занималась.

– Они тебе в итоге что-нибудь подарили на окончание школы? – спрашивает подружка.

– Нет, Оль, ничего...

– Вот ведь! Всем подарили, кроме тебя...

– Да, мне тоже жалко, – говорит Регина.

– Ну, они хоть поздравили тебя? – с надеждой спрашивает Оля.

– Неа.

– А за пятерки похвалили?

– Нет.

– А я когда по русскому на четверку сдала, мне родители тортик купили, мы вечером чай с ним попили, – рассказывает подружка.

– Везет тебе, – говорит Регина и вздыхает.

Подружки садятся на лавочку. Минуту молчат. Неожиданно Оля всплескивает руками:

– Слушай, я вчера так на маму обиделась. Они с папой на рынок ездили, купили мне два топика, шлепки и серебряное колечко...

– Ого, покажи! – перебивает Регина и берет подружку за руку.

– Да не, я его дома оставила, забыла надеть.

– А что обиделась-то? Это ж здорово? – спрашивает Регина.

– Дак, блин, лето только началось, надо больше новой одежды. Я еще хотела юбочку новую, бриджики и сарафан.

– У тебя же есть.

– Да, но я новые хочу! Я, короче, маме так и сказала, что я на нее обиделась и чтоб она на следующие выходные снова поехала с папой и купила мне больше одежды, – говорит Оля.

– И что, тебя мама не заругала? – спрашивает Регина.

– За что?

На лице Оли отражается искреннее удивление.

– За то, что просишь много и обижаешься, вместо того чтобы благодарить за то, что купили. Моя бы мама вообще не знала, что бы со мной сделала за такое. Да я и не говорю так. Я ее босоножки попросила на выпускной купить, она меня эгоисткой обозвала за это, – говорит Регина и водит носком пошарпанной туфли с дыркой по земле.

– Почему?

– Не знаю. Мне никогда не понять этого, – говорит Регина и поднимает плечи.

– Ну и родители у тебя. Мне мама давно все на выпускной купила. И ни разу в жизни эгоисткой не обзывала. Ну, не переживай, вот появится у тебя мальчик, будет тебя любить, – говорит Оля и кладет свою руку на руку Регины.

– Думаешь, появится? – спрашивает Регина с надеждой в глазах.

– Конечно, ты ведь такая классная! – говорит Оля с улыбкой и поднытыми бровями.

– Спасибо, Олечка.

Лицо Регины озаряет улыбка. Регина тянется к Оле и обнимает ее.

Новое слово

Дома никого нет. Регина гладит белье в гостиной и думает, будет ли она снова когда-нибудь писаться в постель. «Уже три года не было – с пятнадцати. Но пятнадцать-то лет было! И я никак не могла это контролировать. А вдруг когда-нибудь вернется? Ой, а если с мужем – он, наверное, сразу бросит».

– Тринадцатилетняя девочка покончила жизнь самоубийством, – фраза ведущего новостей прерывает мысли Регины.

Регина смотрит в телевизор и видит, как скопился народ возле накрытого тела во дворе многоэтажки.

– Ой, – говорит вслух Регина.

– Девочка выпрыгнула из окна десятого этажа. Умерла сразу, – продолжает ведущий. – Подробности расскажет наш корреспондент Андрей Еремин.

– Сегодня днем в двенадцать часов сорок три минуты по адресу Ленина, два девочка-подросток выпрыгнула из окна. Рядом проходил мужчина. Он сразу подошел к девочке, но она была уже без дыхания.

Приехавшие на место происшествия врачи скорой помощи установили смерть, – говорит корреспондент.

Он стоит с микрофоном перед камерой, а на заднем плане показывают двор дома, где стоят полицейские и охраняют место происшествия.

– По предварительным данным, уголовное дело возбуждать не будут, так как в квартире, в которой проживала девочка, нашли предсмертную записку, – продолжает корреспондент.

На экране показывают лист бумаги, на котором синей ручкой ученическим почерком написаны слова. Их читает другой закадровый женский голос:

– Я не хочу больше жить. Я не такая, как все. Я писаюсь в постель. Уже тринадцать лет. Лучше умереть. Таня.

– Офигеть, – говорит Регина.

Она застывает с утюгом в руке и смотрит в телевизор широко раскрытыми глазами.

– Родители девочки отказались от комментариев. Неизвестно, лечили ли они энурез дочери, – говорит репортер.

Картинка снова переключается на двор дома.

«Энурез какой-то, – думает Регина. – Что за слово».

– Нам удалось выяснить, что это не первый случай детского суицида из-за энуреза. Комментирует главный детский нефролог города Артем Завьялов.

На экране появляется рабочий кабинет. За большим столом сидит в белом халате мужчина лет шестидесяти.

– Энурез – это серьезная болезнь, опасная своими психологическими и социологическими последствиями. Дети испытывают постоянный страх и стыд. На этой почве у многих начинается депрессия, комплекс неполноценности. И да, мы знаем несколько случаев суицида именно по этой причине, – говорит врач.

Регина смотрит в телевизор, приоткрыв рот. На ее лице – растерянность и непонимание.

– Важно понимать, что ребенок в этом не виноват. Эта болезнь представляет собой непроизвольное мочеиспускание во время сна. В норме, когда в мочевом пузыре накапливается определенное количество мочи, то она давит на стенки пузыря, срабатывают нервные окончания, и сигнал подается в мозг: пора сходить в туалет. Этот сигнал срабатывает автоматически, хоть во время бодрствования, хоть во время сна. Когда же человек болеет энурезом, то мочевой пузырь наполняется, а сигнал об этом не срабатывает, поэтому человек и не может проснуться – просто физически, биологически, неврологически нет сигнала, – говорит врач.

«Как физически? – думает Регина. – Как биологически? Это что, правда болезнь? То есть я в этом не виновата? Как странно, не может быть».

– Энурез излечим? – спрашивает репортер в телевизоре.

– Конечно. Как правило, энурез проходит с возрастом. Потому что часто причиной этого заболевания выступает банальная незрелость определенных элементов нервной системы, регулирующих процесс мочеиспускания. С возрастом эти элементы усовершенствуются. Конечно, энурез может возникнуть и из-за других причин, таких как воспалительные процессы в мочевом пузыре или почках. Но они тоже лечатся. Главное – обязательно оказать ребенку психологическую помощь, пока не поздно, – рассказывает врач.

Теперь репортер оказывается перед камерой в коридоре больницы:

– Как именно оказывать психологическую помощь детям, больным энурезом, мы расспросили детского психолога Ирину Микушину.

В кадре появляется новый рабочий кабинет, где на кожаном диванчике сидит женщина лет сорока пяти в белом халате.

– Очень важно, чтобы мама и папа поддерживали болеющего ребенка. Важно, чтобы ребенок понимал, что он не виноват в том, что это с ним случилось, и что ему обязательно помогут. Родителям нужно внушить ребенку, что он хороший, никогда не ругать и не наказывать его за описанную постель. Родители должны сами понимать, что ребенок делает это не специально – то есть вылечить энурез педагогическими усилиями абсолютно невозможно, – говорит женщина с добрым лицом.

Картинка в телевизоре резко меняется: репортер прогуливается по коридору вуза с мужчиной, на экране на несколько секунд появляется плашка «Доктор психологических наук Валерий Эскин».

– У детей и подростков, больных энурезом, из-за долгого психотравмирующего фактора болезни и осознания своей физической ущербности, из-за насмешек сверстников, упреков и наказаний родителей, формируются акцентуированные черты характера.

– Поясните, какие именно? – спрашивает репортер.

– Черты, которые настолько чрезмерно выражены у человека, что находятся на границе психической нормы. Такие черты неизбежно приводят к частым конфликтам, острым эмоциональным реакциям, нервным срывам, неврозам. Если травмирующая ситуация сохраняется долго, то акцентуированные черты закрепляются в характере человека и переходят с ним во взрослый возраст. При этом человек становится крайне впечатлительным и очень уязвимым к определенным воздействиям. Акцентуации могут выражаться в повышенной боязливости, тревожности, мнительности, нерешительности, обостренном чувстве собственной неполноценности, недостатке интуиции, склонности к тоскливому настроению, к приступам гнева, скрупулезной педантичности и во многом другом, – рассказывает мужчина с бородой и важным видом.

«Черт, это про меня, – думает Регина. – Приговор, значит. Спасибо, родители». Вдруг пахнет паленым. Регина смотрит вниз. Из-под утюга идет дым. Регина резко поднимает утюг – на белой школьной рубашке прожегся коричневый след.

– Бляха-муха, мама меня убьет, – говорит Регина.

Выключает утюг из розетки. Садится на диван. Облокачивается на ноги и смотрит в пол застывшим взглядом.

– Ну и ладно.

Самый счастливый день

– Игорь, Егор, берите вот эти пакеты! – кричит Регина.

Она стоит у подъезда старой пятиэтажки. Идет дождь, и вещи, сваленные на асфальт, стремительно намокают. Рядом стоит «газель» с распахнутыми дверцами кузова.

– Может, сначала выгрузим все до конца, чтобы отпустить «газель»? – спрашивает Егор.

– Да ладно, пусть постоит немного, еще двадцать минут оплачено. Просто эти пакеты не очень хорошо запакованы, – отвечает Регина.

Игорь и Егор берут пакеты, на которые указывает Регина, и несут в подъезд, а дальше и в квартиру на второй этаж.

– Ты как оплачивать будешь? Саишься? – спрашивает Даша, доставая из «газели» легкие вещи.

«Наверное, она спросила “сбавишься”», – думает Регина.

– Да, уже сбавила.

– Чего? – спрашивает Даша.

– Ну, бабушка добрая попалась. В объявлении было написано пять тысяч, а когда я пришла смотреть комнату и рассказала про себя, она мне сбавила до четырех.

– Здорово. Хорошая бабушка. А еду тебе родители будут покупать?

– Да нет, как-то не говорили об этом. Сама. Надеюсь, подработки хватит, – отвечает Регина.

– Да уж, рискованная ты. Я бы сейчас не решилась от родителей уехать. Еще учиться три года.

Регина молчит, лишь слегка улыбаясь.

– Регина, еще надо что-то срочно занести? – спрашивает Игорь, выходя из подъезда.

– Да, еще вот эти три, пожалуйста.

– Окей.

Когда возвращается Егор, он продолжает разгружать «газель». Вскоре ему помогает Игорь. Регина остается караулить вещи, остальные ребята заносят их в квартиру.

– Ну вот и все, спасибо большое, ребята! – говорит Регина и обнимает каждого по очереди.

Ребята прощаются в коридоре. Из кухни выглядывает бабушка:

– Погодите, погодите. Проходите, отведайте моих пирожков в честь знакомства.

Ребята смущаются, но тут же смеются и проходят на кухню. На круглом уютном столе, застеленном скатертью с бахромой на краях, лежат три блюда с румяными пирожками. Запах стоит восхитительный и кружит голову.

– Вот эти с капустой и яйцом, мои любимые. Эти с картошкой. А эти с малиной с моего огорода, – рассказывает хозяйка и показывает, какие где.

– Ну вы, Любовь Петровна, даете. Мы вам совсем чужие люди, а вы нас так встретили, – говорит Егор и кусает пирожок.

– Спасибо вам большое, Любовь Петровна, – говорит Регина.

– Да ты не стесняйся, своя теперь. Кушай пирожок! Ты с чем любишь? – спрашивает бабушка.

– С капустой и яйцом.

Бабушка берет с тарелки пирожок и протягивает Регине. Девушка берет и начинает есть.

Через час Регина сидит на кровати в своей комнате в окружении пары десятков пакетов. Из окна падает свет. Из приоткрытой форточки доносится озоновый воздух. Регина улыбается. Смотрит на телефон, лежащий рядом. Набирает подружку:

– Лиза, неужели это самый счастливый день в моей жизни?

– Нет, Регина, будут еще счастливее.

– Дай бог.

– Ну, как ты переехала?

Молчаливый

– Счастливого пути! Любите друг друга! – выкрикивает мама Ярослава, когда он вместе с Региной уже поднимается по маленькой железной лестнице с перрона в тамбур.

Молодожены машут руками провожающим и идут по тесному коридору, таща за собой сумки. Пахнет металлическим запахом вокзала. Щемит сердце в предвкушении путешествия – да еще какого, свадебного. Находят свое купе. Здороваются и знакомятся с попутчиками – толстым лысым весельчаком лет пятидесяти и сухоньким молчуном лет шестидесяти. Устраиваются. Садятся поближе к окну на нижней полке. Смотрят на перрон, на машущие руки, на удаляющийся город, на появившиеся поля и леса.

Разговорчивый попутчик не унимается. Рассказывает о себе, расспрашивает молодоженов, дает советы, куда сходить в Санкт-Петербурге. Когда он, наконец, засыпает, Ярослав и Регина рассматривают любительские фотографии со свадьбы – от тех, кто успел скинуть.

– А знаешь, что сказал мой дедушка про нашу свадьбу? – спрашивает Регина.

– Что?

– Что он завидует тебе, потому что на свадьбе он видел, какими глазами я на тебя смотрела. Моя бабушка никогда на него не смотрела с таким восхищением и любовью.

– Ого! Надо же. Он преувеличивает, – смущается Ярослав.

– Ты Фома неверующий! – отвечает Регина и слегка пристукивает его по плечу. – А твои друзья тебе что-нибудь говорили про свадьбу?

– Ты знаешь, я удивился, но почему-то все сказали, что наша свадьба была самой лучшей из всех, на которых они были. Самой душевной.

– Здорово! И ведь она совсем не была дорогой...

– Это точно! – говорит Ярослав. – Мы еле уложились в бюджет... Помнишь эти списки?

Ярослав с Региной смеются, вспоминая, как сводили дебет с кредитом.

На следующий день, когда Ярослав с Региной едят, болтун замечает:

– А ведь Ярослав часто ест овсяное печенье! У вас, я вижу, есть с собой и другие сладости, но он всегда выбирает только овсяное печенье. Вот ответ, Ярослав, почему ты всегда ешь овсяное печенье?

– Ну, люблю я его с детства, оно же такое вкусное! А раз люблю, то другого мне и не надо! – объясняет Ярослав с широкой улыбкой.

Тут молчаливый попутчик, который практически ничего не говорил всю дорогу, отрывает глаза от книжки и с серьезным видом произносит:

– Такой никогда жене изменять не будет!

Все смеются. Регина тоже в этом уверена не требующей доказательств внутренней уверенностью.

Пусть выходит

– Ты боишься рожать? – спрашивает Ярослав.

Они с Региной идут по вечерней улице, под ручку. Сквозь цветастое летнее платье, отороченное синими лентами, у Регины торчит животик. Он уже не маленький, но вперевалочку Регина не идет – кажется, ей очень легко нести ребенка. Распушенные волосы погустели, кожа на лице стала совсем гладкой.

- Нет, ни капли, – отвечает Регина с улыбкой и мотает головой.
- Правда? Совсем-совсем не боишься? – спрашивает Ярослав и заглядывает Регине в глаза.
- Да.
- Я бы на твоём месте боялся. Это же больно.
- Я думаю, это не сильно больно. Это какие-то другие ощущения. Я так долго этого ждала, мечтала об этом. Мой организм как будто создан для этого, я это чувствую.
- Это из-за курсов?
- Нет, там просто повторили то, что я всегда сама знала. Это, знаешь, как врожденный инстинкт. Биологическая данность.
- Круто! Ты потрясающая девушка, – говорит Ярослав и приобнимает Регину свободной рукой. – Как многие думают по-другому. Даже в фильмах показывают, как всем больно.
- Они заблуждаются. Фильмы как раз всем вредят такими сценами. Ярослав с Региной обходят лужу и поворачивают направо.
- Кстати, одно подтверждение моей уверенности уже есть, – говорит Регина, и глаза ее озорно блестят.
- Какое?
- У нас же с тобой сразу получилось забеременеть.
- Ярослав смеется:
- Это совпадение.
- Не-е-е, – протягивает Регина. – Это потому, что мы с тобой, во-первых, идеально друг другу подходим. Во-вторых, я создана для этого. Супруги останавливаются и обнимаются.
- Через два часа Регина и Ярослав сидят на кровати в маленькой комнате перед маленьким телевизором. В комнате включен вентилятор. Но все равно жарко. Регина сидит в топике, обтягивающем набухшую голую грудь, и в короткой юбочке. Руками гладит подросший голый живот. Ярослав сидит в шортах и в футболке. По телевизору показывают старый советский фильм «Семь стариков и одна девушка». В конце кино в кафе, когда команда непрофессиональных спортсменов празднует неожиданную поимку грабителей, один из участников команды начинает петь необычную песню:

...Мы не зря мечтали о волшебном чуде,
Пусть планету кружит всемогущий век.
Совершите чудо – пусть выходит в люди,
Пусть выходит, пусть выходит в люди человек.
Совершите чудо – пусть выходит в люди,
Пусть выходит, пусть выходит в люди человек.

- На этом фильм заканчивается, появляется табличка «Финиш».
- Слушай, надо же, это песня о родах, – говорит Регина, продолжая смотреть в телевизор.
- Я тоже об этом подумал, – отвечает Ярослав и поворачивается к Регине.
- Правда?
- Регина тоже поворачивается к Ярославу.
- Да. Они поют «Совершите чудо, руку протяните – пусть выходит в люди человек», – говорит Ярослав.
- Да. Как будто говорят: «Протяните руку, родите ребеночка, дайте ему выйти в свет».

– Ага. Такая песня со скрытым смыслом, – говорит Ярослав.

– Да уж. Надо же, как иногда новые смыслы неожиданно открываются...

Регина откидывается назад на кровать, лежит, смотрит в потолок. Вдруг вскакивает и кладет руки Ярославу на колени:

– Слушай, а давай выучим эту песню и будем петь на родах!

– Давай! Классная идея!

Ярослав идет к компьютеру, включает его, ищет в интернете текст песни.

– Нашел. Иди сюда.

Регина подходит к Ярославу, садится ему на колени. Ярослав обнимает ее. Они слушают песню и подпевают, читая текст. Так несколько раз, пока не запоминают.

– Я сейчас, – говорит Регина и идет в туалет.

Через пару минут возвращается.

– Слушай, уже первый час ночи, давай спать, – говорит Ярослав.

Регина смотрит на часы.

– О, я и не думала, что так поздно. Давай.

Ярослав с Региной раздеваются и ложатся в постель. Проходит минута. Регина вздыхает.

– Не могу, – говорит Регина. – Я пописать.

Регина встает с постели.

– Ты же только что ходила, – говорит Ярослав.

– Да, но мне надо обязательно сходить перед самым сном.

– Ты переживаешь о чем-то?

– Нет, я абсолютно спокойна. Но это уже не искоренить. Это как клеймо.

– Ты пробовала просто не ходить и все? Усилим воли, – спрашивает Ярослав, приподнимаясь в постели.

– Пробовала. Но меня тогда охватывает такая паника – страх, что я описаюсь, – что я просто не могу заснуть.

– Беденькая, – говорит Ярослав, встает и обнимает Регину. – Все будет хорошо.

Первый

На следующий день Ярослав уходит на работу.

Вскоре Регина замечает какие-то слабые потягивания внизу живота. Неужели началось? – думает. Продолжает заниматься домашними делами. Очень редко, иногда, слабые потягивания повторяются. Может, ложные схватки, думает Регина. На родительских курсах Регина научилась, как вести себя. Бежать никуда не надо, главное – считать интервалы между схватками. Когда потягивания повторяются, Регина смотрит на часы – они стоят на комодe, а внутри, за стеклом, «плавают» лебеди, крутятся, то есть, на подставке. Эти часы дедушка подарил. Красивые очень.

Регина продолжает заниматься своими делами. Схватки тем временем становятся регулярными, но редкими – примерно раз в полчаса. Регина знает, что делать – идти гулять. Движение, как учили, способствует хорошему процессу.

На улице жара, так что Регина надевает только уличный сарафан и босоножки и выходит из квартиры. Как хорошо, что через дорогу от их дома – парк. Регина идет туда. Прогуливается по тропинкам с мяг-

кой сухой землей. Вокруг очень много зелени – на деревьях, кустах, земле. Одуванчики, ромашки. В парке есть пруд, Регина идет к нему. Там утки плавают, Регина садится на скамеечку и смотрит на них. Идет гулять дальше. Раз – опять схватка. Наверное, все-таки не тренировочная. Совсем не больно, но интервалы сокращаются, и потягивания становятся сильнее и дольше. Но в роддом ехать рано – что там делать? В парке лучше, роднее.

Регина проходит мимо детской площадки, смотрит, как резвятся дети. Идет дальше по тропинке. Тут совсем тихо. Только иногда проходит мимо молодая мама с коляской. И птички поют. А еще Регине кажется, как будто в голове у нее звучит медитативная музыка.

Так, уже десять минут интервал – пора звать Ярослава. Регина звонит мужу и просит приехать с работы. Сама идет к дому. Вскоре приезжает Ярослав. Идет ей навстречу. Когда подходит ближе, становится видно, что у него испуганный взгляд.

– Ты как? – спрашивает Ярослав и обнимает Регину.

– Прекрасно, – отвечает Регина и улыбается.

– Тебе больно?

– Неа. Просто чувствительно.

– Ну как, на такси? – спрашивает Ярослав.

– Нет, пешком.

– Справишься?

На лице Ярослава видно волнение.

– Ага. Все в порядке, – отвечает Регина.

Супруги поднимаются в квартиру, берут из коридора два больших пакета, которые уже давно собраны, и выходят снова. Быстрым шагом до роддома идти минут пятнадцать. Но схватки у Регины усиливаются и удлиняются, так что иногда она останавливается и пережидает их. Примерно через полчаса они на месте. Ждут своей очереди. Врач на осмотре подтверждает – ага, роды, они самые. Медсестра дает инструктаж. Вскоре Регина и Ярослав – в родовой палате.

– Ого! Какая большая! И фитбол есть! – говорит Регина с радостью.

– Прямо как на курсах рассказывали.

Пара рассматривает обстановку. Везде кафель. Но по крайней мере ремонт свежий. Яркий свет. Посередине зала – родовая кровать.

– О, смотри, это для тебя! – говорит Регина и показывает на диванчик у стены.

Ярослав относит туда пакеты.

– Чем помочь? – спрашивает Ярослав.

– Так. Напоминай мне про дыхание. И делай массаж во время схватки.

– Хорошо. Ты махнешь рукой, чтоб я понял, что схватка начинается?

– Ага.

Регина тут же махает рукой и встает коленями на пол, чтобы облокотиться на фитбол. Ярослав молча делает Регине массаж спины – широкие сильные кисти двигаются то вдоль, то поперек, то с упором на большие пальцы, то ребрами. Регина снова махает рукой.

– Отпустило? – спрашивает Ярослав.

– Да.

– Ну как? Больно?

– Немного.

– Я нормально делал массаж?

– Да, очень хорошо, прямо здорово, – говорит Регина.

– Ну, походи пока, надо двигаться.

Регина встает, ходит по палате.

– Песня! – говорит Ярослав.

– Хорошо, что ты вспомнил.

И они поют.

– Землю обмотали тоненькие нити, нити параллелей и зеленых рек.

Совершите чудо – руку протяните...

Регина машет рукой, петь они перестают. Регина облакачивается о стену. Ярослав делает массаж.

– Дыши. Один глубокий, три коротких, – говорит Ярослав.

Регина кивает головой, дышит по технике. Махает рукой, улыбается.

– Мы не зря мечтали о волшебном чуде, – поет Регина высоким голосом.

– Пусть планету кружит всемогущий век, – подхватывает Ярослав баритоном.

– Совершите чудо – пусть выходит в люди, пусть выходит, пусть выходит в люди человек. Совершите чудо – пусть выходит в люди, пусть выходит, пусть выходит в люди человек, – поют дуэтом.

Так повторяется по кругу – схватки, массаж, дыхание, интервалы, ходьба, песня. Вскоре Регина берет Ярослава за руку и медленно идет к диванчику, садится.

– Ярик, что-то не очень, как будто сознание помутилось. И последняя схватка была уже очень сильной. Позови врача. Видимо, пора, – говорит Регина с полуоткрытыми глазами и водит головой.

– Ага, сейчас, – отвечает Ярослав и выбегает из родовой.

Через несколько минут Регина уже на родовой кровати. Вокруг несколько людей в белых халатах. Что-то делают.

– Все, сказали «потуги», я пошел. Я буду тут, в коридоре, – говорит Ярослав и целует Регину в щеку.

Врач стоит у ног Регины и что-то говорит, но она не слышит. Потому что начинается нечто невероятное: в животе у Регины закручивается вихрь и мощной лапой толкает ребенка наружу. «Ураган», – проскальзывает в голове у Регины.

– Ааа! – кричит она.

Ей не больно. Нигде. Ни внизу, ни в животе. Но природная стихия настолько мощная, что не кричать невозможно. А если бы вас подхватил настоящий ураган, оторвал от земли и понес по воздуху – вы бы не кричали? Так и Регина не может не кричать. Ее глаза закрыты. Она не видит и не слышит ничего вокруг. И даже не понимает. Она только чувствует этот настоящий ураган. И мощную силу природы. Такой мощи она никогда раньше не ощущала.

– Ааа! – кричит Регина во время очередной потуги.

Проходит минут десять или двадцать. Ураган резко заканчивается. Регина слышит детский крик. Ребенка уносят на стол в конце комнаты, что-то с ним делают. С Региной тоже что-то делают.

– У меня какое-то странное ощущение в районе попы. Тяжесть какая-то. Там все в порядке? – спрашивает Регина у врача.

– Еще бы ты не чувствовала – такого богатыря родила. Четыре килограмма сто двадцать граммов, – отвечает врач.

– Мальчик? – спрашивает Регина.

– Да.

– А разрывы есть?

– Нет.

– Ого. Ни одного?

– Да.

Одна из медсестер выходит в коридор, зовет Ярослава, показывает ему, где ребенок. Лицо Ярослава напуганное, глаза широко раскрыты. Но когда он видит своего ребенка, улыбается.

– Мальчик, четыре килограмма сто двадцать граммов, – говорит медсестра Ярославу.

– Ого! Спасибо вам большое! – отвечает Ярослав.

Закутанного ребенка приносят Регине, кладут на грудь. Регина держит его руками и вытягивает шею, чтобы рассмотреть личико. Младенец водит головкой в поисках соска, находит, присасывается. Все люди в белых халатах выходят из родовой. Ярослав подходит к Регине. Видит, какое у нее радостное лицо. И говорит:

– А я первым увидел нашего сына, бе-бе-бе!

Комфорт

– Поживешь в туалете одну ночь, ничего с тобой не случится, не переломишься, – говорит Лиза с невозмутимым лицом.

Она сидит на большущей кровати, сложив ноги по-турецки. В руках держит мягкую игрушку-зайку. Рядом на кровати сидят Света и Катя. На диванчике – Регина с Дашей. Окно зашторено тяжелой бордовой портьерой. Поблизости горит торшер.

Лизе никто не отвечает. Она продолжает:

– В номере и так душно. Два человека в комнате – это предел. Если Регина с кем-нибудь из нас ляжет, то у кого-то будет уже три человека в комнате. А это явно перебор.

Все продолжают молчать.

– А было так весело... – говорит Катя.

Опять молчание.

– Чего вы молчите? По-моему, мы достаточно редко отдыхаем и имеем право на заслуженный комфорт. Почему из-за Регины, которая заплатила меньше нас, мы должны поступаться своим комфортом? – говорит Лиза.

– Лиза, ну Регина же тоже заплатила деньги. Мне вот не важно, кто из нас больше заплатил, – отвечает Света.

– Да, она же не виновата, что болела и до последнего не знала, сможет ли с нами поехать! И мы сами вместе решили, что она подселение оформит. Подумаешь, меньше заплатила, – говорит Даша.

– Ну вы даете! Как вы не понимаете, надо ценить свой комфорт! – говорит Лиза и сжимает белого плюшевого зайку.

Все смотрят на сжатого зайку.

– И что ты предлагаешь? – спрашивает Регина.

– Возьмешь свою раскладушку и пойдешь спать в туалет.

Голос Лизы звучит очень спокойно.

– В туалет? В общий туалет в коридоре? – спрашивает Регина.

– Ну да. А что такого? – спрашивает Лиза и тербит ушки зайки.

– Лиза! Ты чего? В туалете воняет. Там грязно. Туда все ходят, будут смеяться надо мной.

– Да, Лиз, это не хорошо так поступать с подружкой, – говорит Катя.

– Катя, а хорошо так поступать с друзьями: лишать их заслуженного комфорта? – спрашивает Лиза.

Минуту все молчат.

– Да ладно, мы и потерпеть можем, – говорит Даша.

– Ты совсем рехнулась, Лиза, – говорит Регина, ссутулившись.

– Ребята! Не позволяйте Регине гнуть свою линию! Надо поставить ее на место! Кто сколько заплатил, тот так и отдыхает! – говорит Лиза.

– Лиза, блин, это фигня какая-то, – отвечает Света.

Она откидывается спиной на кровать и смотрит в потолок.

– Что мы, не человеки что, ли? Не подруги? Выгонять подругу спать в общий туалет... – говорит Катя.

– Ну да, – говорит Даша.

– Друзья! Вы меня обижаете! Надо ценить человеческое достоинство! Мы на славу потрудились, работали изо всех сил. Мы заслужили отдых. Мы заплатили каждая за свою кровать. Ну, за половину кровати. Мы имеем право спать среди прохладного чистого, а не спертого воздуха. Регине мы предложили сразу с нами поехать. Она сначала отказалась. Если бы она не отказалась, мы бы забронировали пятиместный номер. Но мы уже взяли четырехместный. Регина решила ехать в последнюю минуту. Она заплатила только за раскладушку. Вот пусть и берет свою раскладушку и тащится с ней в туалет. Все! Споры больше не принимаются! – говорит Лиза.

Она так потягивает плюшевые уши в разные стороны, что слышится звук разрывающихся ниток. Все смотрят на игрушку – одно ухо надорвалось.

Лиза встает с кровати и молча стягивает покрывало. Света с Катей тоже встают. Света помогает Лизе убрать покрывало. Катя с Дашей выходят в соседнюю комнату и тоже расстилают свою постель. Все молчат.

«Уехать бы отсюда. Но как? – думает Регина. – Ночь. Общественный транспорт не ходит. Такси за город вызывать слишком дорого. И страхово. Мало ли кто приедет ночью. Блин». Регина сидит на раскладушке посреди туалета, на проходе, у туалетных кабинок, отвернувшись к стене. Воняет мочой и испражнениями. Время от времени незнакомые люди проходят мимо Регины в туалет, смывают за собой и моют руки. Кто-то молча проходит и крутит у виска, кто-то во весь голос ржет. Регина сидит с открытыми глазами всю ночь.

Тем временем в двухкомнатном четырехместном номере Лиза продолжает молча отстаивать право на комфорт. «Что вы тут устроили? Почему не поддержали меня сразу?» – пишет Лиза смс и рассылает трем подругам. Все лежат в темноте, не разговаривают, но и не спят. Трое пишут Лизе ответные эсэмэски. Но она не унимается. «Эту выскочку надо проучить!» – последнее, что пишет Лиза перед тем, как заснуть. Лунный свет, просочившись сквозь щель в шторе, освещает настенные часы – четыре часа сорок семь минут.

Утром Регина приходит в номер к девушкам, молча собирает свои вещи и уезжает.

– Пппп-ппп-привет, – говорит Регина на пороге.

Она встречает Ярослава без улыбки. Стоит бледная, с ошарашенными глазами, с сумкой в руке.

– Что случилось? – спрашивает Ярослав.

Быстро берет у нее сумку и затаскивает Регину в дом. Садит на стул, встает рядом с ней на колени и берет в руки ее лицо.

– Что? Что случилось, Региночка?

– Фффф-ффф-фсе плохо.

- Тебя кто-то обидел?
- Дддд-ддд-да.
- Господи! Почему ты заикаешься?

Регина все рассказывает ему. Он долго обнимает ее и целует, пока не просыпается сын Саша. Семья быстро завтракает и выезжает из дома. Сашу завозят к бабушке с дедушкой. Регину Ярослав отвозит к психологу.

Проходит два года.

Регина стоит на кухне и фарширует голубцы. Сзади подходит Ярослав, обнимает Регину за талию и щупает за попу.

– Ярик! Сашенька где? – спрашивает Регина, оглядываясь.

– В комнате машинками играет.

Ярослав снова щупает попу и говорит:

– Моя мечта!

– Спасибо, Ярик.

– Нам когда уходить с Сашей?

– Где-то через полчаса, – отвечает Регина, заворачивая капустный лист.

– Сколько к тебе подруг придет? – спрашивает Ярослав и садится на табуретку рядом.

– Представляешь, целых шесть! – говорит Регина и поворачивается к Ярославу с голубцом в руках.

– У тебя что, целых шесть подруг?

– Да, я как-то не считала раньше, а тут, когда на день рождения решила всех позвать, посчитала. И получилось шесть... Я сама удивилась.

– Надо же, у меня никогда не было столько друзей, – говорит Ярослав.

– Так и у меня, – говорит Регина и тоже садится на табуретку. – Тогда на турбазе я потеряла четырех подруг. Студенческих. Говорят, студенческие друзья на всю жизнь. А я потеряла. Думала, вдруг не найду больше. А вот как-то само собой получилось. Чудо.

Регина молчит несколько секунд и добавляет, понизив голос:

– Правда, я так переживала тогда, что молилась Богу, чтобы он помог мне найти новых подруг.

Стихи по кругу

Галина СТРУЧАЛИНА

Белгород

Гефсиманский сад

Деревья с бугристой корой, цветы белизны небывалой.
О, Сад Гефсиманский, открой калитку свою как начало.
Здесь масло годами текло, под камнем оливки стирались,
И дни, как один, повторялись, и время размеренно шло.

Здесь спали беспечно в ночи, здесь льстиво склонялся Иуда,
И здесь обнажали мечи. Здесь было и не было чуда.
И выход из сада ведёт туда, где, оставив земное,
Душа свои камни сочтёт и тихо попросит покоя.

Входи же сюда, не робей: томимый предсмертной тоскою,
Поплачь над корой вековой и чашу отруты испей.
О жизнь, Гефсиманский мой сад, я здесь, я стою у калитки...
Оливы всё также молчат, как в ночь испытанья и пытки...

* * *

Смотришь на звезды?
Смотришь со звезд? –
Я не узнаю об этом.
Ветер ночной твое имя принес
Мне шелестящим приветом.
Пусть десять тысяч растерянных слов
Мы никогда не услышим –
Ветер шепнет тебе:
С нами любовь,
Если мы помним и дышим...

Владимир ПЛЕХОВ

Киров

По полю боя

И когда по полю боя смерть с косою
Полетит над нами, голову сломя,
Убежим из-под обстрела с медсестрой,
Я одной ногой бегу, она двумя.

А с утра довольно тихо было там,
Рассчитали до патрона, чтоб на всех,
Сухари и воду тоже пополам,
Только, видимо, не поровну успех.

И на панцирной на койке без ноги
Я лежал и нежно Господа просил:
Сохрани нас, Боже, дай и помоги,
Дай терпения и дай побольше сил.

Дай патронов, что б стрелять без сбоя мог,
Дай гранат и дай везения вдвойне,
Хлеба дай, воды, а главное, дай ног,
Нам без ног совсем не сладко на войне.

Надо вырвать, надо выдавить врага,
Полю колос нужен и не нужен бой.
И бежим по полю мы на трех ногах
С обезумевшей от страха медсестрой.

Вита ПШЕНИЧНАЯ

Псков

На слиянии рек

В Великой отражаются века,
В Пскову перетекающие плавно,
Давнишнее в них было так недавно,
И поступь Бога, как перо, легка.

Глаза поднимешь – купол-богатырь
Скрывает крест свой за небесной прядью,
Опустишь взгляд – за беспокойной гладью
Душа иной увидит свет и мир.

Оглянешься вокруг – ни взять, ни дать:
Какая даль, и сколько откровений!..
И сотканная из
земных мгновений –
Теплом по телу – Божья благодать...

Сон

Ангел справа, крест на шее –
Вот и вся моя защита.
Вновь проглядывает солнце
Сквозь завесу облаков.
Вдоль шоссе до горизонта
Лента алая завита,
И не верится, что скоро –
Снег, морозы и Покров.

Крест на шее. Дремлет Ангел,
В снах моих себя заметив.
Нынче с Богом и Вселенной
На одной волне висим,
И, заглядывая в небо,
Я шепчу лишь: «Тихий Свете,
За мечты и жизнь – спасибо,
И за прошлое – спаси...»

Ангел справа. Слева – пусто,
Разогнала всех рогатых:
На чужих плечах пусть ищут
Собеседников себе.
Осень, осень... Время катит...
И ходить тебе в заплатках,
Разбросав свои наряды
В танцах, в плясках, в ворожбе.

Время катит... Обрастая
Нитями потерь и судеб.
И исписан лист бумаги,
Чтобы к полночи истлеть.
В семь утра проснусь и втиснусь
В хищную утробу буден...
И расправит крылья Ангел –
На церковный крест взлететь.

Мария ЗАТОНСКАЯ

Саров

* * *

Человек после смерти
становится очень хорошим:
готовит пухленькую селёдку под шубой,
чинит пальто, понимает тебя как никто.
Будто вчера
было то,
чего никогда не было.

* * *

Это снег в пансионате,
это человек в ботинках
ходит по тугим сугробам
и печаль свою хрустит.
После счастья нету счастья,
только призрак алкогольный,
или это в человеке
просто музыка болит.

* * *

У тебя усталые глаза,
долго-долго будет ещё бегать
и проситься горе в небеса.
Протяни невидимую нить,
чтобы здесь мне за неё держаться,
и оттуда будет кто-то дёргать,
чтобы никогда не зажило.

Александр ЗВЕРОВЩИКОВ

Пенза

Броня

По жизни, плясом или строем,
Идя дорогой не прямой,
Желает каждый, слабость кроя,
Обзавестись от бед броней.

Понты. Броня людей дешевых
Блестит достоинством кота:
Машина! Цацки! Гаджет новый!..
Хрупка, под нею – пустота.

Вот – протокол! Из одеяний
Прочнее нет (ведь сплав – закон).
Но в реку истинных деяний
С ним не войти – утопит он.

Эзотерические знания...
Звенят, сияют с высоты,
Сулят защиту и признание.
По сути – те же все понты!

О, наглость! Латность силы духа!
С забралом хитрости – крепка,
А без – не держит оплеуху.
И даже по носу щелчка

Лишь опыт – тонкая кольчуга,
Трудом и риском сплетена,
Прикроет от врага... и друга.
Увы, недёшева она.

Основа

По мерзлой линии заката
Лошадка тянет сена воз.
Мужик в тулупчике горбатым
Трет рукавицей круглый нос.

Деревня рядом. По окошки
Ушла в искрящий тускло наст.
И запах жареной картошки,
Горячей, к ужину как раз.

В дверной щели намерзнет иней,
Пса пустят в дом, сметая снег.
Зима. Провинция. Россия.
Какой-то год. Какой-то век.

Галина ТАЛАНОВА

Нижний Новгород

* * *

В тот март слепило солнце за окном
И жмурились прохожие с улыбкой.
И в панцире прозрачном ледяном
Искрились, как серебряные слитки,
Обломанные ветки на снегу,
Ещё не чёрном, но уже осевшем.
Я задыхалась, словно на бегу,
Тонула будто в этом ветре вешнем,
Что дул в лицо,
Как ветер штормовой,
Набухший влагой и горчащий солью.
И ты была в тот день ещё живой
И гладила мне волосы с любовью.
И видела ты море за окном
И солнце, что стояло за туманом.
И становился точкой милый дом,
Хоть птицы возвращались караваном.
Была не здесь,
Но и пока не там,
Где корни оплетают изголовье.
И звал маяк к далёким берегам,
Пульсировал,
Как сердце, тёплой кровью...

* * *

Я обещала, что вернусь,
Когда-то маме точно в срок,
Надену шапку, застегнусь,
До темноты через порог
Шагну домой.
И вверх неслась,
Трезвон услышав через дверь.
И проклинала эту власть
Над жизнью маленьких детей.
Теперь не знаю нужный срок,

Когда вернуться к маме мне:
Ищу разгадку между строк
И указанье в вещном сне...
Но нет...
В туннеле том темно.
В окно заглядывает мгла.
И мама смотрит из трюмо,
Но не гляжу из-под крыла.

* * *

Остаётся лишь воздух,
Что снова
Обдирает щетиной лицо.
Как же жизнь вся прошла бестолково!
Сердце жмёт, как на пальце кольцо,
Что вросло во плоть незаметно.
Эта музыка горестных строф,
Что приносится северным ветром,
Что подул с неземных островов.
Остаётся лишь небо,
Где звёзды –
Будто рой светлячков на горе.
И любовь, что случилась так поздно.
Снег на солнце искрил в декабре...
Этот свет не ушёл,
Не растаял,
Хоть впитал снег всю копоть и дым...
Видишь мир будто в щёлочку ставен,
А не так,
Как дано молодым...

Кристина КРЮКОВА

Москва

Россия

О, Россия моя некошенная,
Непрочитанная глава!
Отчего у тебя, взъерошенная,
Непричесана голова ?

Отчего по твоим дорогам
Неустанно кочует грусть?
Отпусти ты ее себе с Богом,
И она отдыхает пусть.

Выжат воздух лесной и влажный,
Пролит лужею под сапог.
Мой походный блокнот бумажный
Весь уже отсырел, промок.

Погоди ты звонить молитвенно
И низины водой не пруди.
Вся прекрасна ты, даже рытвина –
Украшенье твоей груди!

То был не снег

То был не снег... На косогор и ели,
Под лунным светом, в сумерках времён,
Спускались нити кружевной метели –
Кристаллов переплёт и перезвон,
Короткое и дивное звучанье
От Райских врат до куполов. Как знать,
Возможно, это тайное венчанье
Вписал ноябрь в приходскую тетрадь?
Кольцом, сильнее стали, приковал он
Меня к тебе, мой невесомый друг.
Аркадия обещана тем малым,
Кто погибает от касанья рук,
Ведь ты, снежинка, баловень погоды,
Столь ветрено, от холода к теплу,
Витальной обречённостью природы
Ведёшь меня по хрупкому стеклу.
Быть может, оттого я растворяюсь
В шипящий, ускользящий прибой,
Я исчезаю... Люди, озираясь,
Услышат только голос меж собой...

Павел ШАРОВ

Саратов

* * *

В области заоблачной, заочной
окажусь я с визою бессрочной.

Встречу тех, с кем не совпал на этом
свете, где хотел я быть поэтом.

Человек же из меня не вышел.
Может быть, и был он, да весь вышел.

Я смотрю на небо, и не надо
ничего мне больше, кроме сада, –

чтоб цвели в нем яблони и вишни.
Помнишь, мы с тобой оттуда вышли,

а вернуться до сих пор не можем,
всё скорбим и скорби мира множим.

Но когда отдам я душу Богу,
в этот сад я вновь найду дорогу.

* * *

Ночь темна. Где звёзды? Ни души.
Ты об этом лучше не пиши.

Ты об этом лучше позабудь.
Холодок нездешний тронул грудь.

Скоро рука об руку пойдём
к облаку, налитому дождём.

Как нага и беззащитна зябь!
Как недолговечна жизни рябь...

Екатерина ФОМИЧЁВА

Бор

Растворение

Душа тяжела.
Мир от её тоски
Отгородился
Мистически вечным «сукун»*.
Сквозь одиночество,
Сквозь исихастский сон
Проступает моя судьба.
Несу
Чью-то землю
В холодных, как свет, руках,
И путь
Мне загораживает туман
Внутри души.
Мир потускнел.
Я ухожу от него далеко.
В молчание.
В тишину.

Чёрное

Я в чёрном.
С листа,
что исписан
неровным
и чёрным,
читаю грехи.

* *Сукун (араб.)* – дословно переводится как «тишина». Это глубокое вслушивание в душу мира, гармоничное слияние с ней в беззвучии.

И в душе моей чёрной
лишь чёрное – чисто,
беззвучно
и честно.
Во всём остальном –
примесь духа иного.
И вот – я стою,
облачённая
в чёрное,
и чувствую:
я – живу.

Александр ШУБИН

Озёрск, Челябинская область

* * *

Руси поруганное знамя,
судеб порубленных леса
и смерч безверья –
всё за нами,
и тяжёк шаг,
и вспять – нельзя
под громовыми небесами,
под гробовые голоса.

Песня

Заунывную старую песню,
головую качаю – пою.
Всё, что в ней – мне заранее известно:
той же долей живу и терплю.

Сколько помню себя – столько знаю
я её... Песней душу целю!
Допою – и опять начинаю:
головую качаю, пою.

Запою – словно искру раздую –
думу вольную да удалую
в сердце стылое я зароню!

Не могу никакую иную –
всё про эту – льняную, ржаную –
головую качаю – пою.

Ода чайнику

Здравствуй, чайник мой походный,
собеседничек охотный,

знатный времени транжир –
рад, что ты, как прежде крепок,
и венчает блеск заклепок
твой начищенный мундир.

Как зачатое наследье
ты пришёл, впитавши медью
судьбы лагерных широт.
Как по глобусу гадаю
путь твой, пройденный до края
исторических щедрот.

Копоть смыть – не смоешь имя,
за кого ты шёл в польмя
с гордо вздёрнутым рожком.
не изноешь волчьей ночью
стон души чернорабочей,
что крестилась кипятком.

В век потравы и распада,
среди гламурного парада
ты один душой горяч:
искрою небесной мечен,
по-земному – человечен,
и по-божескому – зряч.

Наталья ЛУЖБИНА

Нижний Новгород

Это все о тебе...

Это все о тебе.
И о том, чего быть не может.
Недосказанность, недо-быль,
не-звонки, не-встречи.
Не-отказ, недо-дружба,
Не-прошенность есть,
и все же...
Это «недо» – как недо-пульс
Недо- жизнь, не лечит.

Это все о тебе.
Встреча взглядов, где слов
не надо.
Растворенность двух душ, как
Таинство сопричастия.
И последняя добровольная ложка
яда.
А постскрипtum: в молитве имя
твое на «счастье».

Это все о тебе.
Знать, весна пролилась
капелью.
У суровой зимы отняв
Холода и снежность.
Новый день начинается звонкой
веселой трелью.
И, наверно, в глазах твоих
серо-зеленых – нежность.
И, наверно, любовь.
И полет, и покой, и вера.
Ведь душа и жизнь не мыслят себя
иначе.
И во всем твоим царит –
золотая мера.
А во всем моем –
табун лошадиный скачет.

Это все обо мне.
В листопаде кружится осень.
Ярко-красной, лиловой, желтой
палитрой цвета.
Это солнца и неба сквозь голые
ветви просинь.
Тонкой льдинкой на лужах
зеркалит осколок лета.

Это все обо мне.
По неровным краям –
не ранить.
Осторожно. На ощупь. Почти
ощущая кожей.
Там, где бьется отчаянно в
запертой клетке – память.
И мгновенья,
которые
всех
дороже.

Петр РОДИН

Воскресенское, Нижегородская область

* * *

Когда поля усеивали мины
и гибли стаи перелётных птиц,
и вновь Пожарский нужен был и Минин,
когда смыкались линии границ...

Была Война, в Москве сирены выли,
делили хлеб на пайки по сто грамм

и почтальоны каждый день носили
десятки похоронных телеграмм.

Уже давно всё это вроде было,
и боль утрат сошла в минувший век,
но кровного родства святая сила
тебе диктует, русский человек:

мы, русские – за правду! Лики дедов
в сердцах сыновних помним и храним.
И им и нам нужна одна ПОБЕДА,
«одна на всех, мы за ценой не постоим!»

9 Мая

Весна не нарушает этикет,
под окнами черёмуха царевной.
Не смог пойти на праздничный обед
наш ветеран, последний из деревни.

И вовсе нет обид на сельсовет –
прислали приглашение, открытку.
Но вот ходить уже силёнок нет.
На костылях. И только до калитки.

На пиджаке сияют ордена.
Эх, молодость – война! Эх, годы-кони!
Традиция семьи соблюдена:
Сегодня он играет на гармонии.

Ну, гармонист, минор или мажор?
И заходили, заиграли планки.
И узловатых пальцев перебор
выводит марш «Прощание славянки».

Андрей РУДАЛЁВ

Родился в 1975 году в городе Северодвинске Архангельской области. Окончил филологический факультет Поморского государственного университета, два года работал там же на кафедре литературы. После был охранником в ночном клубе, замредактора в рекламной газете, корреспондентом «Северного рабочего», пресс-секретарем Совета депутатов Северодвинска.

Участник форумов молодых писателей в Липках. Лауреат литературной премии «Эврика!» (2006). Автор книг «Жизнь по чужим лекалам», «Письмена нового времени». С критикой и публицистикой выступает во множестве периодических изданий. Живет в Северодвинске.

СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК ПЕТР ВЕЛИКИЙ

В нынешнем году исполняется 350 лет со дня рождения российского императора Петра I

В апреле 2022 года РИА Новости опубликовало материал под характерным заголовком «Почему Петр I – самый спорный правитель России». Он был приурочен к открытию в московском Выставочном зале федеральных архивов экспозиции, посвященной 350-летию российского императора. Основной посыл заключался в том, что «столь противоречивого в народной памяти правителя в России не было». Спектр спорности традиционен: от антихриста, «грубого варвара» и гуляки, до «человека Нового времени» и реформатора, прорубившего окно в Европу.

«Оселок русской мысли» – так называл его академик Александр Панченко. Узловой деятель русской истории, отношение к которому может быть диаметрально противоположным. Причем меняется оно не только в зависимости от идеологических пристрастий, но и каждый исторический период дает свои оценки. Мы ведь помним, как еще Михаил Ломоносов восклицал: «Он Бог твой был, Россия!», подчеркивая мессианский, а значит, и провиденциальный характер для отечественной цивилизации.

Действительно, восприятие Петра – настоящее собрание штампов и идеологических клише.

Его традиционно воспринимают в качестве западника, человека, заложивший мейнстримную линию на западные ценности, хотя это едва

ли верно. Историк Василий Ключевский писал о нем, как о стороннике мысли о круговороте или передвижении наук. Это совершенно иное, чем положение вечного ученичества с топтанием на пороге и бесконечного, как сказка про белого бычка, вопроса: Европа или не Европа Россия.

Петровская деятельность не ставила своей целью онемечить Русь. Преображение – да. И включенностью во всеобщий круговорот наук и учености. Преобразование, вписанное в отечественную цивилизационную логику с исконной ставкой на распаханность, на принятие чужого опыта, который становится своим. Как в свое время произошло с принятием православия и распространения письменности.

Петра невозможно воспринимать и как противника отечественной старины. Что он будто рассек страну на две части. Сама отечественная история логическим образом переходила на новый уровень, и он стал персонифицированной проекцией ее воли и энергии. «Петр не успел стряхнуть с себя дочиста древнерусского человека с его нравами, понятиями, даже тогда, когда воевал с ними», – писал Ключевский.

Схожим образом рассуждал и Василий Розанов: «Он боролся с Россией, но... на русской же почве; с нравами, но русским же нравом; с обычаями, но не покидая русской своеобразности; и, наконец, он сам, он весь в лице своем, движениях, манере был новый русский быт, и только более свежий и, главное, более правдивый, чем тот окаменевший в своей условности и формализме прежний быт... Россия старая, Россия предания оказалась бессильной против него, потому что он не хотел и не требовал от нее ничего, кроме правды в ней же самой, в ее же вере, в ее притязаниях...»

Петр был деятель естественного отечественного преобразования. Выхода цивилизации на новый уровень – имперский. И в этом, конечно же, присутствует очевидное эхо концепции «Москва – Третий Рим». Ведь та же идея о передвижении наук очень близка к ней.

Так отзвуки концепции «Москва – третий Рим» видел в деятельности Петра отечественный литературовед Юрий Лотман. Новизна того времени вовсе не исключала и следование традиции, которая предстает уже осмысленной в масштабе вселенскости. Поэтому ученый и писал, что в «ряде случаев преобразования Петра могут рассматриваться как кардинальные переименования в рамках уже существующего культурного кода». Отсюда и перенос столицы, как ориентация на Рим, минуя Византию.

Вообще перенос столицы – символический акт. Перенос центра, ориентира. Россия создала свою Европу, у которой готовилась принять не систему ценностей, а ту самую ученость. Перенеся, обжила ее. Что повторяет процесс развития книжности на Руси, когда творения Святых Отцов переводились на старославянский и воспринимались как свое.

Также Лотман отмечает, что «сакрализация личности Петра» приводит к тому, что город воспринимается как названный в его честь. Также ассоциация Петр – камень намекает на противопоставление с прежней деревянной Русью. Сам Петербург представляется в качестве образа будущего России. В том числе и в том смысле, что Россия приняла эстафету учености от Европы.

В послепетровской же России Запад становится особым зеркалом, средством для познания себя. Образом земли обетованной, к которой направлен тот же Петербург, как русский Запад. То есть петровская концепция преобразований была схвачена лишь внешне, без ее глубинного развития. Отсюда и развился штамп Петра-западника.

В дальнейшем в отечественной культуре развернулась широкая полемика по поводу подобного образа города и вообще западоориентированности. Один из важных петровских оппонентов – Федор Достоевский. Лотман отмечает, что у него «Петербург воплощает в себе скорее болезнь России». Выздоровление же воспринимается как «преодоление Россией в себе петербургского начала». Как ни абсурдно это звучит, но Достоевский скорее стал критиком послепетровской трактовки деятельности императора.

Что до западничества Петра, то тот же Ключевский приводит его высказывание в беседе с приближенными: «Европа нужна нам еще несколько десятков лет, а потом мы можем повернуться к ней задом». Эти годы нужны для пересадки и укоренения на отечественной почве передового европейского опыта, чтобы те же науки совершили свой естественный дрейф в Россию. При этом очень показательно, что в конце жизни он все больше смотрел в сторону Азии. Думал о дороге в Китай и Индию, о Северном морском пути. Отсюда и известное ломоносовское высказывание о том, что «российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном». То есть географический кругозор Петра был многим более обширен, чем только лишь пристальное вглядывание в Европу, а это обычно уходит из оценок его деятельности.

Интересовался он также историей страны (ставил задачи написания ее истории) и воспринимал ее как центр, связующий Запад и Восток.

То есть его западоориентированность – не более чем штамп восприятия. Скорее можно говорить о географическом повороте, который им был намечен, но не реализован. Смене координат, ставшей важной составляющей отечественной национальной идеи: преодоление периферийности. Она периодически проявляется в разных формах от Октябрьской революции с вектором на мировую полицентричность, затем в противостоянии двух систем во второй половине XX века, двух центров мира, двух географий и до нынешних переломных исторических событий, когда российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявляет: «Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене». То есть все те же идеи о передвижении наук, что делает мир не только взаимосвязанным, но и равноправным, полицентричным, предельно критически относящимся к догматической застывшей ментально-географической иерархии с Западом во главе.

России Петра Запад был необходим для подготовки себя к тому самому передвижению наук, чтобы перенять необходимую эстафетную палочку и дальше передать ее, например, на Восток. Причем в этом не было каких-либо претензий на исключительность, в которых сейчас пребывает тот же западный мир. Скорее Россия становится одним из мировых центров для реализации идеи связанности мира, суверенности ее частей. И, конечно, в этом была и есть серьезная угроза для монополии Запада как доминирующего центра.

Все это в силу того, что Петр явил на отечественной почве совершенно иной тип власти, для которой принципиален «характер долга, а не произвола» (Ключевский). Он был практик, культивирующий Дело, а его реформы базируются на «принципе полезности» (Панченко).

Так что весьма странный западник. Если даже сейчас иностранные политики пугают друг друга возвратом России к его политике. Чего стоит высказывание бывшего американского президента Билла Клинт-

тона, заявившего, что его «беспокоит не возврат России к коммунизму, а возврат к ультранационализму, замене демократии и сотрудничества стремлением к империи, как у Петра Великого и Екатерины Великой». Вот этот эпитет «Великий» очень смущает.

* * *

Надо сказать, что говоря о Петре, мы имеем дело, скорее с сакрализованым (или десакрализованым с другой стороны) мифом, который разворачивается в ту или иную сторону в зависимости от нашего восприятия, от того, как мы воспринимаем отечественную цивилизацию.

К примеру, академик Александр Панченко писал про культ «обожествления монарха» и о том, что «из персонажа исторического Петр стал персонажем мифологическим». Он своеобразная «проблема», причем не только историческая, но и религиозная, а также мировоззренческая, отсюда и нескончаемые споры о нем и о цивилизационном развитии страны.

Можно воспринимать допетровскую Русь в качестве потерянного рая. Его будто бы лишили после того, как Петр дал вкусить яблоко западных плодов, которое прельстило, и за которым погнались. До сих пор бежим. Отсюда и изгнанничество, и вечная раздвоенность, бесприютность и шатание из стороны в сторону. Комплексы неполноценности, само собой. Нечто из разряда притчи о блудном сыне.

Относительно этого райского образа Петр и будет восприниматься в качестве воплощенного антихриста, который оторвал от корней, нарушил преемственность, систему отражений и последований. Поместил страну, изгнанную из рая, в кривое западное зеркало, в котором она до сих пор не узнает себя.

Такова, к примеру, была точка зрения писателя Валентина Распутина, отмечавшего, что «вздыбив Русь, Петр переделал ее в чужое платье и обьязычил на чужой манер, но не в его власти было переменить душу, характер».

Распутин полагал, что из всех петровских реформ осталось только нужное стране. Например, «преобразованная армия». Остальное со временем «поглотилось российской неповоротливостью и бюрократией». После него пошли гонения на все отечественное.

С личностью Петра очень остро возникла проблема: власть и народ, когда первая становится не от мира сего, не от почвы и старается насильем переделать, перестроить вверенный ей народ.

Тот же Распутин рассуждал о том, что трагедия «святоискательного» народа состоит в том, что власть всегда стремится поспешить за мировыми веяниями и перестраивать Россию «вопреки ее назначению». Подобная перестройка стала страшным словом, а то и проклятием для страны (к слову сказать, в советской публицистике конца восьмидесятых перестройка ставится в один ряд с реформами Петра). К власти Петра писатель применяет слово «передовизм», в котором заключается слепая веры в безудержный прогресс.

Но все, конечно, не совсем так. Кризис отечественной цивилизации, а также раскол был запущен еще до Петра, который не только предоставил свою версию выхода из тупика, но вывел ее на новый уровень. Примерно так же, как многим позже через советскую страну отечественная цивилизация преодолела угрозу уничтожения, а также поднялась на принципиально иной качественный виток в своем развитии, потому как включилась в большую работу. И это тоже вопрос предназначения.

Предпетровский менталитетный кризис был связан во многом с концепцией «Москва – Третий Рим». Это был выбор между Русью в себе, самой по себе и ориентацией на вселенскость в силу преемственности и наследования. Концепция представляла эту самую вселенскость даже не в качестве свободного выбора, а как особый крест империи, выпавший на ее долю после падения Византии. Вопрос готовности – не готовности отметался, ведь в этом наследовании усматривался провиденциальное предназначение. Поэтому и необходимы были ускоренные темпы по преобразованию страны под имперский формат. Это долг-крест, отсюда и реформы Никона как реализация этого долга, а также реформаторство Петра.

Хоть Петра мы зачастую и воспринимаем за человека, который расколол страну, но в то же время с большим основанием можно утверждать, что его деятельность являла собой органическое развитие России, которая стала многим больше, чем Русь. Переросла ее.

Этот самый контекст времени, в котором он пришел, крайне важен. «Петру досталась держава, пребывавшая в состоянии духовного надрыва», – писал тот же Александр Панченко. Это было время грандиозного пессимизма, наступившего вслед за отечественным расколом, который дал ощущение пребывания на краю времен. Этот настрой иллюстрирует практика самосожжений старообрядцев: от индивидуальных актов до больших «гарей». Собственно, эта инерция могла бы охватить и всю страну, привести к самоуничтожению. Такой потенциал, памятуя о советской перестройке у России, безусловно, присутствует.

Как отмечал Юрий Лотман, эпоха Петра, переживавшая разрыв, оценивала «себя в терминах Апокалипсиса – как нечто никогда не бывшее и ни с чем не сопоставимое». Самосознание эпохи строилось на противопоставлении «старое – новое». А сама «допетровская Русь наделялась признаками энтропии», объявлялась «не имеющим исторического бытия, временем невежества и хаоса». Происходило своеобразное преодоление «ветхого» человека (собственно, ровно такой же отечественный водораздел в XX веке произошел в 17-м году, и трактовался он именно в таких же терминах).

Отсюда и исторический нигилизм к предыдущим периодам отечественной истории, который распространился и до нашего времени (но следует помнить и про сильный интерес Петра к отечественной истории). Вот и повелось, что для каждого нового этапа истории России важна декларация своей уникальности, новизны и отрицание связи с предыдущим. Отрицание начинаний предшественников, поэтому «политическая история строится как цепь взрывов».

Ученый в статье 1992 года, рассуждая о произошедшем развале Советского Союза, писал, что происходящее – «все тот же кризис, который в разных формах, но с единой сутью повторялся весь период между Петром и нашей современностью». Здесь и возникает вопрос-проблема отечественного раскола.

Рассуждая о «механизмах Смуты», тот же Лотман отмечал, что «русская государственность XVIII века изначально была построена на ряде непримиримых противоречий, чреватых катастрофами. Основное заключалось в строительстве “регулярного” государства европейского типа на крепостнической основе».

Другой момент заключается в том, что тогда же начался разрыв между культурой светской и религиозной, что академик Панченко называл «национальной бедой». От этого и общественная раздвоенность, в этом

коренится и разрыв между верхами и низами, когда верхушка общества, «после Петра живет как бы вне Православной Церкви», следствием чего стала большая популярность масонства. Поэтому верхи очень часто на отечественной почве и декларируют оторванность от национального, что становится их особым атрибутом, способом самоидентификации. Отсюда и стереотип о том, что элиты общества должны с восторгом взирать на открывшиеся из прорубленного окна в Европу горизонты, а еще лучше пытаться пролезть в него.

Своя версия о формировании этого менталитетного кризиса и у отечественного философа Александра Панарина. Ее он изложил в книге «Стратегическая нестабильность в XXI веке». Панарин пишет о «цивилизационной раздвоенности» – бремя, которое из века в век несет русский человек. Она проявляется в отношении к Западу, к которому он то тянется, то от него отталкивается, при этом страдая от самоидентификации. В страстном сближении с Западом он «вдруг теряет идентичность и начинает вести себя как незадачливый эпигон». С другой стороны, при дистанцировании от Запады возникают и усиливаются «тайные симпатии», а сама западная цивилизация начинает восприниматься в качестве «таинственного alter ego русской культуры». Видимо, вся проблема в ощущении цивилизационной несамодостаточности. Русская культура не воспринимала себя в качестве особой и уникальной цивилизации.

По словам Панарина, советский человек преодолел эту раздвоенность русской души, он не только сумел побороть комплекс неполноценности, но и «обрел замечательную цельность и самоуважение».

«Россия впервые осознала себя как самая передовая страна и при этом – без всяких изъянов и фобий, свойственных чисто националистическому сознанию», – пишет Панарин. Этот триумф самосознания связан с победой в Великой войне. Она «стабилизировала новый строй», завершила «формирование советского человека как особого культурно-исторического типа».

Слом всего этого, по мнению ученого, произошел в 1968 году во время подавления «Пражской весны». Тогда «стал формироваться и новый образ СССР – как страны, унаследовавшей худшие традиции “русской азиатчины” и “русского империализма”». Тогда же стало возвращаться давняя раздвоенность отечественного сознания с комплексами неполноценности.

То есть корень проблем можно увидеть в глобальной географии и половинчатости деяний Петра. У него попросту не хватило времени до того, когда Россия может повернуться «задом» к Западу. А последователей и продолжателей практически не нашлось. Оставались лишь те, кто либо смотрели в западную сторону с пиететом и подобострастием, либо с вызовом. Отсюда и наши исторические качели.

Да и о том, что вообще вся эта западноцентричная география может быть преодолена и все стороны света равноправны, как и цивилизации, мы узнали только в XX веке. Но историческая усмешка заключается в том, что в его финале разрушали прежнюю страну, объявленную «греховной» и устраивали абсолютный культ Запады, в том числе и с именем Петра на устах. Он же был скорее типично советским человеком, ведь если разобратся, то советский период отечественной истории был совершенно петровским по духу, смыслу и результатам.

Поэтому и пугаются его сейчас на Западе, потому как в нем все: и советское, и имперское – великий цивилизационный путь России.

Надо также сказать, что с Петра идет отсчет новой отечественной культурной традиций, который связан, к примеру, с переходом на гражданский алфавит и с модернизацией печати. Революционность этого события была равносильна переводу Священного Писания святыми Кириллом и Мефодием. Только Петр открывал страницу светской культуры.

Так, академик Панченко полагал, что Петр своей церковной реформой заложил «светскую святость», когда книги Пушкина, Гоголя, Достоевского в отечественном сознании приравниваются к трудам Святых Отцов. Этим дал мощный толчок для развития светской культуры и литературы, которая в России во многом заменила церковную кафедру и была многим больше, чем литература в западноевропейском понимании (вот кому должны быть обязаны наши литераторы).

Опять же любопытно, что антиподом Петру часто в восприятии выступает феномен Пушкина, который трактуется как возвращение к национальной культурной традиции. Переход от чужого к своему. Об этом, в частности, писал Юрий Лотман.

При этом надо отметить, что настоящее наследование Петру происходило больше в сфере культуры, литературы и науке, нежели в политике, которая чаще страну директивно качала «или – или». Пример ее более естественного развития сконцентрирован в образе Ломоносова. С ним, можно сказать, и преодолевался раскол, устранялось то самое гонение на отечественное. Страну не разрывали в разных направлениях, а примиряли. В нем соединился и петровский пытливый дух, и старообрядческая основа, а также открытость к западному, но без безудержного пиетета и с посылом на самостоятельность и уникальность: «Что может собственных Платонов...»

Вехи памяти

Валерия БЕЛОНОГОВА

Родилась в Дрездене, ГДР, в семье военнослужащего. Окончила Ленинградский университет. Работала в редакциях нижегородских и московских газет, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Болдино», преподавала в Нижегородском госуниверситете им. Н.И. Лобачевского, Нижегородской государственной консерватории. Кандидат филологических наук, доцент, историк культуры, критик.

Автор книг «Выбранные места из мифов о Пушкине» (2003), «Болдинский ключ» (2009), «Что вам нужно в этом Нижнем? Город в зеркале литературы» (2011), «Забывтая мелодия. Жизнь и труды Александра Улыбышева» (2016), «Открытый остров. Болдинские реалии и образы Пушкина» (2017), «Утренний человек Даниил Хармс» (2020), статей и очерков по истории литературы и музейному делу. Составитель и редактор нескольких сборников и монографий. Дважды лауреат литературной премии «Болдинская осень» (2010, 2018).

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

ПОВЕРЬЕ О ЖАРКОМ ВЕТРЕ СОРАНГЕ

К 130-летию со дня рождения Константина Паустовского

Как-то раз осенним вечером в Доме творчества в подмосковной Малеевке писатели устроили состязание. Кто быстрее сочинит рассказ. И уже через полтора часа Паустовский читал коллегам небольшой рассказ о женщине, которую разыскал в приморском городке на севере Шотландии русский матрос, чтобы передать записку. Ее написал в свой последний час лейтенант Отс, один из участников погибавшей в антарктических льдах экспедиции капитана Скотта. Прочтя письмо, Анна О'Нейль оделась и, не сказав ни слова, ушла в город. Ее муж молча курил трубку, угощая матроса кофе. Было начало зимы. Тревога будто открыла окна в доме, и портовый смотритель Гернет рассказывал восьмилетнему сыну Анны старое морское поверье о жарком ветре соранге, дующем один раз за многие годы. Соранг возникает среди бушующих нордов и приходит с южных румбов горизонта зимой. И приносит воздух незнакомых стран, печальный и легкий, как запах магнолий. Сами по себе начинают звонить колокола сельских церквей, голубая заря поднимается к зениту, и сквозь снега пробиваются цветы, похожие на подснежники.

Это была любимая тема Паустовского. Она звучит в стихах духовно близкого ему Афанасия Фета:

Одним толчком согнать ладью живую
С наглаженных отливами песков,
Одной волной подняться в жизнь иную,
Учуть ветр с цветущих берегов...

Тему эту Константин Паустовский не исчерпал до конца своих дней. Жаркое дыханье «ветра с цветущих берегов» ощущается не только в его рассказах о романтических странствиях, о героях и гениях. Не только в его детских рассказах и сказках, что совершенно естественно. Но и в его автобиографических книгах. И в относящихся, по сути, к производственному жанру повестях – «Кара-Бугаз» и «Колхида», в этой изящно «зарифмованной» паре текстов о «покорении природы». Первый – о промышленном освоении бесплодного залива на Каспии Кара-Бугаз с его мертвой водой и высушенными пустынными берегами, пропитанными испарениями соляной кислоты. Второй, наоборот, – об осушении заболоченного края в Абхазии.

Дуновение этого благословляющего «ветра» слышно у Паустовского и в любовании родными среднерусскими краями, где он, по его словам, нашел «самое большое, простое и бесхитрое счастье... любимых дум и напряженного труда». Его «Мещерская сторона» и «Повесть о лесах» учили читателей увидеть вдруг, как прекрасен простой лес и обыкновенная русская река Ока, названная когда-то «поясом Богородицы».

«Нежнейшие лирические акварели» – так называли понимающие критики рассказы и новеллы Паустовского. Как удавалось ему создавать их? Иногда вступая в явное противоречие с временем, когда романтика могла быть только революционной, а большая социальная цель безраздельно главенствовала в литературе. «Тайна сия велика есть»...

Среди многих областей психологии психология творчества меньше всего продвинулась за многие годы. «Подсмотреть» и зафиксировать тот самый волшебный толчок, когда вдруг «пальцы просятся к перу, перо к бумаге, минута – и стихи свободно потекут», оказалось невозможным делом. Психологи удивляются: результат самого явления творческого порыва очевиден, а объяснить процесс, который привел к этому результату, невозможно. Каких бы семи пядей во лбу ни был исследователь. А сами творцы, по большей части, или отмалчиваются, или отшучиваются на этот счет. И стали появляться довольно-таки пошлые описания вдохновения в виде вытарашенных и устремленных в небо глаз поэта, испытывающего «муки творчества». Или наоборот – теории о полном отсутствии вдохновения, о поэте как о некоей «божьей дудке».

Для Константина Паустовского вдохновение – это строго рабочее состояние, хотя и с особой поэтической окраской. Ведь его творческое наследие, ставшее классикой лирической прозы, огромно. Но его самого всегда интересовало то, что называется «химией» творческого процесса. Он в этом смысле был «и рыбой, и ихтиологом», как говорил в подобном контексте Виктор Шкловский. Отсюда стойкий интерес писателя к судьбам великих художников. Им написаны повести «Тарас Шевченко», «Орест Кипренский», «Исаак Левитан», пьесы и сценарии о Лермонтове, о Пушкине. В январе 1941 года были опубликованы три рассказа Паустовского о великих музыкантах: «Корзина с еловыми шишками» о Григе, «Старый повар» о Моцарте, «Ручьи, где плещется

форель» о Шуберте. И каждый раз это был не биографический текст, а попытка приоткрыть тайну творчества.

Наконец, именно Паустовский, по-видимому, первым опубликовал книгу о писательском труде, положившую начало целой серии (книги Ю. Олеси, В. Катаева, Р. Гамзатова и других). Это его повесть «Золотая роза», изданная в 1955 году. О вдохновении как «состоянии душевного подъема, живого восприятия действительности, полноты мысли, свежести и сознания своей творческой силы». Об авторской интуиции, о значении деталей и подробностей в повествовании, о том, как правильно расставленные знаки препинания превращают скомканную мешанину в «прозрачную, литую прозу», ну и так далее. Но главное, что почти каждая из глав этой повести, по сути и жанру своему, автономный и самодостаточный рассказ или новелла. То есть художественный текст, который, кстати, часто и публиковался где-то отдельно.

Несколько глав представляют собой не что иное, как предысторию создания того или другого написанного Паустовским произведения. Как, например, очерк «История одной повести» – о тех реальных событиях, которые стали материалом для написания знаменитого «Кара-Бугаза», и о том, как, выраженные живописно и точно, они наполнялись лирическим и героическим звучанием в повести.

Или как рассказ «Зарубки на сердце» о реальном случае, произошедшем с писателем, когда он жил и работал поздней осенью в деревне Солотча под Рязанью в усадьбе академика живописи И.П. Пожалостина, где доживала свой долгий век «дряхлая и ласковая старушка – дочь Пожалостина, Катерина Ивановна». И о том, как она, одинокая и до последнего вздоха мечтавшая еще раз увидеть свою дочь, умирала у него на руках, так получилось. А еще о том, как важно для написания рассказа сохранить в себе ощущения от реально пережитого и выбрать из них главное. Творческим результатом этой реальной истории стала замечательная новелла Паустовского «Телеграмма», пронзительно грустная и добрая. Та самая новелла, которая произвела такое неизгладимое впечатление на Марлен Дитрих. Знаменитая актриса во время выступления на сцене московского ЦДЛ летом 1964 года опустила на колени перед Паустовским в знак преклонения перед его талантом.

В «Золотой розе» всё – о сути и процессе писательского труда, о том, без чего не напишешь хорошего рассказа. И все-таки «главный герой» этой книги – творческое воображение художника, способное разбудить фантазию читателя. А именно это и есть, по Паустовскому, главная задача искусства. «Исчезнет воображение, и человек перестанет быть человеком», так он считал.

«Золотая роза» – это вообще гимн писательскому воображению. Ему посвящена глава «Животворящее начало» и примыкающий к ней рассказ о сказочнике Андерсене «Ночной дилижанс». Читая его, понимаешь, какие чудеса может творить воображение. И даже знатная дама, красавица Елена Гвиччиоли может влюбиться в долгоязого и нескладного бедняка-сказочника. Жаркий ветер соранг...

Участники семинара Паустовского по прозе в Литературном институте вспоминали, какие упражнения по развитию творческой фантазии устраивал он на уроках мастерства. Давал всем задание написать короткий рассказ, который можно было бы озаглавить – «Осень», например. Или каким-нибудь другим поэтически ёмким словом. Рассказывал, как сам принимал участие в придумывании импровизаций на заданное слово. На слово... «скелет», например! И кто-то придумал

(может, это был сам Паустовский), как некто решил обворовать университет, забрался ночью на биологический факультет и долго бродил по аудиториям в поисках добычи. Он был явно симпатичен Паустовскому: «это, наверное, был вор-меланхолик, без практической сметки, и среди воров встречаются малахольные». Наконец, наткнувшись в одном из кабинетов на скелет человека, он с интересом разглядывает его и, прихватив с собой, скрывается. Потом были долгие муки вора, пытавшегося куда-то этот скелет пристроить... В конце концов, он выбросил его на помойку. А спустя некоторое время увидел знакомый силуэт на первомайской демонстрации. Наряженным во фрак и с цилиндром на черепе. На его груди висел плакат: «Вот что мы сделаем с Чемберленом!» Ничего не скажешь, изобретательно выстроенная история, да еще и с узнаваемыми приметами времени. О ней вспоминал писатель Анатолий Медников.

Другой ученик Паустовского Николай Атаров рассказывал, как любил мэтр, прекрасный рассказчик, фантазировать. «Заметьте, как иной раз какая-нибудь заурядная подробность жизни не шевелится – ну, мертвая, точно мышь на полу. Тогда, как кот лапой, Паустовский начинал пошевеливать свое воображение, – говоря попросту и без обиды: привирал. Но мы этому радовались. <...> Он описывал ржавую музыкальную шкатулку, молчавшую десятки лет, – и вдруг на его глазах сама собой заиграла! Соранг!.. “Наверно, пружинка соскочила”, – небрежно объяснял Паустовский. Или скворец заковыристо поет в глухой мещерской деревне, – оказывается, он подслушал свои песни зимой у африканских ребят...»

Казалось бы, очевидная мысль – без воображения, как и без искусства вообще, жизнь станет тусклой и безрадостной. Кто ж спорит? А вот спорили. И не раз. Об этом писали, начиная с Диккенса, который высмеивал в романе «Тяжелые времена» педантичную английскую школу викторианской поры, передавая наставление воспитателя: «Как раз воображать-то и не надо. В этом вся суть! Никогда не пытайся воображать <...>. Вы должны всегда и во всем руководствоваться фактами <...>. Мы надеемся в недалеком будущем учредить Министерство фактов <...> Забудьте слово “воображение”. Оно вам ни к чему». Так формировались лишенные фантазии люди. Позже у Рэя Брэдбери в повести «Эшер II» из «Марсианских хроник» будет фигурировать Управление нравственным климатом и Общество борьбы с фантазиями. «Всякий человек <...> обязан смотреть в лицо действительности. <...> Прекрасные литературные вымыслы, полет фантазии – бей влёт». В конце концов, дело у Брэдбери закончилось тем, что к библиотечной стенке поставили и Санта-Клауса, и Всадника без головы, и Белоснежку, и всех, кто «с тех пор зажил счастливо» (нет, в самом деле, о ком вообще можно сказать, что он с тех пор зажил счастливо?! – и... расстреляли. «Спящая Красавица была разбужена поцелуем научного работника и испустила дух, когда он вонзил в нее медицинский шприц»).

И в нашей стране были времена, когда фантазия была крамолой, волшебная сказка чуть ли не под запретом. Считалось, что детям рабочих и крестьян надо читать о машинах и классовой борьбе, а не о Василисе Прекрасной и Иване-царевиче. К.И. Чуковский писал в своей книжке «Маленькие дети» о том, что происходило, когда фантазию вытесняли из ребячьей души. Дети начинали сомневаться даже в вещах реальных, но необычных. Когда с ними как-то завели разговор об акулах, то один мальчик уверенно заявил: «Акулов не бывает!»

Позже уже и для взрослых воображение становилось противопоказанным. Об этом – в пьесе Григория Горина «Тот самый Мюнхгаузен», где знаменитому барону-фантазеру пытались заткнуть рот и заставить его стать как все. А конференсье в Варьете у Булгакова «подправляет» происходящее на сцене: «Но мы-то с вами знаем, граждане, что никаких чудес и магии не существует!» «Помню, как один из критиков, очевидно числившийся по департаменту Управления Нравственным климатом, занимался разбором песенки Булата Окуджавы “Девочка плачет – шарик улетел”, – писал психолог А.В. Петровский. – Куда и зачем улетел шарик, советский читатель не понимает. А шарик вернулся, а он голубой – что за чушь!»

По сути, именно за «избыток» романтического воображения и «безучастность» к вопросам реальной политики и общественному движению в стране доставалось от литературных критиков и Паустовскому. Тоненькие книжечки Василия Ильина, Сергея Львова и других забытых ныне критиков и сейчас еще можно встретить в библиотеках. Они ругали Паустовского за ранние повести «Романтики» и «Блистающие облака». Повесть «Блистающие облака» в феврале 1929 года была внесена альманахом «Ленинград» в «черный список» как «дезорганизирующая классовое сознание пролетарского читателя». Ругали за «неправдоподобие», за то, что энергия героев тратится на пустую созерцательность, что все их мысли и разговоры – только о своем, личном, мелком. За то, что «поэзия необыкновенного» жила и в его более поздних вещах, кстати, имевших успех у читателя. Таких, как «Черное море», например. Где научные сведения о море и Причерноморье плотно переплетались с восхитительной романтикой.

«Мещерские рассказы», полные любви к родной природе, хвалили. Но рассказ «Снег», написанный в годы войны и до краев наполненный лирической тоской по родному краю, по домашнему уюту и любви, тоже ругали. Герои его якобы «живут вне суровой действительности своего времени». И «абстрагированы и от реальных грозных опасностей фронта, и от тяжелых невзгод тыла». А «характеры их подчинены условно-романтическому сюжету и условно-романтическим же литературным подробностям». Ну и так далее.

Паустовский любил долго не признаваемого критиками Александра Грина, ближайшего своего «литературного родственника». Грин создал воображаемую страну веселых, смелых, прямо глядящих и ничего не боящихся людей. Страну эту многие называли Гринландия. Ее никто не видел, но она была настолько убедительна и правдоподобна, что создателю Музея фантазии Грина в Феодосии Геннадии Ивановичу Золотухину удалось «воссоздать» географическую карту этой страны. И каждый морской залив и полуостров, каждый рыбацкий поселок, приморские города Гель-Гью, Лисс, Зурбаган, где происходило действие книг Грина, находились строго на своем месте, запечатленном в «лощах» писателя.

Паустовский встречался с Грином всего один раз – в 1924 году. Он работал тогда в московской газете «На вахте». Грин вошел неожиданно. «Я увидел его тогда в первый и последний раз, – вспоминал Паустовский. – Я смотрел на него так, будто у нас в редакции, в пыльной и беспорядочной Москве, появился капитан “Летучего голландца” или сам Стивенсон. Все почему-то молчали. Молчал и Грин. Молчал и я, хотя мне страшно хотелось сказать ему, как он украсил мою юность крылатым полетом своего воображения, какие волшебные страны цвели,

никогда не отцветая, в его рассказах, какие океаны блистали и шумели на тысячи и тысячи миль, баюкая бесстрашные и молодые сердца».

По существу, именно Константин Паустовский начал разрушать стену забвения вокруг имени и творчества Грина в начале 1930-х годов. Он побывал в глинобитном домике в Старом Крыму, где прошли последние дни жизни великого романтика. Под впечатлением от этой поездки написаны две главы повести Паустовского «Черное море». Он организовывал публикацию произведений Грина в издательствах Детгиз, «Красная новь», «Знамя», «Советский писатель», готовил сборники, писал вступительные статьи. Участвовал в создании, а потом и в спасении дома-музея Александра Грина в Старом Крыму. Познакомившись с вдовой писателя Ниной Николаевной Грин, он узнал о тяжелой жизни «отщепенца» и неприкаянного бродяги-романтика. И был потрясен этой судьбой: «Непонятно, как этот замкнутый и избитый невзгодами человек пронес через мучительное существование великий дар мощного и чистого воображения, веру в человека и застенчивую улыбку».

Нет, сам Паустовский не стал сказочником, как Грин или Андерсен. Он стал рассказчиком. Но рассказчиком, который своим повествованием облегчал читателю трудность по-новому увидеть мир, делал реальные события и ситуации, о которых рассказывал, – яркими и незабываемыми.

Например, как в рассказе «Корчма на Брагинке», вошедшем в первую часть автобиографической книги «Повесть о жизни». Паустовский рассказывает в нем о своих гимназических каникулах 1911 года, проведенных в поместье дальних родственников Севрюков в приднепровском Полесье. Но уже с первых строк рассказа: «Старый пароход, шлёпая колесами, полз вверх по Днепру. Была поздняя ночь. Я не мог уснуть в душевной каюте и вышел на палубу» – читатель погружается в странный, опасный, но прекрасный и притягивающий к себе мир. Старик в заплатанной свитке заставляет капитана «скинуть его» на туманном берегу, не дойдя до ближайшей пристани. Он угрожает капитану именем Андрея Гона, главаря разбойничьей шайки, промышленной в тамошних местах.

«...Пароход подвалил к низкому полесскому берегу Днепра... Багровое солнце опускалось в беловатый пар над рекой. Из зарослей тянуло холодом. Горел костер. Около костра стояли поджарые верховые лошади». Потом юный герой-рассказчик попадает в центр загадочных событий вместе с Севрюком. Узнаёт о таинственной касте «могилевских дедов», нищих слепцов-певчих. Они останавливаются на ночлег в старой корчме, где встречаются заговорщики, которые вскоре «подожгут» помещика Любомирского, затравившего собаками мальчика-поводыря. И зарево пожара будет тускло отражаться в реке. «Мне нравилось постоянное ожидание опасностей, разговоры вполголоса и слухи, что приносил Трофим о внезапном появлении Андрея Гона то тут, то там. Мне нравилась холодная Брагинка, разбойничьи заросли, загадочные следы подков, которых не было вчера. Мне, признаться, даже хотелось, чтобы Андрей Гон налетел на усадьбу Севрюка, но без поджога и убийства. Но вместо Андрея Гона как-то в сумерки в усадьбе появились драгуны...»

В сентябре 1947 года Паустовский получил восторженную открытку от писателя Ивана Бунина: «Дорогой брат, я прочел Ваш рассказ “Корчма на Брагинке” и хочу Вам сказать о той редкой радости, которую испытал я <...>, он принадлежит к наилучшим рассказам русской

литературы». А советские критики о вышедшей в 1946 году автобиографической книге Паустовского с этим рассказом писали: «В книге слишком много либерального благодушия и мало революционного гнева».

Что касается упреков в равнодушии к общественной жизни своей страны, предъявляемых когда-то Паустовскому забытыми критиками, это несправедливо уже потому хотя бы, что он, как никто, много сделал для сохранения лучших страниц нашей литературы, отодвинутых в пылу социальных завоеваний. И речь тут не только о спасении творчества Грина. В 1950-е годы, живя в Москве и в Тарусе, Константин Паустовский активно выступал за литературную и политическую реабилитацию И. Бабеля, Ю. Олеши, М. Булгакова, Н. Заболоцкого.

Он становится одним из составителей коллективных сборников нового демократического направления времен «оттепели» – первого бесцензурного альманаха «Литературная Москва» (1956–1957) со стихами Заболоцкого, Ахматовой, статьей И. Эренбурга о Марине Цветаевой. А в 1961 году под редакцией Паустовского в Калужском книжном издательстве вышел коллективный сборник «Тарусские страницы». С первой после десятилетий забвения публикацией стихов Марины Цветаевой, с первой прозой Б. Окуджавы и публицистикой Надежды Мандельштам (пока еще под псевдонимом Н. Яковлевой). И то и другое издание вызвали «единодушное осуждение», сформулированное в резолюции партсобрания Союза писателей. Авторы и составители сборников были вызваны на ковёр в ЦК КПСС.

Свою принципиальную и заинтересованную гражданскую позицию Паустовский выражал всегда, и в молодости, и получив высокое признание своими произведениями в Советском Союзе и за рубежом. Он бывал на всесоюзных стройках и писал об этом. Выступал со своими публицистическими статьями в печати, добиваясь принятия Закона об охране и защите природы. Обращал внимание на необходимость поддержки малых городов, таких, как его любимая Таруса, ставшая писателю родным домом. Он отправляет в правительство вместе с Корнеем Чуковским письмо, пронизанное тревогой за судьбу северной русской архитектуры. Подписывает письмо в Генеральную прокуратуру в защиту поэта Иосифа Бродского от судебного произвола. Он участвует в совместном обращении в ЦК КПСС вместе с А. Сахаровым, И. Таммом, В. Некрасовым, В. Тендряковым, К. Чуковским о недопустимости реабилитации Сталина.

Жизнь писателя и журналиста Константина Паустовского была жизнью странника. Родился в Москве. И умер в Москве. Но за свою плодотворную писательскую жизнь изъездил буквально всю страну, меняя адреса и поприща. Учился в Киевском и Московском университетах, был репетитором, работал санитаром в годы Первой мировой войны, кондуктором и вожатым трамвая в Москве, рабочим на заводах в Екатеринославле и Таганроге, рыбачил в рыбацкой артели на Азовском море, был редактором в окнах РОСТА, разъездным корреспондентом многих газет. В годы Великой Отечественной – военным корреспондентом ТАСС.

Киев, Одесса, Кольский полуостров, Брянск, Севастополь, Батуми, Сухуми, Тифлис, Мурманск, Северный Урал, Саратов, Соликамск. После войны он много путешествовал за рубежом. И это тоже находило выражение в его рассказах и очерках. «Мимолетный Париж», «Огни Ла-Манша», «Муза дальних странствий», «Вилла Боргезе»... Он сам

называл их «лирической географией». И считал, что «только побывав на чужбине, можно до конца понять слово “свое” <...>, что всегда дает умиротворение и переполняет сердце нежностью».

Может быть, путешествия вообще необходимое условие писательства. Тем более для писателя, чьей вдохновляющей силой всегда был тот самый ветер странствий, жаркий ветер соранг. «Скитания – это путь, приближающий нас к небу, – читаем в статье Паустовского о Максиме Горьком. – Это знали еще древние народы Востока. Скитальчество – не болезнь, не страсть – это высшее и кристальнейшее выражение большой человеческой тоски по далекому, по жизни, овеянной свежими ветрами, многогранной, ликующей, в которой поет каждый миг, каждая почти незаметная минута».

...Бесчисленные творческие командировки – Калмыкия, Карелия, Каспий, Ялта, Пушкинское Михайловское, глухие мещерские деревни. Сотни знакомств, дружб и человеческих судеб. И всюду он буквально подхватывал на лету удивительные или наоборот обыкновенные житейские истории. То история о старом геологе, слегка «тронутом мозгами», как говорили мальчишки городка Ливны на Орловщине. Он был одержим идеей зачаточной психической энергии геологических напластований, которая способна погубить цивилизацию. И фашисты якобы нашли способ воспользоваться этой злой энергией. Этот человек был когда-то одним из исследователей залива Кара-Бугаз. То объяснение старого паромщика (паромщики на русских реках – великие рассказчики!), почему ласточка на протяжении нескольких километров буквально преследовала писателя, идущего полем. Оказывается, от лени. Вокруг идущего человека много мошек и комаров. «Так ей нужно искать в траве кузнечиков, жучков, а ты идешь и все это сгоняешь, все от тебя разлетаются из травы, она вокруг летает и ловит». Все очень просто.

Можно ли научиться этой особой писательской наблюдательности? Когда наблюдения, вроде бы, показались и улетели. А на самом деле, складываются в некую тайную копилку. И настает момент, когда они вдруг всплывают неожиданно для самого автора и дают рассказу яркую и выразительную деталь, которая, по выражению Шкловского, «делает жизнь ощутимой». Благодаря и этому тоже – хорошая литература «прибавляет к зрению человека хотя бы немного зоркости». Паустовский считал, что тот не писатель, кто делать этого не умеет.

В марте 1946 года на конференции русских прозаиков в Союзе писателей Константин Георгиевич Паустовский выступал, нет, не с докладом, конечно, он просто беседовал с собратями по перу на тему «Рассказ как жанр художественной литературы (о новелле)». Вскоре стенограмма его выступления (с небольшими сокращениями) была опубликована в очередном номере журнала «Новый мир» и потом не раз перепечатывалась. По существу, это был разговор о литературе вообще, а уж конечно, не о жанрах. «Докладчик» несколько раз повторил, что он не теоретик и не литературовед. «Должен сказать, что для меня лично не всегда ясны границы жанра». И дальше говорил о том, как рождается замысел, как важна для писателя память. Говорил об Александре Грине. И еще о многом, что войдет потом в первую и вторую часть книги «Золотая роза».

В том числе и о значении художественного вымысла в литературе. Эта тема всю жизнь сопровождала писателя, который говорил: «Рядом с действительностью всегда сверкал для меня, подобно дополнительному, хотя бы неяркому свету, легкий романтический вымысел. Он ос-

вешал, как маленький луч на картине, такие частности, какие без него, может быть, не были бы и замечены <...>. Это легкое вмешательство вымысла помогло мне в работе над “Кара-Бугазом”, “Колхидой”, “Черным морем” и другими повестями и рассказами». Это нередко вызывало споры вокруг него.

Какова доля вымысла в литературном произведении? Тем более, в эпоху социалистического реализма. В феврале 1944 года на девятом пленуме правления Союза писателей Ольга Берггольц критиковала рассказ Паустовского «Ленинградская ночь» за неточность деталей. Ворона не могла вырвать у девочки кусок хлеба, потому что в дни блокады в Ленинграде не оставалось ни одной птицы. А архитектор не мог поднять к себе на этаж обломки чугунной решетки, потому что у него не хватило бы сил даже самому подняться на пятый этаж. Да, конечно, на самом деле все было страшнее, чем могут представить не пережившие блокады. И все-таки подходить к светлому романтическому и жизнеутверждающему рассказу Паустовского с такими слишком жестокими мерками, наверное, нельзя...

А бывали и вовсе «анекдотические» случаи. Один из них – как раз с нежнейшим романтическим рассказом «Соранг», о котором мы говорили. «Со стороны некоторых редакторов я встречал полное непонимание, что такое документальный факт и что такое художественный факт <...>, – рассказывал Паустовский в своей беседе, опубликованной в “Новом мире”. – У меня был один рассказ, написанный на материале экспедиции капитана Скотта в Антарктиду. В этой экспедиции участвовали два русских матроса. В рассказе фигурирует один из матросов, Василий Седых. Рассказ трагический, я его сдал в журнал “30 дней”. Был такой журнал. Редактор “30 дней” мне сказал: надо подвести под этот рассказ какую-нибудь реальную базу. Какую же реальную базу? Он весь построен на реальной базе – дневники капитана Скотта. Он согласился, и я уехал, а он решил от себя подвести эту базу и приписал к рассказу конец: “После войны Василий Седых вернулся в Россию и работал в Таганрогском порту”. Я приехал, увидел эту концовку... и мог только скандалить, так как рассказ уже был напечатан.

Года через два приходит человек, просит принять, говорит, что он из Таганрога, что его прислал редактор таганрогской газеты, чтобы узнать адрес <...> этого Василия Седых. В порту нет такого. Тогда он написал начальнику милиции бумажку, что он просит разыскать русского матроса Василия Седых, участвовавшего в экспедиции. Начальник написал: “В угрозыск, найти и доставить по этапу”.

Кончилось тем, что поймали двух Василиев Седых. Один – лесовщик, а другой – где-то на Темернике. Их начали допрашивать – были они в этой экспедиции? Они отрицаются. Тогда начальник милиции пишет редактору: “Задержанные два Василия Седых упорно отрицают тот факт, что они участвовали в белогвардейской экспедиции капитана Скотта на Кубань”.

Вот такое восприятие литературного факта».

С непониманием Паустовский встречался не раз. Его писательский путь не был усыпан розами. Несправедливая критика со стороны литературного «начальства». Проблемы со здоровьем, которые с годами все больше досаждали писателю. Выдвинутый в 1965 году Нобелевским комитетом на премию по литературе после выхода в Советском Союзе и в Америке «Повести о жизни» Паустовский не получил поддержки со стороны советского руководства. Он с самого начала не верил в присуждение

ему этой премии и успокаивал своих друзей. «Поймите, что это фактически невозможно. Старики (так он обобщил избирателей в Стокгольме) не могут себе позволить выбрать меня. В прошлом <...> они дали премию Пастернаку, что вызвало скандалы. Второй раз подряд они – по отношению к Союзу – не посмеют дать премию советскому писателю, снова неправовому», – вспоминала его слова французская переводчица Лидия Дельт. А весной 1938 года была и вовсе реальная опасность гонений, которая грозила Паустовскому – автору только что вышедшей книги «Маршал Блюхер» – в связи с арестом и расстрелом опального маршала. По свидетельству сына Вадима Константиновича Паустовского, отец вынужден был уехать из Москвы и несколько месяцев скрываться в далекой деревне.

Но его давно полюбили читатели и высоко ценили коллеги по писательскому цеху. И он оставался верен себе. Нарушая и смешивая правила трех родов литературы – эпос, лирика, драма – писал эпическую лирику и лирическую драму. Попирая жанровые законы, он называл сборник повестей романом, сборник рассказов – повестью, а главу из повести – новеллой. Перемешивая то, что теперь разграничивается в литературе и книжном бизнесе как фикшн и нон-фикшн. Потому что его творческое воображение этих границ не признавало.

В одном из газетных интервью по поводу опубликованной в «Известиях» новеллы «Ильинский омут» (1965) и других произведений своей свободной прозы он сказал: «Как определить жанр этих вещей? Не знаю. Это не рассказы в точном смысле этого слова, не очерки и не статьи. Это записи размышлений, простой разговор с друзьями. Это – признание в любви к нашей природе и всей России. В этом мой труд, мое писательское право и мое счастье». А в предисловии к двухтомнику автобиографической «Повести о жизни» 1962 года Константин Георгиевич сделал и вовсе удивительное признание: «Кроме подлинной своей биографии, где все послушно действительности, я хочу написать и вторую свою автобиографию, которую можно назвать вымышленной. В этой вымышленной автобиографии я бы изобразил свою жизнь среди тех удивительных событий и людей, о которых я постоянно и безуспешно мечтал».

...Нет, ну разве можно этому ощущению жизни и месту в ней литературы научить или научиться?! И все-таки многие выдающиеся писатели двадцатого века с гордостью называли себя учениками Константина Паустовского: Юрий Трифонов, Владимир Тендряков, Григорий Бакланов, Юрий Бондарев, Сергей Никитин и другие. Как хорошо сказал на праздновании 70-летия Паустовского Леонид Мартынов, его полные жизни произведения, его лирически мягкое и, быть может, именно этим и мощное творчество помогает людям видеть и вперед, и ввысь и помогает им чувствовать –

И какова природа звезд,
И какова земли утроба
И очертанья всех существ
От исполина до микроба...

Михаил САДОВСКИЙ

Родился в городе Богородске Нижегородской области. Окончил историко-филологический факультет Нижегородского госуниверситета. Преподаватель высшей категории.

Инициатор и организатор поэтических турниров и фестивалей студенчества. Ведущий и организатор фестивалей и творческих акций «Библионочь», «Ночь искусств». Ведущий городской акции «Читающий Нижний».

Печатался в «Литературной газете», «Литературной России», «День литературы», альманахах «Академия поэзии», «Вселенная Учитель», журналах «Невский альманах», «Нижний Новгород».

Живет в Нижнем Новгороде.

«МЫ ЖИВЁМ, ТОЧНО В СНЕ НЕРАЗГАДАННОМ...»

Исполнилось 135 лет со дня рождения русского поэта
Игоря Северянина (1887–1941)

На вступительных испытаниях в Нижегородское театральное училище белокурая абитуриентка, словно вкушая знаменитые северянинские ананасы в шампанском, манерно закатывает глаза и возбужденно громко декламирует:

Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!
Удивительно вкусно, искристо и остро!
Весь я в чем-то норвежском! Весь я в чем-то испанском!
Вдохновляюсь порывно! И берусь за перо!

Стрекот аэропланов! Беги автомобилей!
Ветропросвист экспрессов! Крылолёт буеров!
Кто-то здесь зацелован! Там кого-то побили!
Ананасы в шампанском – это пульс вечеров!

В группе девушек нервных, в остром обществе дамском
Я трагедию жизни претворю в грезофарс...
Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!
Из Москвы – в Нагасаки! Из Нью-Йорка – на Марс!

Высокий ареопаг экзаменационной комиссии, явно не удовлетворенный эмоциональным выступлением, желая показать истоки недостатков прочтения и тут же подчеркнуть их, обрушивает вопрос: «А вы пробовали ананасы в шампанском?»

И без промедления услышал с непомерной гордостью (что называется, паче чаяния) прозвучавшее восклицание, равное 17 восклицательным знакам стихотворения: «Да!»

Тишина нависла в студенческой аудитории. Немая сцена.

Остановим кадр и оставим в тишине пребывать наших героев.

Заметим только: откуда было знать строгому экзаменатору, что гениальный Северянин воспитал тысячи почитателей и поклонниц, что они фанатично готовы постигать экзотические свойства творчества поэта даже на гастрономическом уровне.

Неизвестно, какова дальнейшая театральная судьба юной экзальтированной особы, но и она может быть причислена сонму преданных поклонниц нашего поэта, не поддающихся точному исчислению.

А стихотворение «Увертюра» («Ананасы в шампанском») – своеобразная визитная карточка поэта Северянина.

Игорь Васильевич Лотарев родился 16 (4 мая) в Санкт-Петербурге.

Родители назвали Игорем в честь князя Игоря Ольговича Черниговского, иконка которого всегда находилась в комнате, где он жил.

Мать Наталья Степановна Шеншина происходила из старинного дворянского рода. Находилась в родстве с Афанасием Фетом и Николаем Карамзиным. Давид Бурлюк находил внешнее сходство Северянина и Карамзина

Отец Василий Петрович Лотарев окончил Главное (Николаевское) военно-инженерное училище, где учился Ф.М. Достоевский. Училище располагалось в Михайловском замке, знаменитом еще и тем, что в нем был убит Павел I. Василий Петрович Лотарев дослужился до штабс-капитана. Об отце в поэме «Роса оранжевого часа» есть и такие строки:

Великолепнейший лингвист,
И образован, и воспитан,
Он был умен, он был начитан.

Сам Игорь не блеснул образованием. Окончил 4 класса Череповецкого реального училища. Впрочем, получил достойное домашнее образование, присущее дворянским семьям. Плюс неумная страсть к самообразованию. Раннее пробуждение любви к литературе во многом определило его дальнейшую жизнь. Первое стихотворение «Звезда и дева» написано в восемь лет. В них уже был предопределен необыкновенный поэтический дар.

Вот и звезда золотая
Вышла на небо сиять.
Звездочка, верно, не знает,
Что ей недолго блистать.
Так же и девица красна:
Выйдет на волю гулять,-
Вдруг молодец подъезжает, –
И воли ее не видать.

По сути, весь будущий Северянин органично запрограммирован в этом раннем стихотворении. Будущий поэт вырастает из детского восьмистишия, словно из гениального зернышка. Раннее безудержное увлечение поэзией заставило отринуть все другие сферы знаний, все другие

языки, кроме русского. Позже, живя в Эстонии более двух десятков лет, он не удосужится выучить эстонский язык. Настолько был увлечен стихией родного русского, что не хотелось отвлекаться и расходовать силы на постороннее.

25 сентября 1904 года вышла в свет первая книга-брошюра Игоря Лотарева с одним-единственным стихотворением «К предстоящему выходу Порт-Артурской эскадры». Стихи рассылал во многие журналы, но письма оставляли без ответа, а стихов не печатали. Первой ласточкой оказалась стихотворение «Гибель Рюрика» в февральском номере солдатского журнала «Досуг и дело» за 1905 год.

Все первые книги выходили под родительским, собственным, именем – Игорь Лотарев. После того как выпустил десять книг-брошюр, провел десятки поэтических вечеров с особенной остротой осознал: чтобы прочно закрепиться в сердце и памяти читателя, поэт должен обладать звучным, почти кричащим, необычным именем. Новое имя придумал себе сам: Северянин. Имя, обозначающее корневое, коренное значение местности рождения и нахождения на ней. В псевдониме видится и Петербург, и Гатчина, и Череповец, и река Суда и... и... и... Словом, северное место рождения и пребывания, северное состояние духа и что-то еще такое, что одному Богу известно! Так, в «Поэзе о Карамзине» он назовет себя «северным бардом». И так, серебряно и звучно исполняется торжественная магическая музыка имени:

С е в е р я н и н! Это не какой-нибудь Лотарев. И когда между собственным именем Игорь и новоявленной фамилией Северянин появляется неожиданно-новаторский дефис (такого никогда не было!), то уже читается, произносится и пишется совершенно не обывательски, а, ломая стереотипы, всем сложившимся и устоявшимся традициям решительно и неукоснительно вопреки. Игорь-Северянин. Читается как поэтическая строчка. Читается как настоящее произведение искусства. Читается как подлинное поэтическое явление. Явление высокой поэзии. При всем этом он отчетливо понимал: сначала ты работаешь на имя, а потом имя работает на тебя. Так и случилось в его судьбе. Псевдоним зазвучал, прижился, закрепился и стал неотъемлемым достоянием поэзии Северянина.

Иногда кажется, что он продумывал всё – вплоть до мелочей. Хотя кто сказал, что имя – это мелочь, Как корабль назовешь, так он и поплывет. Поэтический лайнер под названием «Игорь Северянин», мы убеждаемся, уверенно плывет, высоко задрал голову, бороздит океанские волны поэзии и читательского сознания. И ничто не помешает, кажется, его блистательному пути. Новое поэтическое имя органично вписывалось в огненный стратегический план завоевания так необходимого всякому поэту пристального внимания читателя и захвата его в поэтический плен. И в то же время при всей, казалось бы, продуманности подхода к творчеству к нему как ни к кому другому подходит пушкинское определение: «Поэзия должна быть глуповата». Во всяком случае, такое в северянинском творчестве ясно увидел и отметил Андрей Тарковский. По-другому выразил эту примечательную особенность Александр Блок: «Поэт с открытой душой». Открытость до ясности, чистоты наивности. Запредельная обнаженность души, которую, словно в доверчивых ладонях, трепетно преподносит, и нежное очарование наивной прелести прежде всего проникает в сердце читателя, легко пленяя его. Сам поэт признавался в своей «глуповатой самовлюбленности», очевидно отразившейся в поэзии.

Важной составляющей цепкого поэтического игорьсеверянинского обаяния – неизменное легкое воздушное дыхание, завораживающее, привораживающее...

Почти обязательная цезура посреди строки таинственно создает эту озонную легко-воздушную крылатость, высокую полетность, неизъяснимую «шаманскую силу» (Вадим Шефнер).

В воинственный поэтический арсенал завоевания читателя бросалось всё, использовались все средства. Это метафорически выражено Владимиром Маяковский:

Как вы смеее называться поэтом
и, серенький, чирикать, как перепел!
Сегодня надо кастетом
кроиться миру в черепе!

Первые две строки завуалированно адресовались Северянину. Дружба-соперничество двух поэтов не знала границ. Оба искали известности, признания.

Северянин целенаправленно стремился к славе, жаждал ее нетерпеливо. Она, словно жар-птица, все никак не давалась ему в руки. Но она прилетела, нашла поэта в совершенно неожиданном месте. Это случилось 12 января 1910 года.

Писатель-толстовец Иван Наживин привез (не по просьбе ли самого Северянина?) только что вышедшую 16-страничную брошюру «Интуитивные краски» в Ясную Поляну. В семье Л.Н. Толстого была заведена добрая традиция совместного чтения. Дело дошло до стихотворения «Хабанера II»:

Вонзите штопор в упругость пробки, –
И взоры женщин не будут робки!..
Да, взоры женщин не будут робки,
И к знойной страсти завьются тропки!..

Плесните в чаши янтарь муската
И созерцайте цвета заката...
Раскрасьте мысли в цвета заката
И ждите, ждите любви раската!..

Ловите женщин, теряйте мысли...
Счет поцелуям – пойдя, исчисли!..
А к поцелуям финал причисли, –
И будет счастье в удобном смысле!..

Толстой посмеялся, а потом, помрачнев, вспыхнул: «Чем занимаются! – вздохнул он. – Это литература! Вокруг виселицы, полчища безработных, убийства, невероятное пьянство, а у них “упругость пробки”».

Но что там Северянин! Лев Николаевич самого Шекспира ругал! Толстого, очевидно, ошеломила изложенная в стихах откровенно пошлая инструкция по соблазнению женщин. В начале XX века она чем-то напоминала и превосходила в пошлости конспект книги «Наука любви» Овидия.

Когда Наживин рассказал о бурной реакции мирового классика, падкие на клубничку журналисты стремительно, словно семена по ветру, разнесли отрицательно-резкий отзыв на стихи никому не известного

молодого поэта. Возникла непредсказуемая, казалось бы, ситуация: наутро Северянин... проснулся... знаменитым! Северное имя поэта прогремело на всю Россию!

Вместо того чтобы клеймить поэта за безнравственность и пошлость, газетные страницы с необыкновенной щедростью распахнулись перед ним для публикаций. Два стихотворения (среди них «Хабанера II») напечатали в газете «Утро России» миллионным тиражом (а это не 300 экземпляров стихотворной брошюры «Интуитивные краски»!). Нарасхват стали приглашать на выступления перед публикой. Ошарашенная публика сотворяла себе кумира. Кумир купался в лучах славы! Так он первым на себе испытал чудодейственное воздействие черного пиара, о котором тогда никто и ведать не мог. Само словосочетание «черный пиар», вы понимаете, появится только в конце 1980-х – начале 1990-х годов. Таким образом, Северянин, благодаря черному пиару, первый узнал, что значит войти в моду.

Осмысливая события, поэт восторженно провозглашал:

Моя вторая Хабанера
Взорвалась, точно динамит.
Мне отдалась сама Венера,
И я всемирно знаменит.

«Мне отдалась сама Венера» – куда ж без фирменной северянинской пошлости? Не зря же Брюсов настойчиво отказывал ему в безупречности вкуса. Вскоре возникнет такое понятие, получившее название «северянинщина», характеризующее неумеренную пошлость. Так, чрезвычайно показательным, что Сергей Есенин в письме в Россию использует набирающий популярность в периодической печати новообразованный термин для характеристики пошлости европейской жизни: «Здесь такая тоска, такая бездарнейшая “северянинщина” жизни, что хочется послать все к этой матери».

«И я всемирно знаменит» – расчет всемирной славы явно преувеличил. Никогда всемирная слава не угрожала Северянину.

Впрочем, справедливости ради, нужно сказать, что есть в русском языке такие неизъяснимые нюансы, которые невозможно перевести на другие языки. И дело здесь не в неуклюжести русского языка, а в его сверхбогатстве. Бедность и немощь иностранного не способна перевести и конгениально передать всю прелесть русского языка.

«Двусмысленная слава недвусмысленного таланта» триумфально шествовала по России. Осенью 1911 года Северянин, следуя рекомендации Маяковского, смастерил свой «кастет». «Кастетом» стал придуманный им эгофутуризм. Он первый в России стал футуристом (раньше всех!) и объявил о создании эгофутуризма. «В отличие от школы Маринетти я прибавил у этому слову (футуризм) приставку “эго” и в скобках: “вселенский”». Собственно программы никакой не было. Ее роль выполняли последовательно выдвинутые семь лозунгов: 1. Душа – единственная истина. 2. Самоутверждение личности. 3. Поиски нового без отвергания старого. 4. Осмысленные неологизмы. 5. Смелые образы, эпитеты, ассонансы и диссонансы. 6. Борьба со «стереотипами» и «заставками». 7. Разнообразие метров.

По большому счету ничего нового Северянин не предложил. Соблюдение каждого лозунга-принципа необходимо каждому сознательно пишущему. Для самого Северянина главными станут два принципа,

только ему присущие всю долгую творческую жизнь (разумеется, при соблюдении всех остальных): самовосхваление личности через открытое проявление эгоизма («Я прогремел на всю Россию») и неологизмы («что ни слово – то сюрприз»), встречающиеся практически в каждом стихотворении.

Колыбелью эгофутуризма по праву может считаться город при слиянии Оки и Волги – Нижний Новгород. Именно здесь 25 ноября 1911 года напечатан положительный отклик на творчество Северянина, который, прямо скажем, на тот момент не был избалован позитивной реакцией литературной критики. За ним все еще тянулся шлейф дурной славы. Поэтому создатель эгофутуризма воспринял отзыв сверхободряюще. Одноименная городу газета «Нижний Новгород» (выходила в 1911–1914 годах), по существу, регулярно публикуя произведения эгофутуристов, явилась официальным печатным органом литературной группировки. Под парусами нижегородского издания влияли в русскую литературу И. Северянин, К. Олимпов, В. Гнедов, Г. Иванов, В. Шершеневич, П. Широков, Грааль-Арельский (Стефан Петров).

Сама газета просуществовала ровно же столько же, сколько просуществовал сам эгофутуризм.

Время нахождения Северянина в группе эгофутуристов легко исчисляется: между стихотворениями «Пролог “Эгофутуризм”» (1911, июль) и «Эпилог “Эгофутуризм”» (24-го октября, 1912 г. Полдень). Северянинский непомерный эгоизм сыграл с ним злую шутку. Он не мог сотрудничать в коллективе и без сожаления покинул его. Северянина уже прельщал самостоятельный путь в литературе.

В конвейерном азарте выпуска стиховых брошюр (их вышло 35!) остановиться долго не мог (деньги на издание давал дядя – Лотарев Михаил), пока в 1913 году не представилась счастливая возможность выпустить первую полновесную книгу в издательстве «Гриф». «Громокипящий кубок» – гениальная тютчевская строка (стихотворение «Весенняя гроза») в названии прозвучала в новом веке как некое откровение. Книга имела бешеный успех. По словам литературного критика Владимира Бондаренко, «Громокипящая критика привела к громокипящей славе его сборник “Громокипящий кубок”». Книга выдержала десять изданий, общий тираж составил 31 348 экземпляров. По тем временам успех небывалый. Да, наверное, и сегодня эти тиражные цифры кажутся полуфантастическими, а в то время выход книги тиражом в тысячу экземпляров считался практически максимальным. Чаще всего авторы довольствовались тиражами в 300–500 экземпляров.

Успеху «Кубка» способствовал и такой немаловажный факт: доброжелательное предисловие к книге написал уже известный и маститый литератор Федор Сологуб («Когда возникает поэт, душа бывает взволнована»).

Шесть изданий выдержала следующая книга 1914 года «Златолира» (9800 экземпляров). И снова успех. В 1915 году выходит и выдерживает 4 издания книга «Ананасы в шампанском» – 12 960 экземпляров. Поэт не останавливается и снова выпускает книги одну за одной. «Viktoria Regia», «Поэзоантракт», «За струнной изгородью лиры».

Если посчитать общее количество выпущенных Северяниным в этот период книг, то тираж как числовой показатель успеха покажется головокружительным – 86 138.

В конвейерном азарте выпуска стиховых брошюр (их вышло 35!) остановиться долго не мог (деньги на издание давал дядя – Лотарев Михаил), пока не представилась счастливая возможность выпустить первую полновесную книгу в 1913 году в издательстве . «Гриф». «Громокипящий кубок» – гениальная тютчевская строка (стихотворение «Весенняя гроза») в названии прозвучала в новом веке как некое откровение. Книга имела бешеный успех. По словам литературного критика Владимира Бондаренко, «Громокипящая критика привела к громокипящей славе его сборник «Громокипящий кубок». Книга выдержала десять изданий, общий тираж составил 31 348 экземпляров. По тем временам успех небывалый. Да, наверное, и сегодня эти тиражные цифры кажутся полуфантастическими, а в то время выход книги тиражом в тысячу экземпляров считался практически максимальным. Чаще всего авторы довольствовались тиражами в 300–500 экземпляров.

Успеху «Кубка» способствовал и такой немаловажный факт: доброжелательное предисловие к книге написал уже известный и маститый литератор Федор Сологуб («Когда возникает поэт, душа бывает взволнована»).

Шесть изданий выдержала книга 1914 года «Златолира» (9800 экземпляров). И снова успех. В 1915 году выходит и выдерживает 4 издания книга «Ананасы в шампанском» – 12 960 экземпляров. Поэт не останавливается и снова выпускает книги одну за одной. «Victoria Regia», «Поэзоантракт», «За струнной изгородью лиры». Книги выпускает с такой же скорострельностью, с какой выходили малостраничные брошюры.

Если посчитать общее количество выпущенных Северяниным в этот период книг, то тираж как числовой показатель успеха покажется головокружительным – 86 138.

В литературном пространстве Северянин первый в русской поэтической культуре не смог смириться с обыденностью в наименовании поэтических произведений. Посчитал такую ситуацию неправомерной. Буднично-обиходное отношение к поэзии определено претило ему. В названии стихотворений всегда не устраивала стандартность и внепраздничность. Он упорно искал новые слова, словоформы, своеобразные словосочетания... Стал гоняться за экзотикой названий постоянно, словно автомобилист (на жалуемом им ландо), неразумно превышающий скорость. Эффектное (всегда ли эффективное?), пышное, цветастое, но в конце концов поэтичное, цветущее неотвязно манило его.

Сейчас никому невдомек (да и кому это может прийти в голову?), что чуждая строфа Бориса Пастернака сотворена не без непосредственного воздействия Северянина:

Пошло слово любовь, ты права
Я придумаю кличку иную.
Для тебя я весь мир, все слова,
Если хочешь, переименую.

Пастернак, воодушевленный северянинскими поисками, в обращении к возлюбленной вторил собрату по футуристическому перу: «Пошло слово любовь, ты права. Я придумаю кличку иную». Но так бывает у поэтов: влияние не видно невооруженным глазом. Оно элегантно запрятано, словно одна матрешка в другую. В стремлении быть

оригинальным Пастернак следовал за Северяниным. Впрочем (да простит меня читатель), всем поэтам свойственно подобное неутолимое желание поиска нового, желание назвать то, что еще никем до тебя не названо, а иначе невозможно признать творение за высокую поэзию.

Для привлечения внимания читателя, определенного взрыва читательского сознания Северянин придумывал, переименовывал, давал иные имена, новые неожиданные названия... Как театр начинается с вешалки, так художественное произведение начинается с названия, заголовка. Это отчетливо понимал Северянин. В топку привлечения стойкого и преданного читательского внимания в заголовки произведений бросаются музыкальные и танцевальные термины, неожиданные названия стихотворных форм и размеров, техники изобразительного искусства, геометрические фигуры, иностранные слова – всё, всё, всё: «Рондо», «Триолет», «Хабанера» (и не просто «Хабанера», а под номерами – «Хабанера I, II, III, IV»), «Увертюра», «Шампанский полонез», «Фиолетовый транс», «Квадрат квадратов», «Вервэна», «Кэнзели», «Поэметта», «Фантазия», «Интродукция», «Акварель», «Квинтина», «Терцина-колибри»...

Если, например, поэтическая форма «сонет», то к ней прилепливается эпитет «студеный». И название стихотворения звучит оригинально, загадочно, привлекательно. Оригинальность не знает границ. Иногда она переходит в оригинальничание и даже вычурность. Однако художественная палитра все равно расширяется, становится богаче, поэтический спектр сияет ярко и полноцветно. Все-таки в страстном поиске оригинальности поэту удалось отыскать подлинную жемчужинку – звучит как праздник! – поэза. Находка обрадовала Северянина. Прижилась. Закрепилась. Стала фирменным северянинским знаком. «Поэза о старых размерах», «Поэза удивления», «Поэза лесной опушки», «Поэза голубого вечера»...

«Какое безвкусное слово!» – воскликнет Валерий Брюсов. Но в эмоциональном возгласе явственно слышатся нескрываемые нотки зависти к первооткрывателю удачного слова, так органично вписавшегося в северянинскую поэтическую ткань.

Когда у Северянина попытались отобрать право первенства находки, как, впрочем, и право родоначальника эгофутуризма (Константин Олимпов), обиделся, заклеил, пропечатал. Но всё же простил.

Творческие вечера с участием Северянина стали именоваться не буднично, а празднично и величаво – поэзоконцерт!

В поздние годы все экзотические названия утишаются, сходят на нет. Цветочки с нестандартными именами «поэза» завянут и исчезнут совсем. Остались они только как память об ищущей, неугомной, но уже утраченной, как Родина, молодости.

Привыкший давать оригинальные и цветастые названия стихам, он и сыну выберет редкое экзотическое имя Вахх. Без памяти любящая жена и поэтесса Фелисса Круут с эстонским спокойствием благодарно примет неуклонную поэтическую волю. В необычном имени сына выразилась нежная любовь к супруге, решительно отучившей поэта от алкоголизма – нескончаемой вакхической песни.

Северянин, пожалуй, один из первых поэтов, который остро почувствовал и явственно осознал: чтение с эстрады – совершенно на ином уровне – повторяет сам процесс написания стихов. Божественное вдохновение объединяет две эти ипостаси. И вот теперь сам процесс вдохновенного написания переносится на эстраду при чтении на публику.

Приглашает и приобщает читателя и слушателя к сотворчеству: вдохновенному восприятию поэзии.

Северянин словно забывался, пел, используя голос, словно необыкновенный инструмент. Северянин подобно Орфею увлекал, завораживал и уводил публику в свою некую страну Миррэлию, страну любви, китайского благополучия и нереальных земных и неземных фантазий.

Публика, состоящая в основном из юных фанаток и экзальтированных дам, сочувственно внимала, шумно вздыхала, как, наверное, вздыхает футбольный стадион, удивленный феноменальным филигранным действиям форварда, приводящим к заветному содроганию сетки ворот, то есть заветному читательскому катарсису. А не это ли самая высшая эверестовая суть выступления поэта на сцене? Фраза, ставшая сегодня эстрадным штампом, неким трюизмом – «искупать в аплодисментах», – впервые могла прозвучать тогда, на бурных северянинских поэтически-певческих шоу.

Стоит ли удивляться, что, когда 27 февраля 1918 года в Политехническом музее состоялся вечер «Избрание короля поэтов», то победил в нем Игорь-Северянин, опередив при этом самого громоподобного Владимира Маяковского. И победа была закономерна. Северянин знал тайны покорения публики, среди которой значительную часть составляла прекрасная половина человечества. А центром поэтической вселенной Игоря-Северянина всегда предстает женщина. Вознесение женщины на высокий пьедестал очарования, восторга и любви, а вернее сказать, воздвижение ее на королевский трон – вот главная особенность. Как всякой королеве, он относится к ней со всеми полагающимися королевскими и сиятельными почестями. В этом плане весьма показательно экспрессивное стихотворение, претенциозно обозначенное, как «Поэма-миньонет»:

Это было у моря, где ажурная пена,
Где встречается редко городской экипаж...
Королева играла – в башне замка – Шопена,
И, внимая Шопену, полюбил ее паж.

Было всё очень просто, было всё очень мило:
Королева просила перерезать гранат,
И дала половину, и пажа истомила,
И пажа полюбила, вся в мотивах сонат.

А потом отдавалась, отдавалась грозово,
До восхода рабыней проспала госпожа...
Это было у моря, где волна бирюзова,
Где ажурная пена и соната пажа.

Трепетное и почти молитвенное преклонение не поддается никакому мало-мальскому сомнению. Всё искренне, нежно, убедительно. И такое коленопреклоненное отношение к женщине разлито во всей яркой лирической северянинской стихии творчества. Я даже не буду для вящей обоснованности цитировать, называть и перечислять стихи поэта – пожалуйста, легко убедитесь сами, внимательно перечитав Игоря-Северянина.

Конечно, бывает и обратное – низвержения с пьедестала, как, например, в развернутой лирической пьесе «Валентина». Но сколько печали высказано лирическим героем в нем: «Ты чаруйную поэму превратила в жалкий бред».

Отзывчивая публика, как сказано в стихах Северянина, отдавалась «грозово». Как рыбак настойчиво и обильно прикармливает выбранное место, так и Северянин (а он был непревзойденным любителем рыбной ловли) воспитывал свою публику, ловко и, казалось, незатейливо ловя ее на призывный ажурный лирический крючок.

Высокое преклонение разлито не только в стихах, но и в самой жизни поэта. Он не раз бежал сломя голову за возлюбленной эстонской женой Фелиссой, исполнял ее прихоти вопреки собственным желаниям.

Обозревая северянинское творчество, испытываешь ощущение, что Северяниных как минимум два. Такова артистическая сущность нашего поэта. Один напускной, придуманный им же самим, потворствующей взыскующей публике, чтобы найти признание и успех, однажды нащупав востребованную публикой ноту. Стихи такого поэта, надевшего некую маску, уже приведены выше. Конечно, детское искреннее стихотворение «Звезда и дева» принадлежит обнаженно ранимому, безмасочному.

В поэтическом самопризнании-самохарактеристике мы находим ясное тому подтверждение:

Он тем хорош, что он совсем не то,
Что думает о нём толпа пустая,
Стихов принципиально не читая,
Раз нет в них ананасов и авто.

А вот пронзительный лирик, ни на кого не похожий и которому нет равных:

Мы живём, точно в сне неразгаданном,
На одной из удобных планет...
Много есть, чего вовсе не надо нам,
А того, что нам хочется, нет.

Или, пожалуйста, не менее прекрасное:

О России петь – что стремиться в храм
По лесным горам, полевым коврам...
О России петь – что весну встречать,
Что невесту ждать, что утешить мать...
О России петь – что тоску забыть,
Что Любовь любить, что бессмертным быть!

И уж совсем шедевр, что называется, сотворенный на века.

Стихотворение «Классические розы», аukaющее с классиками Мятлевым и Тургеневым.

В те времена, когда роились грезы
В сердцах людей, прозрачны и ясны,
Как хороши, как свежи были розы
Моей любви, и славы, и весны!

Прошли лета, и всюду льются слезы...
Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране...
Как хороши, как свежи ныне розы
Воспоминаний о минувшем дне!

Но дни идут – уже стихают грозы.
Вернуться в дом Россия ищет троп...
Как хороши, как свежи будут розы,
Моей страной мне брошенные в гроб!

...В «Повести о жизни» Константина Паустовского есть также мысль о двух Северяниных: «С годами он начал сбрасывать мишуру, голос его звучал чуть человечнее. В стихи его вошел чистый воздух наших полей, “ветер над раздольем нив” и изысканность кое-где сменилась лирической простотой: “Какою нежностью неизъяснимою, какой сердечностью осветозарено и олазрено лицо твое”».

Евгений Евтушенко для фундаментальной антологии «Строфы века» напишет стихотворение, характеризующее поэта, где также отметит присутствие маски:

Когда идет поэтов собиранье,
Тех, кто забыт и кто полузабыт,
То забывать нельзя про Северянина –
Про грустного Пьеро на поле битв.

Наверное, кто-то Евтушенко подсказал, а может, и он сам пришел к пониманию явно неуклюжей неточности характеристики «Про грустного Пьеро». Во-первых, и не грустный совсем. Во-вторых, в Пьеро можно вполне увидеть кого-либо другого, например, Александра Вертинского. В-третьих... Поэтому уже в самой антологии появится иная четвертая строка, кажется, с более точной характеристикой, в северянинском стиле: «Он был поэт-грезер на поле битв». Антология построена таким образом, что подборке каждого поэта предшествует литературно-критический очерк об авторе и стихотворный портрет, выполненный Евтушенко. Но здесь случился курьез. Стихотворный портрет должен быть написан антологом на высоком художественном уровне, соответствующем избранному автору, а отнюдь никак не меньшем. Евтушенко безнадежно провалился. Северянин превзошел составителя.

Сам жанр портрета в стихах переимчивый Евтушенко заимствовал у Северянина, который, по сути, выпустив в 1934 году сборник «Медальоны», неоспоримо явился законодателем нового поэтического жанра. 100 сонетов, представленные в книге, посвящены классикам и современникам – поэтам, писателям, художникам, композиторам.

В творческом корпусе Северянина поэтических портретов куда больше ста! Таким образом, Игорь-Северянин может вполне считаться основоположником жанра портрета, а все остальные могут вполне называться его последователями.

И еще. Главное отличие «медальонов» Северянина и Евтушенко в том, что последний, отказавшись от сложной формы сонета, значительно упростил себе задачу создания портрета.

Приступая к поэме «Братская ГЭС», Евгений Евтушенко в «Молитве перед поэмой» обращается к семи классическим поэтам за поддержкой, за помощью: «Дай, Пушкин мне свою певучесть...», далее идут последовательно обращения к Лермонтову, Некрасову, Блоку, Пастернаку, Есенину, Маяковскому. У каждого молитвенно выпрашивает подарить какую-то сильную особенность творчества для создания своей поэмы. А вот про Северянина забыл. Или все же имя Северянина негласно было под запретом?

К нему он не обращается с мольбой о помощи, а бесцеремонно забирает себе, без спроса, удачные северянинские строки.

Я хочу быть солучьем двух лазурных планет.
Я хочу быть созвучьем между «да», между «нет».
(Северянин)

Я как поезд,
что мечется столько уж лет,
между городом Да
и городом Нет.
(Евтушенко)

На заимствование обратил внимание Андрей Вознесенский. Но он и сам, скажем, не без греха. Прекрасное северянинское «За струнной изгородью лиры» в его стихах осовременивается и превращается в изумительный музыкальный образ – «Дубовый лист виолончельный».

Эгофутуристическим воззрениям самовосхваления и саморекламы ранний Вознесенский придаст отчетливый и вызывающе дерзкий вид формулы-оправдания:

Дарвины, Рошали
ошибались начисто.
Скромность украшает?
К черту украшательство!

И поспешит вслед за мэтром («Я, гений Игорь-Северянин...») остаться верным заветам эгофутуризма:

...в прозрачные мои лопатки
вошла гениальность, как
в резиновую перчатку
красный мужской кулак...

Потом, правда, спохватится, исправит по совету редактора – «зачем гусей дразнить?» – на более приемлемое «входило прозренье...»

Словом, влияние Северянина на поэтов XX и XXI веков заслуживает отдельной темы и более глубокого и ответственного разговора.

Эдуард КУЗНЕЦОВ

Родился в 1941 году в Горьком. Окончил химический факультет Горьковского госуниверситета и более 40 лет проработал на Горьковском автомобильном заводе.

Крупнейший в России коллекционер пародии, эпиграммы, шаржа, исследователь сатирических жанров, автор 12 книг по этой тематике и более сотни статей. Лауреат премий имени Горького (2006, 2012) и «Бриллиантовый Дюк» (Одесса, 2013). Живет в Нижнем Новгороде

БЫТЬ САМИМ СОБОЙ

Исполнилось 115 лет со дня рождения русского поэта
Арсения Тарковского (1907–1989)

Есть города, административно расположенные в одних местностях, но своей судьбой и историей более связанные с территориями иными. Таков волжский город Юрьевец. Он, хоть и относится к Ивановской области, по своей сути имеет гораздо более прочные связи с краем Нижегородским. Он был основан почти одновременно с Нижним Новгородом великим князем Юрием Всеволодовичем и многовековой историей он прикипел к Нижнему. Когда в 1350 году Нижний стал столицей великого княжества, в его состав вошли Суздаль, Шуя, Городец, Юрьевец. Много позже, в 1714 году, по указу Петра I в Нижегородскую губернию были включены Балахна, Курмыш, Арзамас, Василь, Юрьев Поволской. Да и сейчас кажется, что Юрьевец значительно ближе к Нижегородской области, чем к Ивановской: ведь земли на противоположном берегу водохранилища перешли к Нижнему Новгороду.

С Юрьевцем связана судьба многих знаменитых людей, оставивших заметный след в истории России, – Аввакума, Ермака, В. Короленко, А. Саврасова, И. Левитана, братьев Весниных. Школьниками средней школы № 1 Юрьевца были И.И. Киселёв – многолетний директор Горьковского автомобильного завода, Герой Социалистического Труда, и Б.П. Платонов – главный инженер металлургического производства ГАЗа, профессор, доктор технических наук.

Заметными фигурами, связанными с Юрьевцем жизненными обстоятельствами, были отец и сын Тарковские. Родители первой жены поэта Арсения Александровича Тарковского (1907–1989) жили то в Юрьевце, то в селе Завражье (на другой стороне Волги напротив Юрьевца). В этих местах в 30–40-е годы Тарковскому приходилось бывать неоднократно. Здесь в 1932 году у него родился сын Андрей, здесь в 1941–1943 годах в эвакуации находилась его семья. Впечатления от приволжского города отразились в стихах поэта:

Вот Юрьевец. Юрьевец город какой –
 Посмотришь в бинокль на него с высоты –
 У самой воды, под самой горой
 В две улицы тянется на три версты.

Или:

Плыл вниз от Юрьевца по Волге звон пасхальный,
 И в лёгком облаке был виден город дальний...

Сейчас в Юрьевце и в Завражье организованы музеи Андрея Тарковского, где немало места уделено и его отцу – его книгам и публикациям.

Арсений Тарковский бывал и в Нижнем Новгороде. Во время работы на Всесоюзном радио (в начале 30-х годов) он написал пьесу «Стекло». Чтобы ознакомиться с подробностями стекольного производства, он приезжал в Нижний Новгород и какое-то время жил в городе Бор, бывая на стекольном заводе.

Тарковский писал стихи с малых лет, но не торопился их публиковать. Жизнь его не очень-то баловала. Как он писал впоследствии:

У, как я голодал мальчишкой!
 Тетрадь стихов таскал под мышкой,
 Баранку на два дня делил...

Приходилось ему быть учеником сапожника, продавцом книг, поработать в рыболовецкой артели.

Взглянул я на руки свои
 Внимательно, как на чужие:
 Какие они корневые –
 Из крепкой рабочей семьи.

Тарковский многое умел делать сам: переплетать книги, чинить обувь, ремонтировать технику. Он хорошо рисовал, увлекался астрономией (имел несколько телескопов), собирал пластинки (знал и любил классическую музыку). Особенную страсть питал к библиофильству; в его собрании было множество уникалов: прижизненные издания Пушкина, Лермонтова, Батюшкова, Фета, Державина, Баратынского, первые издания поэтических книг современников.

Будучи освобождённым от призыва в армию по здоровью, он после многочисленных попыток добился, чтобы его отправили на фронт. В качестве корреспондента армейской газеты не раз участвовал в боевых действиях, был награждён орденом Красной Звезды. Был ранен разрывной пулей и в 1944 году после ампутации ноги демобилизован.

Случилось так, что для читателей он сначала стал известен как переводчик стихов с азербайджанского, чеченского, туркменского, армянского, грузинского, сербского, польского и других языков. Он зарекомендовал себя выдающимся мастером перевода, за что был награждён многими национальными премиями. Тем не менее, переводы тяготили его; он говорил: «Переводить – словно тифом болеть».

Для чего я лучшие годы
 Продал за чужие слова?
 Ах, восточные переводы,
 Как болит от вас голова.

С публикацией собственных стихотворений Тарковскому не везло. Долгое время его стихи были незнакомы широкому читателю; первую его книгу, уже готовую к изданию, рассыпали после памятного поста-

новления ЦК ВКП (б) о журналах «Звезда» и «Ленинград». Первый его сборник появился в печати, когда поэту было 55 лет. А ведь уже в 20-е годы было написано немало великолепных стихов.

СВЕЧА

Мерцающая желтым язычком,
Свеча все больше оплывает.
Вот так и мы с тобой живем –
Душа горит и тело тает.

1926

Как литературный анекдот передавался разговор Тарковского с одним плодовитым поэтом. Он спрашивал Тарковского: «Почему так редко издаётесь? Посмотрите, сколько уже книг выпустил я!» На что Тарковский со вздохом отвечал: «Легко писать, когда нет таланта».

Тарковского можно отнести к поэтам элитарным для читателей думающих и понимающих. Он был сторонником классического стихосложения, не принимал новомодных течений, в стихах не уделял внимания суетной повседневности, не воспевал ни власть, ни вождей. Он был малопонятен советским функционерам, отвечавшим за культуру: его поэзия казалась вневременной, в ней не чувствовалось переключки с советской действительностью, то и дело упоминалось о Боге, о библейских событиях, о мифологических героях. Тарковский и жизнь вёл достаточно уединённую: сторонился общественных мероприятий, не участвовал в разного рода литературных разборках, не занимал бюрократических постов.

3. Вальшонок писал о поэте:

Ироничный, сухой, бледнолицый,
Он молчит, словно впал в забытьё,
Как словесности строгий патриций
Меж крикливых собратьев её.

Литературное значение поэта профессионалами оценивалось очень высоко, место его определялось среди классиков; неслучайно его называли последним представителем Серебряного века. Он был близко знаком с О. Мандельштамом, М. Цветаевой, А. Ахматовой, Г. Шенгели. Его стихи ценили истинные почитатели поэзии. М. Лисянский писал:

И в дождик осенний,
И в снег – в тишине
Тарковский Арсений
Приходит ко мне.
И даже ночами,
И даже во сне –
Стихами, стихами
Стучится ко мне...

Тарковский не стремился к популярности – не организовывал торжественных юбилеев, избегал надоедливых репортёров, не отмечен многочисленными интервью. Его «поэтическая лаборатория» была недоступна публике, лишь близкие люди знали о его личных пристрастиях. Читая его стихи – строгие и сдержанные, – трудно было представить, что поэту, например, присуще чувство юмора. На самом деле юмор бесшумно

сопровождал Тарковского по жизни. Уже в 1924–1926 годах, когда поэт работал в газете «Гудок» и журнале «Прожектор», стали появляться в печати его стихотворные фельетоны, да и подписывались они вполне не-серьёзным псевдонимом Тарас Подкова. Он мог по случаю разразиться шуточными или пародийными стихами, сочинёнными, что называется, на ходу. Вот, например, его приглашение друзьям на новоселье по поводу получения в 1948 году комнаты в коммунальной квартире:

Я мало на Парнасе волховал.
Немало есть возвышенностей в мире, –
И новый адрес мой: Коровий вал,
Дом 22, квартира же – 4.

Быть может, есть Парнас, да не про нас.
Коровий вал – вот это мой Парнас.

Известна его шутливая повесть в стихах «Чудо с щеглом», сатирические «Новые подражания древним». Но вместе с тем его даже приблизительно невозможно отнести к юмористам или сатирикам. Он говорил: «не близок мне смех обличающий, сатирический, мне нравится смех без иронических и саркастических уколов». И подтверждал это поэтически:

Где свистуны свистели
И щелкал шелкопер,
Я сам свое веселье
Отправил под топор.

И всё же даже в его строгих стихах порой проскальзывали нотки, присущие и пародиям, и эпиграммам. В миниатюре, посвящённой О. Манделъштаму, нетрудно заметить родовые черты эпиграммы – остроту характеристики, лаконичность, точность попадания в цель, экспрессивность:

Говорили, что в обличье
У поэта нечто птичье
И египетское есть;
Было нищее величье
И задерганная честь.

Как боялся он пространства
Коридоров! Постоянства
Кредиторов! Он как дар
В диком приступе жеманства
Принимал свой гонорар.
<...>
Гнутым словом забавлялся,
Птичьим клювом улыбался,
Встречных с лету брал в зажим,
Одиночества боялся
И стихи читал чужим.

Немало написал Тарковский настоящих эпиграмм – коллегам, знакомым, родным. Вот эпиграмма третьей жене поэта, совместившая в себе юмор с реальностью:

Я единственный в нашей семье,
Кто женат на гремучей змее.

О себе самом Тарковский тоже оставил эпиграмму:

Я несчастное творенье,
Очень трудно я живу:
Ем варенье в сновиденье,
Наяву жую ботву.

Место поэзии Тарковского неоспоримо значимо, что не могло не привлечь внимания пародистов. Пародий на него написано более десятка, и ни одну из них нельзя отнести к разряду агрессивных. При всём желании в них невозможно обнаружить сатирическую заострённость, в них нет места иронии, насмешке, в них не более чем попытка воссоздать стиль, темы и образы поэта. Символично, что самый придирчивый пародист Александр Иванов, не по одному разу ехидно перепародировавший весь цвет советской поэзии, не написал ни одной пародии на Тарковского. С глубоким уважением к поэту звучит едва ли не единственная эпиграмма (скорее панегирик) в адрес Тарковского С. Митиной:

Дофин французский,
Инфант испанский,
Сократ московский –
А. А. Тарковский.

Все, с кем общался Тарковский, проникались его высоким пониманием литературы и искусства. Не удивляет и семейная приобщённость к культурным ценностям: связь с литературой была присуща всему родственному окружению. Его первая жена – Мария Вишнякова – занималась на Высших литературных курсах (вспоминают, что однокурсники за талант называли её «Толстой в юбке»). Третья жена – Татьяна Озерская – после окончания Литературного института была профессиональным редактором и переводчиком (переводила Диккенса, О. Генри, Уайльда, Стивенсона, Митчелл, Кронина. Её перевод «Аэропорта» А. Хейли был признан лучшим переводом года). Его сын – Андрей Тарковский – всемирно известный кинорежиссёр, сам писал сценарии, высоко чтит поэзию отца, использовал его стихи в сюжетах кинокартин. Его дочь – Марина Тарковская (лингвист, окончила филфак МГУ) – стала семейным летописцем. Ею составлено множество материалов и написаны книги, ставшие подробнейшими свидетельствами жизни отца и брата. Его внук – Михаил Тарковский – поэт и прозаик, лауреат многих литературных премий, удостоился напутствия деда: «Михаил, ты должен писать!»

Одна из последних книг Арсения Тарковского была названа «Быть самим собой». Название вытекало из строки поэта «Ты должен стать самим собой». Думается, это пожелание-утверждение в полной мере было осуществлено в судьбе Тарковского: его неповторимая индивидуальность естественным образом воплотилась в поэзии.

Далекое — близкое

Александр ЦИРУЛЬНИКОВ

Родился в 1937 году в городе Николаеве УССР. После эвакуации с 1941 года живет в Нижнем Новгороде. Окончил историко-филологический факультет Горьковского госуниверситета имени Н.И. Лобачевского.

Работал редактором общественно-политических и информационных программ Горьковской студии телевидения, собкором Гостелерадио СССР, ГТРК «Останкино», телекомпании ОРТ в Нижегородской области, представителем издательства «Воскресение», ведущим и старшим редактором Нижегородской государственной телерадиокомпании НТР.

Прозаик, поэт, публицист, автор трех десятков книг прозы и стихов. Член Союза писателей России. Лауреат литературной премии «Болдинская осень», премий Нижнего Новгорода, областной премии имени А.М. Горького, кавалер ордена Дружбы, ордена Почета.

Живет в Нижнем Новгороде.

КОСМОНАВТЫ ИЗ «ПАЛАТЫ ЛОРДОВ»

Пять лет назад, вспоминая первых космонавтах, я писал:

«Я иногда встречаюсь и общаюсь с космонавтами гагаринского призыва из той госпитальной “палаты лордов”, как они ее сами называли, — постаревшими Валерием Быковским, Виктором Горбатко, Борисом Волиновым, Анатолием Филипченко, моими здравствующими постаревшими ровесниками и теми, что уже младше меня: поседевшими “детьми войны” и первых послевоенных лет — Вячеславом Зудовым, Владимиром Джанибековым, Владимиром Коваленком, Георгием Гречко и другими, кто жил и работал бок о бок с Гагариным, а сейчас пенсионеры, деды и даже прадеды.

У Юрия Романенко и Александра Волкова сыновья Роман и Сережа уже по два раза были командирами на МКС, представляя там свои семейные космические династии. Гагарин когда-то мечтал об этом».

Годы спешат, мы вроде совсем недавно стали жить в XXI веке, а он уже стал совершеннолетним, а сейчас ему уже за двадцать. Замечательно, что память хранит и открывает неизвестные подробности из жизни первопроходцев космоса. Сейчас из 20 первых «лордов» остался один — Борис Валентинович Волинов. Помнится, на 90-летию со дня рождения Валерия Павловича в 1994 году у нас в Горьком во Дворце пионеров я спросил его: «Было ли 12 апреля 1961 года что-то такое, что вас удивило?» И он с готовностью ответил:

– Удивительным был весь этот день! Но был момент, когда мы на пункте слежения за первым полетом в космос услышали от Гагарина: «Вхожу в тень Земли». Мы переглянулись: «Что он сейчас сказал? Куда он входит?» Остановили запись и прослушали сказанное снова еще и еще раз. Тогда все было новым, непривычным. Теперь эти слова давно стали рабочими терминами и не требуют разъяснений, как и многие другие в переговорах с комическими экипажами с Землей и между собой... Космос породил свой специальный язык и обогатил им русскую лексику...

Вообще в освоении космоса еще очень много неизвестных деталей. А в наше время, когда мы уже многое знаем, именно детали, вроде бы мелочи, и хранят самую интересную информацию.

Имена первой группы будущих космонавтов, которые готовились к полету, были строжайше засекречены, еще большую тайну составляли разработчики и создатели космических кораблей. Сергей Павлович Королев после успешного запуска первого спутника Земли с грустью говорил своему другу писателю Герману Нагаеву: «Народ узнает обо мне только после моей смерти». Это так и произошло. Но на кремлевском приеме 14 апреля 1961 года в честь первого в мире полета человека в космическое пространство подвыпивший Никита Сергеевич Хрущев провозгласил тост «За главного конструктора!» и стал, как он сам это называл, импровизировать: «Сергей Павлович, где вы? Покажитесь!...» Все зарубежные послы и военные атташе пришли в движение. Королева прикрыли со всех сторон сотрудники его фирмы и охрана...

После полета Гагарина главной загадкой стал космонавт-2. В том, что он есть, никто не сомневался, о нем говорили, о нем писали, только не называли по имени. Не помню сейчас, от кого в июне или июле 1961 года я, еще будучи студентом, услышал, что это Титов. И зовут его Герман. Признаюсь, что не придавал этому значения, потому что тогда предположительно назывались разные имена и фамилии. Но все-таки, когда 6 августа в эфире зазвучали позывные Всесоюзного радио и Юрий Левитан пообещал – «через несколько минут будет передано важное сообщение», я, опережая его, выпалил: «Наверно, Титов полетел!» Стоявшие рядом мои товарищи по истфаку удивились: «Откуда ты знаешь?»... Я сам был удивлен и обрадован, что это оказалось именно так.

И рядом с Юрием Гагариным навсегда встал Герман Титов. В русском языке появилось такое устойчивое сочетание: Гагарин и Титов. Можно легко вспомнить другие подобные сочетания имен философов, политиков, писателей, популярные в нашей стране.

8 августа 1941 года мама со мной на руках ушла в эвакуацию из Николаева, где я родился 3 сентября 1937 года. Фашисты вошли в город 16 августа. Отца уже с нами не было: воевал. 16 сентября 1941 года мы добрались до Горького, который с тех пор стал мне родным на всю жизнь. Первый раз после войны я приехал в Николаев в августе 1963 года. Во время отпуска, я уже работал на Горьковском телевидении. Поселился у тети Розы, вдовы маминого брата Абрама Ароновича Ольшанского, погибшего 13 сентября 1943 года при освобождении Смоленска. Он был майором, командиром минометного полка. Тетя Роза во время войны тоже жила в Горьком и вернулась в Николаев летом 1945 года.

Однажды утром, придя с базара со свежими овощами, она сообщила услышанную там новость – в Николаев приехал космонавт Титов, он сейчас гостит у своего школьного учителя Адриана Митрофановича Топорова, в нескольких кварталах от нашего дома. Возвращаясь с рынка, она видела, как туда во двор заехала машина с надписью «Телевидение».

Не допив чаю, я побежал по указанному тетей Розой адресу. И через десять минут был в небольшом южном дворике с одно-двухэтажными домами, с большим столом в палисаднике рядом с окнами первого этажа. Тут уже с микрофонами, кинокамерой и магнитофоном суетились мои коллеги-телевизионщики, с которыми я не далее как вчера познакомился в Николаевском телецентре. Оказалось, что они меня знали по моим репортажам из Горького в «Новостях» Центрального телевидения. Программы «Время» тогда еще не было.

Мой здешний коллега Игорь Федоров удивился моему появлению: «Откуда узнал новость?» – «Тетя с базара принесла». – «Это по-нашему!..»

Двор наполнялся людьми с соседних дворов и улиц, публика была разношерстная. За порядком наблюдали два или три милиционера в белых гимнастерках. Я жалел только об одном: в спешке не взял фотоаппарат.

Из разговора с Титовым помню его рассказ о том, как незадолго до старта у него разболелась пятка на правой ноге и как он старался на виду у начальства и врачей ходить не хромя. Тем не менее его направили просветить подозрительную пятку рентгеном.

– Это были самые тревожные часы перед стартом: что-то там разглядят – и прощай полет! – вспоминал свои опасения Герман Степанович. И широко улыбнулся: – Но мир не без добрых людей! Когда надо было ставить ногу на подставку перед рентгеном, у меня, видимо, был такой обреченный на неудачу вид, что молодая медсестра слегка оттолкнула меня и сунула под рентген свою пятку... Я ей на всю жизнь благодарен!

– А как сейчас ваша пятка?

– Да нормально! По-моему, на второй день после рентгена боль прошла, просто перестал по этому поводу нервничать...

– А как получилось так, что Гагарин стал первым космонавтом, а вы вторым?

– Это не зависело от нас – ни от Гагарина, ни от меня. Так решили наверху, хотя мы были оба готовы к полету. Между прочим, Гагарин тоже был благодарен врачам: за месяц до полета у него был обнаружен гайморит, но медики скрыли этот диагноз на свой страх и риск: им очень понравился Гагарин.

Я знаю от сведущих людей, что Герман Степанович всегда переживал, что он в соседстве героев космоса – второй. Он рядом с Гагариным шел к заветной цели – но тот опередил, так сложились обстоятельства. Мне рассказывали, что когда Н.С. Хрущеву доложили о двоих кандидатах на первый полет, Никита Сергеевич будто бы среагировал так: «Что же, у нас первый космонавт будет с немецким именем? Пусть лучше Юрка летит!» Кто тогда мог объяснить первому человеку в стране, что Степан Титов был искренним почитателем А. С. Пушкина и назвал сына по фамилии героя «Пиковой дамы», убрав из нее вторую букву «н»? Так же отрицательно высказался Н.С. Хрущев и по поводу Григория Нелюбова, который был третьим в списке возможных кандидатов:

– Первый космонавт должен стать любимцем всего человечества, а у него такая фамилия – Нелюбов!..

Вероятно, у Гагарина были еще какие-то глубокие личностные преимущества, которые определили его лидерство.

Между прочим, это же самое «немецкое имя» стало барьером для полета в космос нашего земляка из деревни Шубино Шарангского района врача-космонавта Германа Арзамова. Я знаю это самого Герма-

на Семеновича, а ему в свое время коллеги передали слова, сказанные председателем Государственной комиссии генералом Керимовым, со-звучные с теми, что произнес Хрущев...

Когда Юрий Алексеевич узнал, что назначен на корабль-спутник «Восток» «пилотом № 1», а Герман Степанович – «запасным пилотом», и видя, что друг расстроен этим решением, Гагарин наклонился к Титову и тихо сказал: «Тебя берегут для большего».

Но мудрый Титов понимал: какими бы сложными и важными ни стали бы будущие программы освоения космоса, ничего более значительного, чем первый полет человека в невесомость, уже не будет. И переживал по этому поводу. Алексей Леонов рассказал, как однажды 12 апреля он поздравил Германа Степановича с праздником, тот отреагировал:

– Для меня это самый печальный день в моей жизни!..

Между прочим, проницательный и мудрый Гагарин был прав, утешая Титова. «Дядьке» космонавтов генералу Каманину было легче выбрать одного из двух кандидатов на один виток вокруг Земли, чем на почти суточную командировку в космос, и он сохранил это задание за Титовым... Думаю, что в разговоре перед стартом все объяснил Герману Степановичу, но от переживаний по поводу утраченного лидерства не оградил... Конечно, случались и другие переживания, оттого, бывало, «срывался в пике» во вроде бы обычных жизненных обстоятельствах. Я был свидетелем одного такого срыва летом 1978 года на Бору, куда космонавт-2 приехал на стеклозавод, чтобы поменять на своей «Волге» светлые стекла на темные. Не буду вдаваться в подробности этого вечера, после чего я понял, что космонавты – самые обычные наши люди со всем, что обычным нашим людям может быть свойственно. И если к космическим перегрузкам они приспособлены, то земные переносят весьма болезненно. Во всяком случае, вернулся я в тот день из Бора в плохом настроении. Никак не мог уснуть. В три часа ночи вскочил из-за неожиданного телефонного звонка. Звонил директор Горьковского цирка мой хороший знакомый Иван Панкратьевич Маринин:

– Саша, я сейчас пришло за тобой свою машину – приедешь?

Я ответил, что еще слишком рано, чтобы в гости ходить. Маринин: среагировал:

– Тогда я передаю трубку хорошо знакомому тебе человеку, который попросил меня тебе позвонить ...

– Александр Маркович, можно Саша, это я Герман... Титов! Хочу извиниться за то, что, знаю, тебе не понравилось на встрече в Боре... Сейчас я уже в форме, водитель тоже. И едем в Москву, завтра в 11 буду на докладе у министра обороны...

Я поблагодарил Германа Степановича за звонок и пожелал хорошей дороги... Больше встретиться с ним повода не случилось.

Вообще много раз убеждался, что космонавты – обычные люди, наши люди. И перестал их идеализировать. Но продолжаю восхищаться тем, что они делают в космосе.

Владимир Джанибеков и Виктор Савиных прилетели на станцию «Салют-7», которая уже отработала свой ресурс, была замерзшей, безлюдной, безжизненной и оставлена в космосе до той поры, пока со временем не спустится в плотные слои атмосферы и не сгорит. И вдруг два космонавта, чей опыт работы на этом «Салюте» был самым большим, отправились на борт, чтобы вернуть станцию к жизни и работать на ней. Что случилось?

Оказалось, что «Салютом-7» заинтересовались американцы. В НАСА был секретно подготовлен план ухода станции из космоса, приземления (вернее, приводнения) ее с помощью состыковавшегося с ней американского «Шаттла» и, таким образом, добычи всех технических и оборонных секретов, которые она таила. Естественно, мы не могли допустить такого воровства в космосе и сделали все, чтобы советская станция снова стала обитаемой и действующей.

Все-таки, сколько бы ни прошло лет в освоении космоса, эта среда остается противоестественной, если даже не враждебной для существования в ней человека. Людям она выставляет свои новые и новые барьеры, которые приходится учиться преодолевать. Например, космонавт Михаил Корниенко в интервью «Московскому комсомольцу» отметил, что в первое время работы на МКС «память работает по-другому. То, что было год назад и раньше, прекрасно помнишь, а то, что было 50 минут назад, забываешь. Вроде только-только помнил и раз – забыл. У меня был специальный блокнот, да и не только у меня. С оператором, например, разговариваешь, он диктует какие-то данные, говорит, какие надо взять приборы, агрегаты, все это надо обязательно записать, потому что забудешь. После полугода работы на станции этот эффект прошел...».

И еще одна особенность. На Землю все космонавты с МКС возвращаются на 3-4 сантиметра выше своего прежнего роста. Это происходит потому, что на позвоночник там не воздействует гравитация, все позвоночные диски расслабляются, расширяются. Позвоночный столб вытягивается, а вместе с ним и рост человека...

12 декабря 1976 года я приехал к Вячеславу Зудову домой в Звездный городок для подготовки сценария телефильма «Космонавты живут на Земле». Я спросил его, были ли у нас факты гибели космонавтов до полета Гагарина. Тогда об этом распускала слухи западная пресса.

– Да, – ответил мой собеседник, – за 19 дней до старта «Востока-1» погиб космонавт Валентин Бондаренко. Но погиб не в космосе, а на Земле... Согласно расписанию тренировок, Валентин Бондаренко заканчивал десятисуточное пребывание в сурдобарокамере в московском Институте медико-биологических проблем – как и других космонавтов, его испытывали одиночеством и тишиной. В конце испытания он совершил простую и непоправимую ошибку. После окончания медицинских тестов он снял с себя датчики, которые были закреплены на его теле, протёр места, где были датчики, смоченной в спирте ватой и неосторожно выбросил этот кусочек ваты. Вата попала на спираль раскалённой электроплитки и мгновенно вспыхнула. В атмосфере чистого кислорода огонь быстро распространился на всю камеру. На Бондаренко загорелся шерстяной тренировочный костюм. Из-за большого перепада давления было невозможно быстро открыть сурдобарокамеру. Когда камеру открыли, Бондаренко был ещё жив. Его доставили в Боткинскую больницу, где врачи боролись за его жизнь, но безуспешно. Через восемь часов Валентин Бондаренко скончался от ожогового шока... В зарубежной печати его часто называют советским космонавтом № 1. Мы говорим о Валентине Бондаренко как о «космонавте № 0». В космос он не летал...

В первом отряде космонавтов было 20 человек, никто из них не знал, кто будет пилотировать «Восток-1», и каждый был готов и хотел осуществить взлет на орбиту и облететь Землю. Вот их имена и фамилии по алфавиту:

*Аникеев Иван Николаевич,
Бондаренко Валентин Васильевич,
Быковский Валерий Федорович,
Варламов Валентин Степанович,
Волынов Борис Валентинович,
Гагарин Юрий Алексеевич,
Горбатко Виктор Васильевич,
Заикин Дмитрий Алексеевич,
Карташов Анатолий Яковлевич,
Комаров Владимир Михайлович,
Леонов Алексей Архипович,
Нелюбов Григорий Григорьевич,
Николаев Андриян Григорьевич,
Попович Павел Романович,
Рафиков Марс Закирович,
Титов Герман Степанович,
Филатьев Валентин Игнатьевич,
Филипченко Анатолий Васильевич
Хрунов Евгений Васильевич,
Шонин Георгий Степанович.*

Из них в космических полетах участвовали 12 человек. Для подготовки к первому старту в космос были непосредственно привлечены шестеро: Ю.А. Гагарин, Г.С. Титов, Г.Г. Нелюбов, А. Г. Николаев, П.Р. Попович, В.Ф. Быковский.

Из этой шестерки ни разу не слетал Григорий Нелюбов, хотя у него было официальное удостоверение Космонавта СССР № 3.

В 1960 году он был зачислен в первый отряд космонавтов СССР. Прошёл подготовку для полёта на космическом корабле «Восток». Был одним из претендентов на первый космический полёт. Был назначен вторым запасным космонавтом во время полёта Юрия Гагарина. Входил в группу подготовки космонавтов к полёту на кораблях «Восток-2», «Восток-3» и «Восток-4». В июне 1962 года был выведен из группы подготовки к полёту «Восток-3» и «Восток-4» по состоянию здоровья. Что позже было переквалифицировано: «за нарушение воинской дисциплины в нетрезвом виде». Возник конфликт с военным патрулём. Нелюбов был отчислен из отряда космонавтов вместе с Аникеевым и Филатьевым 17 апреля 1963 года. Согласно воспоминаниям Каманина, Гагарин высказывался за отчисление одного Филатьева, сам Каманин считал, что отчислить нужно Филатьева и Аникеева, а Нелюбову, учитывая его прекрасные показатели при подготовке и наименьшую (по мнению Каманина) вину в инциденте, дать возможность реабилитироваться.

Цитата из книги Ярослава Голованова «Космонавт № 1»:

...По общему мнению почти всех космонавтов, Нелюбов мог со временем оказаться в первой пятерке советских космонавтов.

Но случилось иначе. Подвело Григория как раз его «гусарство». Случилось это уже после полета Титова. Стычка с военным патрулем, который задержал Нелюбова, Аникеева и Филатьева, на железнодорожной платформе, дерзкое поведение и надменность в комендатуре в ответ на угрозу направить рапорт командованию. Руководство Центра упросило дежурного по комендатуре не посылать рапорта. Тот скрепя сердце согласился, если Нелюбов извинится. Нелюбов извиняться отказался. Рапорт ушёл наверх. Разгневанный Каманин отдал распоряжение отчислить всех троих. Космонавты первого призыва считают, что Аникеев и Филатьев пострадали исключительно по вине Нелюбова...

Секретарь парторганизации Павел Попович пытался разрешить ситуацию, созвав партсобрание, где Нелюбову было ещё раз предложено извиниться перед начальником патруля и покаяться перед товарищами, но Григория «замкнуло», чем он сам поставил крест на своей дальнейшей карьере.

После отчисления из отряда космонавтов Григорий Нелюбов продолжил службу в Военно-воздушных силах СССР на Дальнем Востоке.

Нелюбов тяжело переживал срыв своей космической карьеры и надеялся, что его в скором времени вернут в отряд космонавтов. Но надежды на возвращение не оправдались. Павел Попович однажды пытался свести его с «нужными людьми» в ЦК ВЛКСМ, но разговор не получился, и это только усугубило депрессию, из которой он, казалось, уже начинал было выходить, осваивая новейшие МиГ-21. Пытался перейти на работу лётчика-испытателя, но внезапно ему без объяснения причин было отказано. Это был новый тяжёлый удар. Начинались всё более серьёзные проблемы с алкоголем. Друзья пытались его оградить от этого, но тщетно. Он садился в любой проходящий поезд, показывал случайным попутчикам удостоверение космонавта № 3 и фотографии друзей с автографами, и ему тут же наливали. Одно время он при малейшей возможности срывался в Москву, пытаясь восстановиться в ВВИА имени Н. Е. Жуковского и встретиться с Каманиным. Последняя надежда родилась у него в конце 1965 года. Он решил, наконец, поговорить с Королёвым, которого раньше никогда ни о чём не просил. Но поговорить не успел. В январе 1966 года Сергей Павлович умер.

Григорий Нелюбов погиб 18 февраля 1966 года под колёсами поезда. Есть предположение, что покончил с собой...

Цитата из книги Ярослава Голованова «Космонавт № 1»:

...В выписке из рапорта я прочел (воспроизвожу дословно): «18 февраля 1966 года в пьяном состоянии был убит проходящим поездом на железнодорожном мосту станции Ипполитовка Дальневосточной железной дороги». Винить здесь судьбу, мне кажется, нельзя. Судьба была благосклонна к Нелюбову. Просто не хватило у человека сил сделать свою жизнь, так счастливо и интересно начавшуюся...

Кроме Нелюбова, Аникеева и Филатьева, из первого отряда космонавтов за аморальное поведение, связанное с алкоголем, был отчислен Марс Рафиков, по состоянию здоровья отряд покинули Валентин Варламов и Анатолий Карташов. Во время испытаний из-за пожара в сурдобарокамере на Земле 23 марта 1961 года погиб Валентин Бондаренко, которого называют космонавтом-ноль.

Эта трагедия на десятилетия была засекречена, поэтому и сегодня о ней мало кто знает. В недавно рассекреченных дневниках тогдашнего руководителя Центра подготовки космонавтов генерала Каманина в тот день была сделана такая запись: «Погиб слушатель-космонавт старший лейтенант В.В. Бондаренко. Нелепая первая жертва среди космонавтов. Он погиб от пожара в барокамере на десятые сутки 15-суточного эксперимента, проводившегося в Институте авиационной и космической медицины. Причина возникновения пожара пока неизвестна, вероятнее всего, она кроется в плохой организации дежурства и контроля за ходом испытаний».

Литпроцесс

Лейла ОРЕН

Родилась в 1980 году в Горьком. Окончила Волго-Вятскую академию госслужбы, магистратуру в Государственном гуманитарном университете им. Шолохова (Москва), курсы по турецкому языку. Преподавала турецкий язык в Университете инклюзивного образования (Москва), в Турецко-русском культурном центре была переводчиком и преподавателем живописи на воде Эбру, работала в должности учёного секретаря в Русско-турецком научном центре в Библиотеке иностранной литературы (Москва), переводчиком в Центре турецкого языка в Российском университете дружбы народов.

Председатель Нижегородского отделения Российского союза профессиональных литераторов, главный редактор альманаха «Российский литератор». Автор поэтических сборников «Лестница в небо» и «Звездочёт», публикаций в российских и зарубежных журналах. Живет в Нижнем Новгороде.

«СУМЕЙ ПОНЯТЬ ЯЗЫК СВОЕЙ ДУШИ...»

О книге Юрия Ключникова «Караван вечности»

Сборник авторских переводов и подражаний суфийской поэзии «Караван вечности», принадлежит перу Юрия Михайловича Ключникова, известного русского поэта, эссеиста, путешественника, переводчика, автора 20 книг стихотворений, переводов, прозы и публицистики.

Прочитав «Караван вечности», я задумалась о многом... и в памяти вертятся слова Абулькаси́ма Фирдоуси в переводе Юрия Ключникова:

Сумей понять язык своей души.
В чем разобрался, миру Расскажи.
Но просвещать несведущих прохожих
И стать красноречивым не спеши.

Создаётся впечатление, что Юрий Ключников в своей книге не просто предлагает оригинальную трактовку творчества суфиев, но и несёт всему миру истину, сокрытую за внешней материей текстов суфийских поэтов.

Несмотря на то что дервиш, ашик, певец вечной любви – это чаще всего одинокий путник, путешествующий и внутрь себя, и во внешнем пространстве, и во времени, идея коллективного, братского созерцания, сопереживания и сопутешествия к единой цели близка и суфиям, и человеку, прожившему достаточное количество лет своей сознательной жизни во времена Советского Союза. Именно поэтому образ каравана, а также мысль о сотворчестве идеально вписываются в смыслы книги, которую предлагает читателю Ю. Ключников.

Все мы видим, как поэты уходят, и хорошо, если после них остается такое наследие, которое передается через века будущим поколениям. Отраднo видеть впечатляющий результат многодневной работы переводчика-мастера – он одновременно знакомит читателя с искусством перевода и с творчеством огромного количества поэтов-суфиев.

Скрытые смыслы суфизма пронизывают эту поэзию. Тайнопись надёжно прячет их за словами, и, чтобы открыть духовные тайники, нужен проводник, помощник, переводчик. Юрий Ключников протягивает читателю на ладони ключи к познанию тайных мыслей, хранящихся в запыленных сундуках восточной поэзии. В качестве примера можно привести слова Абу Абдулаха Рудаки в переводах Ю. Ключникова:

* * *

Ушел поэт. Покинул караван.
Верблюдов в караване было много.
Рассеялся предутренный туман.
Верблюды разбрелись, пуста дорога...

* * *

Когда шагает караван в степи,
Запомни неизменную науку:
Упавшему на грудь не наступи,
Поддай изнемогающему руку.

Книга «Караван вечности» открывается вступительной статьёй Юрия Ключникова. Далее на страницах книги расположено более 500 стихотворений наиболее выдающихся суфийских поэтов средневекового Ирана, Турции, Средней Азии, Индии, творивших с VIII по XX век, таких как Рабия аль-Адавия (717–801), Абу Абдуло Рудаки (ок. 858–941), Абулькасим Фирдоуси (935–1020), Ибн Сина (980–1037), Бабу Тахир (ок. 1000 – после 1055), Насир Хосров (1004–1088), Омар Хайям (1048–1131), Мехсети Гянджеви (ок. 1098 – сер. XII в.), Ахмад Ясави (1103–1166), Абу Мухаммед Низами Гянджеви (ок. 1141 – ок. 1209), Фариддин Аттар (1145, 1146–1221), Абу Мухаммад Саади Ширази (1203–1291), Ибн Араби (1165–1240), Джалладин Руми (1207–1273), Юнус Эмре (1240? –1321?), Абдурахман Джами (1414–1492), Хафиз (Шамседдин Мохаммед) (ок. 1325–1389/90), Алишер Навои (1441–1501), Мирза Галиб (1796–1869), Инайят Хан (1882–1927), Назым Хикмет (1902–1963) и Рухолла Хомейни (1898/1890–1989). В заключении книги вниманию читателя представлены статья С.Ю. Ключникова, сына Ю.М. Ключникова, под названием «Солнечный свет суфийской поэзии», а также написанная им биография отца и высказывания современников о Юрии Ключникове.

Книга примечательна ещё и тем, что она представляет собой не только сборник поэтических переводов произведений поэтов-суфиев, но и включает в себя ряд библиографических текстов, давая читателю возможность погрузиться в контекст времени и творчества суфийских авторов. О жизни поэтов-суфиев известно мало, однако существует ряд легенд, по которым можно восстановить краткую историю их жизни и творческую биографию. К ним и обращается Ю.М. Ключников в «Караване вечности», представляя и жизнеописания, и стихи поэтов-суфиев в своих переводах.

Автор не останавливается на этом, предпринимая удачную попытку написания собственного цикла стихов, созвучных суфийским стихам. Так в книге появляются авторское переложение суфийской прозы, а также стихи-подражания и посвящения суфийским поэтам, написанные Ю. Ключниковым. Выходит, что концептуально книга включает такой яркий компонент, как поэтическая импровизация переводчика, выступающего в качестве автора (или даже, лучше сказать, соавтора) восточных стихов. Цикл тематических стихов Юрия Ключникова является и прекрасным дополнением к выше представленным переводам суфийской поэзии, и одновременно отражением взаимодействия и взаимопроникновения двух языковых культур, двух образно-смысловых сфер, на пересечении которых рождается общее и актуальное поле полисемантических высказываний и ярких лексических взаимодействий. Несмотря на опасения переводчика, эти тексты свободно себя чувствуют в рамках парадигмы русского языка, становясь более понятными для русскоязычного читателя.

Стоит обратить внимание на то, что автор книги публикует свои произведения после переводов, а не в начале книги, как часто бывает у других поэтов, что демонстрирует уважительное отношение к поэтам-предшественникам. Эта особенность композиции укладывается и в хронологический порядок создания стихотворений, и в рамки идей преемственности поколений, и в такие важные аспекты суфизма, как смирение, следование за учителем/наставником, отказ от гордыни и стремления к демонстрации собственного «я». С этой точки зрения книга выглядит и как творческая дань поэтам прошлых столетий, и как благодарность тем, кто посвятил себя служению Всевышнему и его законам и ценностям.

При этом Юрий Ключников, рассказывая о поэтах-суфиях, умело использует суфийскую терминологию. Так, например, говоря об истории Абу Абдулаха Рудаки, Ю. Ключников пишет так: «Он сформировал метрику и основные жанры персидской поэзии... сообщил ей дыхание, которое затем поддерживалось на протяжении веков – свободу, тонкий вкус, благородство, независимость от властей».

Дыхание учителя, глаза души, образы вина и виночерпия, страдающей души, огня души и пустого сердца, которое, как опустошённый сосуд, может быть наполнено истинной любовью, образ Бога как Друга и подобная символика пронизывают поэзию суфиев и грамотно сохранены переводчиком.

По причине сложности переложения произведений, написанных преимущественно силлабическим стихом, в силлабо-тонические рамки, автор не часто, но иногда отступает от смысла стихотворения и переводит текст довольно вольно. При этом общая канва поэтических текстов, стиль повествования, креативность в подходе к способам интерпретации и сохранение уважительного отношения к первоисточнику привлекает внимание исследователя и читателя.

Свойственное восточной (и главным образом суфийской) поэзии Средневековья переплетение любовной и пейзажной лирики размеренно чередуется со смешением описания быта и философских размышлений.

Терминологический словарь, включённый в книгу, на мой взгляд, требует доработки, а именно: расширение семантического ряда, уточнение смысловых пластов и трактовок, написание более подробных комментариев к символично-образным рядам, а также введение лексических пар, свойственных восточной поэзии.

Подборка стихов выстроена в хронологическом порядке. При этом переводы внутри подборок каждого автора располагаются таким образом, что при прочтении каждого последующего стихотворения читатель глубже погружается в мир Востока и имеет возможность шаг за шагом, слой за слоем проникать в тайные смыслы всей цепочки предложенных текстов.

Название «Караван вечности» в рамках вышесказанного видится неслучайным. Это и вечность, к которой стремится любой путник, ашик, идущий к Вечной истине и Вечной любви. Это и «караван историй» о жизни и творчестве поэтов-суфиев, как говорилось выше. Это и вечная любовь, состоящая из звеньев и ступеней, преград и перемен, с которыми сталкивается и караван, и одинокий путник, идущий к далекой цели.

В предисловии к переводам Ю. Ключников в качестве эпиграфа цитирует Идрис Шаха: «Суфизм – это школа внутреннего прозрения, а не обсуждений (и не переводов. – *Прим. Ю. К.*)», задавая тем самым тон повествования в книге и определяя основной вектор движения мыслей и фигур речи.

Любовь к противоположному полу и к природе рассматривается как проявление части Сверхлюбви, или как ступень любви к Всевышнему, является способом поиска Бога внутри себя.

Дуальность мира прослеживается через семантические пары. Мир представляется в виде двух противоборствующих или противоположащих реалий земного бытия. Так, речь идет о дружбе и вражде, любви и ненависти, о пылкой любви и холодном безразличии, о способности видеть и слышать и тут же – о человеческой слепоте и неумении услышать истину.

В наши дни переводы суфийской поэзии приобретают особую актуальность, а раскрытые в книге темы жизни и смерти, сложности и одновременно красоты мира, а также неповторимый восточный мир, звучащий музыкой стиха, делают сборник очень привлекательным для широкого круга читателей, питающих интерес к восточной мудрости и подлинной поэзии.

Юрий Ключников, перекладывая мысли поэтов-суфиев о мире и любви в пространство русской речи, демонстрирует в своих переводах мелодику восточного стихосложения. Любопытны и точны афористичные высказывания Рудаки в переводах Ю. Ключникова:

* * *

Коль жизнь не учит бедами уму,
И мудрый не научит ничему.

* * *

Богатство по наследству достается.
Но мудрость передать не удается.

* * *

Постарайся даже тени
Бедной жизни не пугаться,
Замени желанье денег
Жаждой вечного богатства.

«Караван вечности» – это сокровищница истин, ведущая к пониманию Вечной Любви и приобретению Вечного Богатства.

Следует обратить внимание на тот факт, что, хоть суфийские стихи и были переведены Ю.М. Ключниковым с подстрочников, они передают

образно-смысловые ряды очень близко к тексту и объясняют тайные знания на доступном для читателя языке, что очень важно.

Вот как сам автор переводов говорит о работе над стихами:

«Я, создавая эту суфийскую антологию, пользовался подстрочниками, поэтическими переводами, сделанными до меня, а также комментариями русских и зарубежных востоковедов. Потом я уходил в мысленное погружение, пытаюсь почувствовать, что хотел выразить автор».

Сама попытка такого глубокого вхождения в идеи суфизма, практического ашикского мистицизма, приближения к состоянию духовного единения со Всевышним и со всем, что к этому ведёт, а также глубокое изучение теоретических и философских концепций суфизма вызывает уважение. Тем более что это привело к появлению интересных переводов огромного количества мало известных российскому читателю стихов.

Ю. Ключников верно замечает, что «восточные формы поэтики далеко не всегда созвучны русским. Пересаженные в нашу северную землю южные цветы не приживаются, сохнут...» – и добавляет: «Потому я переводил восточных поэтов, прибегая к формам классической русской поэзии, делая исключение для бейтов (двустий), органичных русскому стихосложению, и для рубайев, к которым русский читатель привык. Точно так же поступал со сложными способами персидской рифмовки, используя, как правило, широко распространенные в русском стихосложении параллельный и перекрёстный типы рифмовки».

Тяготая к классической системе русских стихотворных форм, Юрий Ключников предлагает читателю стихи с привычной рифмовкой. Он не прибегает к форме белого стиха или верлибра; часто соблюдает систему написания двустий, как в поэзии Востока. При этом, учитывая все вышеуказанные нюансы, стоит сказать, что перевод некоторых стихотворений является вольным, и происходит частичное смещение фокуса повествования или изменение окраски в конечном варианте перевода относительно текста оригинала. Несмотря на это, общее впечатление от прочтения книги позитивное, а форма подачи материала завораживает и приводит к желанию повторного прочтения. Сами же переводы, представленные в книге, являются интерпретациями произведений поэтов-суфиев высокого уровня.

При прочтении строк, переведённых Ю. Ключниковым, слово за словом, звук за звуком начинают проявляться «узоры чувств», кружева тайносплетений смыслов суфийской, а в итоге и всечеловеческой тонкости и нежности отношения к человеку, святости и вселенской любви, что в совокупности то бодрит, то убаюкивает, и в любом случае даёт новые силы, чтобы двигаться вперёд, наполнив живую душу мудростью веков.

Рассказывая о работе над книгой, Ю. Ключников скромно признаёт: «Насколько у меня получилось, судить читателю», – добавляя, что «любые попытки переводчика проникнуть в поэтическую лабораторию иной культурной традиции опираются на опыт предшественников. Такой опыт особенно важен при работе с поэзией суфиев, хранящей множество непростых тайн».

Такой подход в очередной раз доказывает трепетное отношение к своей работе, глубокое изучение имеющейся теоретически-практической литературы и стремление к постижению Истины и Любви, которые автор, найдя, щедро дарит читателям.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Родилась в Ашхабаде Туркменской ССР. Филолог, переводчик-лингвист, владеет четырьмя иностранными языками. Автор издательства «Эксмо», серия книг нон-фикшн для подростков «Секретная книга о самом важном» (2020–2021). Автор сборника сказок для самых маленьких «Приключения насекомых на Цветочной Полянке» (изд. «Спутник», 2008). Живёт в Москве.

ДЕВУШКА С ФАНТАСТИКОЙ В РУКАХ...

(Автостопом по Вселенной научно-фантастических рассказов Дмитрия Игнатова)

Как-то по дороге на работу, проходя сквозь вереницу обременённых своими мыслями людей, я обратила внимание на девушку. Она шла, держа в руке раскрытую книгу, и чему-то улыбалась, конечно, заинтриговав меня посмотреть на название: «Автостопом по Галактике». Кто-то ещё читает книжки. Кто-то ещё любит фантастику. Зачастую термин «фантастика» ассоциируется у некоторых с чем-то непохожим, сильно отличающимся от фантазийной боллитры, чем-то неестественным. А сами писатели-фантасты, как их любовно именovala критик Галина Юзефович, воспринимаются «бедными зайками» и живут в своём «фантастическом гетто». Но давайте разберём на примере одного из современных писателей-фантастов, так ли уж они странны в этой своей фантастичности.

Рассказы Дмитрия Игнатова, представленные на обзор читателю в отдельных номерах журнала «Нижний Новгород»*, совершенно разные между собой, но вместе образуют одну большую Вселенную. У автора имеется и сборник, так называемый «роман в рассказах» – Вселенная «Великого Аттрактора»**, которая возникла в момент Большого взрыва вместе со своими маленькими/большими/средними планетами-рассказами... она растёт, дышит и существует между взрывами и сжатиями, замыкая историю одного повествования новым связующим другим. Персонажи повторяются и кочуют из одного рассказа в другой в том или ином амплуа. Вот стареющий учёный-физик в «Нейрокапсуле», угрюмый, размышляющий про себя... но если вспомнить другие произведения, которые уже опубликовал автор, то этот же самый «злой старикашка» со своими «чёртовыми ракетами» встречается в рассказах

* Литературно-художественный журнал «Нижний Новгород», гл. ред. О.А. Рябов // Архив номеров. – 2014–2022.

** Д.А. Игнатов. Роман в рассказах «Великий Аттрактор» (спецредакция) // ЛитРес, 2019.

«Умри, но позавчера», «Капелька триумфа», «Демон Пейна», где, так или иначе, раскрывается его характер.

Отступая от терминологии «твёрдая фантастика», замечу, что в каждом из перечисленных ниже рассказов есть немного научного, много лиричного, и всё под оболочкой фантастичного допущения. Когда читаешь, невольно задаёшься вопросом – «Зачем» и всегда находишь ответ на него у автора. Наверное, потому, что Дмитрий чётко следует логической цепочке повествования, создавая арку персонажа, отвлекаясь от хтонического и углубляясь в духовное, отталкиваясь от частного и переходя к общему, масштабному. Где на первом плане не проблемы маленького человека, а судьба всего человечества, всей планеты.

Рассказы камерные, сюжетная составляющая зачастую ограничена малым количеством действующих лиц, небольшой историей и одной локацией. Вот нашему вниманию предстаёт картина, где в загородном доме за ужином происходит диалог между отцом и дочерью, казалось бы, разговор двух любящих людей, но уже изначально автор создаёт драму и вешает вопрос: жив ли отец, если в привычном понимании этого слова он уже не является *прежним*?

Отсюда название рассказа, которым автор подталкивает читателя к размышлению, – «Корабль Тесея»*. Это же есть своего рода и отсылка, которые так любит использовать автор в своих произведениях. Их ещё будет немало. А пока вернёмся к Тесею и вспомним историю греческого мифа про корабль, на котором Тесей вернулся с Крита в Афины. Корабль бережно хранился афинянами до эпохи Деметрия Фалерского и ежегодно отправлялся со священным посольством на Делос. Перед каждым плаванием афиняне осуществляли починку корабля, при которой заменялась часть досок, в результате чего спустя некоторое время были заменены они все, из-за чего среди философов возник спор о том, по-прежнему ли это ещё тот самый корабль или уже другой, новый?

Согласно этому парадоксальному решению и встаёт дилемма: вещи могут быть теми же количественно или качественно. В таком случае после смены досок корабль Тесея окажется количественно тем же, а качественно – уже другим кораблём.

– Считаешь, что я стал «кем-то другим»? Теперь тебе будет трудно называть меня «папой»? Это обидно, – перешёл он в своеобразную контрастку, и это было настолько на него похоже, что на мгновение я даже успокоилась.

– Я... Нет.

Эта философская тема о тождественности имеет прямое продолжение в рассказе «Корабль Тесея» на примере технологии клеточного нанопротезирования и вечной жизни. Тем самым закидывая крючок, связующий научное с возможным допущением (хотя следует отметить, что тема продления жизни с помощью наноботов не нова, но авторское сравнение процесса с кораблём Тесея было удачным!). Нанороботы – часто используемая в фантастике концепция (взять хотя бы серию компьютерных игр «Deus Ex» и др.), уже сегодня постепенно становящаяся реальностью в современной медицине.

Однако, на мой взгляд, автором заложена иная сверхзадача, лишь косвенно использующая методы научной теории клеточного генезиса. Касательно человека, сложно сказать, какими свойствами останется обладать биологическая особь, а каких она лишится при замене клеток. Будет ли это сравнительно новый индивид, также чувствующий?

* Журнал «Нижний Новгород», 2020, № 5.

Скорее всего, данный вопрос имеет значение лишь в психологическом и философском аспекте для окружающих рядом.

– И как же они его решили?

– Никак... – ответил отец, не открывая глаз. – Да они и не могли его никак решить. Видишь ли, дело не в том, старый корабль или новый. Дело в том, что он сам думает по этому поводу.

Это была бочка научно-фантастической темы, в которой не хватает ложки дёгтя. И хотя сюжет задан с трагическим прецедентом, я бы не стала столь драматизировать тему *invalid* личностей. В конечном счёте, дочь права: «нет ручек – нет конфеток», как бы ни хотелось отцу казаться отцом, биологически он другой, он – «вижн». Автор пытается переложить эмпатичный визуал на главу семейства, сделать это через циничный диалог. Но теряется важное: дочь уже смирилась с потерей, но смирилась ли она с тем, что уготовили ей родители? А это вопрос этики: будет ли человек с полностью заменёнными органами тем же «огнём, мерцающим в сосуде», или, утратив человеческое, это будет «сосуд, в котором пустота»?.. – каждый для себя должен решить сам, прочитав рассказ.

С точки зрения фантастики мы допускаем, что есть жизнь отличная от земной, мы неоспоримо утверждаем, что развитие человека находится в тесном соприкосновении с развитием Вселенной. Мы часть этого большого мира, бесконечно устремляем свои взгляды в космос, который одновременно и манит, и пугает своей неизвестностью, необъятностью, недостижимостью. Мы бросаемся обсуждать теории управления квантовой энергией, перемещений в петле Мёбиуса, модификаций криокапсул и путешествий так, как будто бы это всё уже произошло. По мнению учёных и людей причастных к космической тематике, это выглядит умильно и наивно. Астрофизики же знают, что космос – это множество того, что ещё только предстоит открыть:

удивительных объектов: галактики, нейтронные звёзды, чёрные дыры. А сколько того, что ещё не найдено, но может быть: кротовые норы, космические струны... Кто знает, какие ещё открытия нам предстоят!

Всё, что учёные строят в теории, у фантастов тотчас же находит выражение в практике. Но бывает, что иногда и наоборот. Вот почему писателей-фантастов зачастую называют предсказателями.

Такая деликатная мечтательность и глубокая привязанность к космосу ощущается почти во всех рассказах Дмитрия. Философская основа его произведений отталкивается от концепции «русского космизма», родоначальниками которой были Николай Николаевич Фёдоров и Константин Эдуардович Циолковский. В рамках космических учений человек есть «строящийся бог», научно-технический прогресс призван решить такие классические божественные задачи, как бессмертие и создание новых миров. «Разум – величайшая сила в космосе», – не уставал повторять учёный.

В рассказе «На звёздах»^{*} описывается научно-фантастическая технология «рождения» человека после смерти. Все тела Вселенной имеют одну и ту же сущность; одно начало, которое мы называем духом материи (сущность, начало, субстанция, атом в идеальном смысле), что очень сходно с философией Платона. «Атом-дух» (идеальный атом, первобытный дух) по Циолковскому, «есть неделимая основа или сущность мира. Она везде одинакова. Животное есть вместилище бесконечного числа атомов-духов, так же как и Вселенная. Из них только она и состо-

* Журнал «Нижний Новгород», 2021, № 6.

ит, материи, как её прежде понимали, нет. Есть только одно нематериальное, всегда чувствующее, вечное неистребляемое, неуничтожаемое, раз и навсегда созданное или всегда существовавшее». Следовательно, «атом-дух» – это элемент метафизической субстанции, лежащей в основе мира и отличной от элементарных частиц в современной физике.

Стоит заметить, что физика ближе к философии, чем к математике. Отсюда легко воспринимаются размышления двух таких разных людей о смысле жизни, о единении тела и духа, о слиянии материи и пространства. Рассказ-диалог, где каждый не просто обменивается репликами, а пробуждает в собеседнике ответный интерес. Рассказ-притча, где каждый, получив свою долю сведений, остаётся со своим багажом. Нет прощения без боли. Нет осмысления без сожаления. Особо выразительно автор передал житейскую мудрость, переплетающуюся со спокойствием, и молодой азарт, граничащий с любопытством. Всё, что остаётся сделать читателю, – это увидеть двух людей, расположившихся на крыше, и представить, что могло побудить их погрузиться в собственный мир отчаяния и разочарования. И что в итоге подтолкнуло обоих от края крыши к звёздам. Взаимный обмен, существующий между материями, и здесь показан автором в психологическом аспекте, когда без назидания старшее поколение передало младшему свой опыт и свои знания.

Меня смущало одно, как в лучших фильмах ужаса нависал над тьмой риторический вопрос: а не пора ли тебе, деточка, спать, и что может быть общего у подростка со стариком, пялящимся на звёзды? И следом, когда вчитывалась в ответы старика, складывался собственный ответ: возможно, не всё потеряно и не все суицидально заморочены на биполярных авторах и их мятных историях; возможно, кому-то и правда интересны вопросы более глобального характера и кто-то мечтает о чём-то более великом. Скорее здесь нет никаких хитрых авторских ходов (определённо нет!) и нет глубокого смысла. Всё рядом, достаточно поднять голову вверх, оттолкнуться от реальности и посмотреть в звёздную ночь.

Рассказ-притча, поскольку помимо философских граней и нравственных вопросов жизни обладает ещё и иносказательностью. Автор закончил рассказ, но оставил несколько уровней смысла. В силу религиозных либо, напротив, атеистических взглядов эти смыслы могут иметь различные пути осмысления. Но правдиво будет одно – ничто не исчезает бесследно. У Дмитрия необычайно красиво и образно представление о жизни человека в его единении со Вселенной: мы всего лишь *квантовые флуктуации вакуума*. И вся наша жизнь подчинена одному единому закону – жить ради чего-то или ради кого-то. Принцип гуманизма так лирично проходит тонкой линией по всему рассказу, что в конце остаётся не чувство утраты или скорби, а, наоборот, чувство удовлетворения и спокойствия.

...Человечество достигнет такого уровня, что возьмёт на себя классические божественные задачи: воскрешение мёртвых, создание новых существ и даже целых миров.

Именно эта черта и присуща Дмитрию как автору-фантасту, который не размахивает бластерами в космическом пространстве, а использует свои знания в созидательном и познавательном ключе. И всё же, несмотря на научность и местами (из-за обильно вставленных терминов) скучность «квантовых» размышлений, есть в его рассказах и примеси юмора. Если это женские персонажи, то они всегда в диалоге иронизируют, но при этом рассудительные и вдумчивые, и неважно социальное положение, возраст, фотограф она или айти-хакерша. В уста же своих мужчин Дмитрий вкладывает иногда циничный подтекст и даже откровенный сарказм.

– Геминиды. Они на пике, – проговорил старик, словно поясняя своё появление на крыше. – Лучше, конечно, любоваться ими за городом. Но куда уж мне... А нынче такое чистое небо.

– Да ладно... Небось за девчонками в соседнем доме подглядываете, – язвительно предположила Вика, машинально закуривая вторую сигарету.

Мир человека гармоничен не только наличием в нём приобретённых знаний и умений, высочайших ценностей и нравственных понятий, а в балансе и умении определять «что такое хорошо, а что такое плохо» в консенсусе этих ценностей. Как не бывает в науке абсолютной доказательности, подразумевая погрешность, так и не бывает в природе начала без конца. Всё перетекает из одного вакуума в другой, создавая «ложные вакуумы» и чёрные дыры.

Учёный-физик, учёный-экспериментатор, учёный-авантюрист, учёный-человек, тщеславный и целеустремлённый, резкий и вспыльчивый, но добрый, ранимый, живой и эмоциональный... в уста которого автор вложил свойственные обычному человеку переживания «что я оставлю после себя», так или иначе, является узнаваемым теми читателями, которые хорошо знакомы с творчеством автора. И кто, безусловно, сразу узнает в этом старикашке с заострённой «троцкистской» бородкой Петровича, являющегося сквозным персонажем почти всех рассказов сборника «Великий Аттрактор».

Рассказ «Нейрокапсула»* напрямую продолжает сюжет романа, где в конце истории учёный был размещён в нейрокапсулу, для того чтобы преодолеть космическое пространство.

Вновь немного углубляясь в научную основу, напомним, что это реально существующая концепция «ложного вакуума».

И вакуум этот ваш ложный. Ложный, как пить дать! Вот бы проверить, как? Взять бы какую чёрную дыру. Да не простую, а такую сверхмассивную, чтоб все ваши излучения Хокинга на границе горизонта событий, все ваши квантовые эффекты в полный рост повылазили. Да вторую приладить. Да исхитриться и ею по первой садануть как следует. Вот тогда это самое метастабильное состояние и скувырнётся. Должно скувырнуться. Локально хотя б. А там, глядишь, цепная реакция всё за собой потянет. Материю. Пространство-время. Всю Вселенную!

Рассказ начинается с ретрокадра в деревенском доме, где шаг за шагом, вздох за вздохом показана жизнь учёного-физика на берегу лесного озера. Где он занимается привычным ему домашним хозяйством – собирает грибы или чистит картошку:

Гулко падает очисток в ведро. Брякается об эмалированное дно, побитое сколами, подёрнутое оранжевой ржой. Скрипит нож в хрустящей крахмальной мякоти.

Но чем больше погружается Петрович в монотонный процесс, тем привычнее его раздумья о науке, о природе материи, о пространстве и времени.

Я бы отнесла этот рассказ к деревенской прозе (не в классическом её понимании, какую писали В.М. Шукшин или В.Г. Распутин), но тем не менее пейзажные зарисовки, самобытный уклад, даже внутренняя речь героя отождествляются с деревенским мотивом. Особо удалось автору передать поэтизацию природы и любования ладом деревенской жизни многоликостью оборотов: «осень наступает», «раздевает яблони в

* Журнал «Нижний Новгород», 2022, № 1.

саду», «золотит рябины на полянах», «пунцовой краской расписывает осины на болотистом берегу». «Грустит Петрович... По болотистому берегу мимо осин пройдёт. По-за кустами траву обшарит... Каждый гриб он выучил. Каждому имя дал. Малыши-маслята. Толстяки-белые».

И всё-таки даже присутствие лиричного повествования и выразительных средств языка, вложенных в думы старика, не позволяет забыть, что Дмитрий в первую очередь – писатель-фантаст. И он фантастически тоскливо протянул рефлексию Петровича через экзистенциальный кризис человека мыслящего. Столько времени прошло с тех пор, как Петрович (здесь мог бы быть спойлер) наконец-то отправился в космос. Сложно назвать этот рассказ твёрдой фантастикой, скорее это снова гуманистическая жизненная позиция автора, повторяющаяся из рассказа в рассказ: «Человек есть часть космоса». Создание ноосферы подразумевает первенство разума, но не отдельного человека, а человечества в целом. Коллективного духа, можно даже сказать, высшего разума, более сильного и мощного, чем разум отдельного человека.

Возможно, из одного наноатома возникнут множество Петровичей, или эти «чёртовы ракеты» достигнут цели, или водоросли сделают пригодной жизнь на Венере. Но пока, пока нейрокапсула движется в воздушном пространстве, мы можем строить догадки.

Интересно наблюдать, как Дмитрий почти в каждом своём рассказе заигрывает с читателем не только путём насаждения зачастую понятных ему и узнаваемых несколькими постоянными читателями отсылок, но и путём подвешивания дамоклова меча над сюжетной композицией. Его персонаж всегда проходит через катарсис, и редко когда история имеет завершённую концовку. To be continued...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Резюмирую: жанр научной фантастики сейчас как раз набирает обороты, но не в том виде, в котором он существует на литплощадках в поджанрах космической оперы, планетарного романа и прочих, основанных на околонуточных технологиях. К примеру, waгр-двигатели в «Звёздном Пути», где она (технология) базируется на реальной теории в физике, именуемой «Пузырь Алькубьерре». Я не говорю, что это плохо, дабы не упираться в морализаторство и ханжество, но всё же для меня, выросшей на Стругацких, Беляеве, Ефремове, рассказы Дмитрия Игнатова более близки (нежели космооперы и фэнтези) своей гуманистической «фантастичностью» и твёрдой фантастикой, где вымысел, смешиваясь с реальностью, смывает границы и где допущение уже становится объективной действительностью. Будь это современный город и крыша многоэтажки или деревенская история в раздумьях над ведром с картофельными очистками. Эти истории интересны своей научной составляющей и приятны своей ироничной лиричностью. И я надеюсь, что автор напишет ещё немало будоражащих умы рассказов, а мы с удовольствием их прочитаем.

А возвращаясь к девушке с книгой, которую я упомянула в начале своего обзора, хочется надеяться, что и она останется довольна прочитанным, и мне приятно осознавать, что жанр фантастики, вопреки мнению авторитетных экспертов, будет и дальше интересен. А значит, до новых встреч!

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

О. А. Рябов

ШЕФ-РЕДАКТОР

Андрей Иудин

МАКЕТ

Арсения Костромина

ДИЗАЙНЕР ОБЛОЖКИ

Анатолий Гришин

КОРРЕКТОР

Лев Зелексон

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Павел Басинский (Москва)

Владимир Безденежных

Валерия Белоногова

Николай Бенедиктов

Дмитрий Бирман

Диана Кан (Новокуйбышевск)

Елена Крюкова

Захар Прилепин

Андрей Рудалёв (Северодвинск)

Роман Сенчин (Екатеринбург)

Евгений Эрастов

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Олег Беркович

Сергей Горин

Олег Захаров

Людмила Калинина

Александр Котюсов

Владимир Седов

Надежда Шевелилова

УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ

ООО «КНИГИ»

Адрес редакции и адрес издателя:
603057, Нижний Новгород,
ул. Бекетова, 24/2, ООО «Книги»
Тел. (831) 412-16-04

Рукописи принимаются в редакции
или по электронной почте:
jurnalnn@yandex.ru

Сайт журнала: www.jurnalnn.ru

Тексты для публикации присылаются отдельным файлом Word с указанием авторства, наименования произведения и биографической справкой.

Неоткорректированные рукописи с большим количеством ошибок не рассматриваются. Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

При перепечатке материалов ссылка на журнал «Нижний Новгород» обязательна.

Выпуск издания осуществлен
по заказу
правительства
Нижегородской области

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных
технологий

и массовых коммуникаций
ПИ № ФС77-60285
от 19 декабря 2014 г.

Подписано к печати 07.06.2022.
Выпущено в свет 24.06.2022.
Формат 70×108 ¹/₁₆. Усл. печ. л. 21.
Тираж 800 экз. Заказ
Свободная цена.

Отпечатано в АО «ИПК «Чувашия»,
428019, Чувашская Республика,
Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 13